Дни и ночи

повесть

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

Дни и ночи

ПОВЕСТЬ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА
1944

С—37

ПАМЯТИ
погибших за Сталинград

„...так тяжкий млат,
дробя стекло, кует булат"
А. Пушкин.

I

Обессилевшая женщина сидела, прислонившись к глиняной стене сарая, и спокойным от усталости голосом рассказывала о том, как сгорел Сталинград.

Было сухо и пыльно. Слабый ветерок катил под ноги желтые клубы пыли. Ноги женщины были обожжены и босы, и когда она говорила, то рукой подгребала теплую пыль к воспаленным ступням, словно пробуя этим утишить боль. Капитан Сабуров взглянул на свои тяжелые сапоги и невольно на полшага отодвинулся от женщины. Очень большой и казавшийся, несмотря на свои могучие плечи, все-таки слишком высоким, он своей огромной сутуловатой фигурой, простым и суровым, почти строгим лицом чем-то неуловимо напоминал молодого Горького.

Он молча стоял и слушал женщину, глядя поверх ее головы туда, где у крайних домиков прямо в степи разгружался эшелон.

За степью блестела на солнце белая полоса соляного озера, и все это, вместе взятое, казалось краем света. Теперь, в сентябре, здесь была последняя и ближайшая к Сталинграду железнодорожная станция. Дальше до берега Волги предстояло итти пешком. Городишко назывался Эльтоном по имени соляного озера. Сабуров невольно вспомнил заученные еще со школы слова «Эльтон» и «Баскунчак». Когда-то это было только школьной географией. И вот он, этот Эльтон: низкие домики, пыль, захолустная железнодорожная ветка.

А женщина все говорила и говорила о своих несчастьях, и хотя слова ее были привычными, у Сабурова от них вдруг защемило сердце. Прежде уходили из города в город, из Харькова в Валуйки, из Валуек в Россошь, из Россоши в Богучар, и также плакали женщины, и также он слушал их со смешанным чувством стыда и усталости. Но здесь была заволжская голая степь, край света, и в словах женщины звучал уже не упрек, а отчаяние, и уже некуда было дальше уходить по этой степи, где на многие версты не оставалось ни городов, ни рек, — ничего.

— Куда загнали, а?..— невольно прошептал он, и вся безотчетная тоска последних суток, когда он с тамбура теплушки смотрел на степь, стеснилась в эти два слова.

Ему было очень тяжело в эту минуту, но, вспомнив страшное расстояние, отделявшее его теперь от границы, он подумал не о том, как он шел сюда, а именно о том, как ему придется итти обратно. И было в его невеселых мыслях то особенное упрямство, свойственное русскому человеку, не позволявшее ни ему, ни его товарищам ни разу за всю войну допустить возможность, при которой не будет этого «обратно».

И все-таки дальше так было нельзя. Сейчас в Эльтоне он вдруг почувствовал, что именно здесь и лежит тот предел, за который уже нельзя переступать.

Он посмотрел на поспешно выгружавшихся из вагонов солдат, и ему захотелось как можно скорее добраться по этой пыли до Волги и, переправившись через нее, почувствовать сразу и бесповоротно, что обратной переправы не будет и что его личная судьба будет решаться только на том берегу, заодно с участью города. И если немцы возьмут город, то, значит, он непременно умрет, и если он не даст им этого сделать, то, может быть, выживет.

А женщина, сидевшая у его ног, все еще рассказывала про Сталинград, одну за другой называя разбитые и сожженные улицы. Незнакомые Сабурову, названия их для нее были исполнены особого смысла. Она знала, где и когда были построены сожженные сейчас дома, где и когда были посажены спиленные сейчас на баррикады деревья, она жалела все это, как будто речь шла не о большом городе, а об ее доме, где пропали и погибли до слез знакомые, принадлежавшие лично ей вещи.

Но о своем доме она как раз не говорила ничего, и Сабуров, слушая ее, подумал, как редко, в сущности, за всю войну попадались ему люди, жалевшие о своем пропавшем имуществе. И чем дальше шла война, тем реже люди вспоминали свои брошенные дома и тем чаще и упрямее вспоминали только покинутые города.

Вытерев слезы концом платка, женщина обвела долгим вопросительным взглядом всех слушавших ее и сказала задумчиво и убежденно:

— Денег-то сколько, трудов сколько!

— Чего трудов?— спросил кто-то, сразу не поняв смысла ее слов.

— Обратно построить все,— просто сказала женщина.

Сабуров спросил женщину о ней самой. Она сказала, что два ее сына давно на фронте и один из них уже убит, а муж и дочь, наверное, остались в Сталинграде. Когда начались бомбежка и пожар, она была одна и с тех пор ничего не знала о них.

— А вы в Сталинград?— спросила она.

— Да,— сказал Сабуров, не видя в этом военной тайны, ибо для чего же еще, как не для того, чтобы итти в Сталинград, мог разгружаться сейчас воинский эшелон в этом забытом богом Эльтоне.

— Наша фамилия Клименко. Муж — Иван Васильевич Клименко, а дочь — Аня. Может, встретите где, — сказала женщина со слабой надеждой.

— Может, встречу, — привычно ответил Сабуров и подумал, что и в самом деле, может быть, встретит их по одной из тех странных случайностей, которые, при всей их кажущейся невозможности, так часто бывают во время войны.

Батальон заканчивал выгрузку. Сабуров простился с женщиной и, выпив ковш воды из выставленной на улицу для бойцов бадейки, направился к железнодорожному полотну.

Бойцы, сидя на шпалах, сняв сапоги, подвертывали портянки. Некоторые из бойцов, сэкономившие выданный с утра паек, жевали хлеб и сухую колбасу. По батальону прошел верный, как обычно, солдатский слух, что после выгрузки сразу предстоит марш, и все спешили закончить свои недоделанные дела. Одни ели, другие чинили порванные гимнастерки, третьи перекуривали.

Сабуров прошелся вдоль станционных путей. Эшелон, в котором ехал командир полка Бабченко, должен был подойти с минуты на минуту, и до тех пор оставался еще не решенным вопрос: начнет ли батальон Сабурова марш к Сталинграду, не дожидаясь остальных батальонов, или же, после ночевки, утром сразу двинется весь полк.

Сабуров шел вдоль путей и разглядывал людей, вместе с которыми послезавтра ему предстояло вступить в бой.

Очень многих он хорошо знал в лицо и по фамилии. Это были «воронежские», — так про себя называл он тех, которые были с ним в боях еще под Воронежем. Каждый из них был драгоценностью, потому что им можно было приказывать, не объясняя лишних подробностей.

Они знали, когда черные капли бомб, падающие с самолета, летят прямо на них и надо ложиться, и знали, когда бомбы упадут дальше и можно спокойно наблюдать за их полетом. Они знали, что под минометным огнем ползти вперед ничуть не опасней, чем оставаться лежать на месте. Они знали, что танки чаще всего давят именно бегущих от них и что немецкий автоматчик, стреляющий с двухсот метров, всегда больше рассчитывает испугать, чем убить. Словом, они знали все те простые, но великие и спасительные солдатские истины, знание которых давало им уверенность, что их не так-то легко убить.

Таких солдат у него была треть батальона. Остальным предстояло увидеть войну впервые. У одного из вагонов, охраняя еще не погруженное на повозки имущество, стоял немолодой красноармеец, издали обративший на себя внимание Сабурова гвардейской выправкой и густыми рыжими усами, как пики торчавшими в стороны. Когда Сабуров подошел к нему, он лихо взял «на караул» и прямым немигающим взглядом продолжал смотреть в лицо капитану. В том, как он стоял, как был подпоясан, как держал винтовку, чувствовалась та солдатская бывалость, которая дается только годами службы. Между тем Сабуров, помнивший в лицо почти всех, кто был с ним под Воронежем, до переформирования дивизии, этого красноармейца не помнил.

— Как фамилия? — спросил Сабуров.

— Конюков, — отчеканил красноармеец и снова уставился неподвижным взглядом в лицо капитана.

— В боях участвовал?

— Так точно.

— Где?

— Под Перемышлем.

— Вот как. Значит, от самого Перемышля отступали?

— Никак нет. Наступали.

Сабуров удивленно посмотрел на него.

— Когда? В прошлом году?

— Никак нет. В шестнадцатом.

— Вот оно что.

Сабуров внимательно взглянул на Конюкова. Лицо его было серьезно, почти торжественно.

— А в эту войну давно в армии? — спросил Сабуров.

— Никак нет, первый месяц.

Сабуров еще раз с удовольствием окинул глазом крепкую фигуру Конюкова и пошел дальше. У последнего вагона он встретил своего начальника штаба, лейтенанта Масленникова, распоряжавшегося выгрузкой.

Масленников доложил ему, что через пять минут выгрузка будет закончена, и, посмотрев на свои ручные квадратные часы, сказал:

— Разрешите, товарищ капитан, сверить с вашими?

Сабуров молча вынул из кармана свои часы, пристегнутые за ремешок английской булавкой. Часы Масленникова отставали на пять минут. Он с недоверием посмотрел на старые серебряные, с треснувшим стеклом, часы Сабурова.

Сабуров улыбнулся.

— Ничего, переставляйте. Во-первых, часы еще отцовские, Буре, а во-вторых, привыкайте к тому, что на войне верное время всегда бывает у начальства.

Масленников еще раз посмотрел на те и другие часы, аккуратно подвел свои и, откозыряв, попросил разрешения быть свободным.

Поездка в эшелоне, где его назначили комендантом, и эта выгрузка были для Масленникова первым фронтовым заданием. Здесь, в Эльтоне, ему казалось, что уже попахивает близостью фронта. Он волновался, предвкушая войну, в которой, как ему казалось, он постыдно долго не принимал участия. И все порученное ему сегодня Сабуровым он выполнял с особой аккуратностью и тщательностью.

— Да, да, идите, — сказал Сабуров после секундного молчания.

Глядя на это румяное, оживленное мальчишеское лицо, Сабуров с тревогой представлял себе, каким оно станет через неделю, когда грязная, утомительная, беспощадная окопная жизнь всей своей тяжестью впервые обрушится на Масленникова.

Маленький паровоз, пыхтя, втаскивал на запасный путь долгожданный второй эшелон.

Как всегда торопясь, с подножки классного вагона еще на ходу соскочил командир полка подполковник Бабченко. Под-

вернув при прыжке ногу, он выругался и заковылял к спешившему навстречу ему Сабурову.

— Как с разгрузкой? — хмуро, не глядя в лицо Сабурову, спросил он.

— Закончена.

Бабченко огляделся. Разгрузка и в самом деле была закончена. Но хмурый вид и строгий тон, сохранять которые Бабченко считал своим долгом при всех разговорах с подчиненными, требовали от него и сейчас, чтобы он для поддержания своего престижа сделал какое-либо замечание.

— Что делаете? — отрывисто спросил он.

— Жду ваших приказаний.

— Лучше бы людей пока накормили, чем ждать.

— В том случае, если мы тронемся сейчас, я решил кормить людей на первом привале, а в том случае, если мы заночуем, решил организовать им через час горячую пищу здесь, — неторопливо, по привычке растягивая слова, ответил Сабуров с той спокойной логикой, которую в нем особенно не любил вечно спешивший Бабченко.

Подполковник промолчал.

— Прикажете сейчас кормить? — спросил Сабуров.

— Нет, покормите на привале. Пойдете, не дожидаясь остальных. Прикажите строиться.

Сабуров подозвал Масленникова и приказал ему построить людей.

Бабченко хмуро молчал. Он привык делать всегда все сам, именно поэтому, пожалуй, он всегда был занят по горло, всегда спешил и часто не поспевал.

Собственно говоря, командир батальона не обязан сам строить походную колонну. Но то, что Сабуров поручил это другому, а сам сейчас спокойно, ничего не делая, стоял рядом с ним, командиром полка, сердило Бабченко. Он любил, чтобы в его присутствии подчиненные суетились и бегали. Но от спокойного Сабурова он никогда не мог этого добиться. Отвернувшись, он стал смотреть на строившуюся колонну. Сабуров стоял рядом. Он знал, что командир полка недолюбливал его, но уже привык к этому и не обращал на это внимания.

Они оба с минуту постояли молча. Вдруг Бабченко, по-прежнему не оборачиваясь к Сабурову, но уже совсем в другом тоне, обращаясь к нему на «ты», сказал с неожиданным гневом и обидой в голосе:

— Нет, ты посмотри, что они с людьми делают, сволочи!

Мимо них, тяжело переступая по шпалам, вереницей шли сталинградские беженцы, оборванные изможденные, перевязанные серыми от пыли бинтами.

Они оба невольно посмотрели в ту сторону, куда предстояло итти полку. Там лежала все та же, что и здесь, низкая степь, и только пыль впереди, завившаяся на буграх, похожа была на далекие клубы порохового дыма.

— Место сбора в Рыбачьем. Идите ускоренным маршем и вышлите ко мне связных, — сказал Бабченко уже с прежним хмурым выражением лица и, повернувшись, пошел к своему вагону.

Сабуров вышел на дорогу. Роты уже построились. В ожидании начала марша была дана команда «вольно». В рядах тихо переговаривались. Проходя мимо второй роты, Сабуров опять увидал рыжеусого Конюкова: он что-то оживленно рассказывал, размахивая руками. Сабуров подошел ближе.

— Почему наступать нам лучше, чем вспять итти, а?— говорил Конюков.— А тем лучше, что идешь ты себе с востока на закат и днем, когда жарко, солнышко тебе в спину, а к вечеру, когда холодно, оно тебе в лицо. Все по расписанию.

— А пули тоже по расписанию летают?— с подковыркой спросил кто-то.

Сабуров, миновав Конюкова, пошел к голове колонны.

— Батальон, слушай мою команду!

Колонна двинулась. Сабуров шагал впереди. Далекая пыль, вившаяся над степью, опять показалась ему дымом. Впрочем, может быть, и в самом деле впереди горела степь.

II

Двадцать суток назад, в душный августовский день, бомбардировщики воздушной эскадры Рихтгофена с утра повисли над городом. Трудно сказать, сколько их было на самом деле и по скольку раз они бомбили, улетали и вновь возвращались, но всего за день наблюдатели насчитали над городом две тысячи самолетов.

Город горел. Он горел ночь, весь следующий день и всю следующую ночь. И хотя в первый день пожара бои шли еще за шестьдесят километров от города, у донских переправ, но именно с этого пожара и началось большое сталинградское сражение, потому что и немцы и мы — одни перед собой, другие за собой — с этой минуты увидели зарево Сталинграда, и все военные помыслы обеих сражавшихся сторон были отныне, как к магниту, притянуты к горящему городу.

На третий день, когда пожар начал стихать, в Сталинграде установился тот особый тягостный запах пепелища, который потом так и не покидал его все месяцы осады. Запахи горелого железа, обугленного дерева и пережженного кирпича смешались во что-то одно, одуряющее, тяжелое и едкое. Сажа и пепел быстро осели на землю, но, как только задувал самый легкий ветер с Волги, этот черный прах начинал клубиться вдоль сожженных улиц, и тогда казалось, что в городе снова дымно.

Немцы продолжали свои бомбардировки, и в Сталинграде то там, то здесь вспыхивали новые, уже никого, впрочем, не поражавшие пожары. Они обычно сравнительно быстро кончались, потому что, спалив несколько новых домов, огонь вскоре доходил до ранее сгоревших улиц и, не находя себе пищи, потухал. Но город был так огромен, что где-нибудь все равно всегда что-то горело, и через несколько дней все привыкли к этому постоянному зареву, как к необходимой части ночного пейзажа.

На десятые сутки после начала пожара немцы подошли так близко, что их снаряды и мины стали все чаще разрываться не только на окраинах, но и в центре города.

На двадцать первые сутки наступила та минута, когда человеку, верящему только в военную теорию, могло показаться, что защищать город дальше бесполезно, и пожалуй, даже невозможно Севернее города немцы уже вышли на Волгу, южнее—подходили к ней. Город, раскинувшийся в длину на шестьдесят пять километров, в ширину нигде не простирался больше, чем на пять, и почти по всей длине его немцы уже заняли западные окраины.

Канонада, начавшаяся в семь утра, не прекращалась до заката. Наступил тот момент боя, когда непосвященному человеку, попавшему в штаб армии, показалось бы, что все обстоит благополучно и что, во всяком случае, у обороняющихся еще очень много сил. Посмотрев на штабную карту города, где было нанесено расположение войск, он бы увидел, что этот сравнительно небольшой участок на карте весь густо исписан номерами стоящих в обороне дивизий и бригад. Он бы мог услышать приказания, отдаваемые по телефону командирами этих дивизий и бригад, и ему могло бы показаться, что, стоит только точно выполнить все эти приказания, и успех, несомненно, обеспечен. Для того же, чтобы действительно понять, что происходило, этому непосвященному наблюдателю следовало бы добраться до самых дивизий, которые в виде таких аккуратных красных полукружий были отмечены на карте

Многие из отступавших из-за Дона, измотанных в двухмесячных боях дивизий по количеству штыков уже не представляли собой сейчас дивизий полной численности. В штабах, в артиллерийских полках, в медсанбатах еще было довольно много людей, но в стрелковых ротах и батальонах каждый боец был на счету. В последние дни в штабах и тыловых частях взяли всех, кто не был там абсолютно необходим. Телефонисты, повара, химики, ординарцы перешли в распоряжение командиров полков и по необходимости стали пехотой. Но хотя начальник штаба армии, смотря на карту, отлично знал, что многие из его дивизий уже не вполне дивизии, однако размеры участков, которые они занимали, попрежнему требовали, чтобы на их плечи падала именно та военная задача, которая должна падать на плечи дивизии. И, зная, что бремя это почти непосильно, все начальники, от самых больших до самых малых, все-таки клали это непосильное бремя на плечи своих подчиненных, ибо другого выхода не было, а воевать было попрежнему необходимо.

Перед войной командующий армией, наверное, рассмеялся бы, если бы ему сказали, что придет день, когда весь подвижной резерв, которым он будет располагать, составят несколько сот человек. А между тем сегодня это было именно так... Несколько сот автоматчиков, посаженных на грузовики, — это было все, что он в критический момент прорыва мог быстро перебросить из одного конца города в другой.

На большом и плоском холме Мамаева кургана, в каком-нибудь километре от передовой, в землянках и окопах раз-

местился штаб армии. Немцы прекратили атаки, то ли отложив их до темноты, то ли вообще решив передохнуть до утра. Но и вся обстановка вообще, и эта тишина в особенности заставляли предвидеть, что утром будет непременный и решительный штурм.

— Пообедали бы,—сказал адъютант, с трудом протискиваясь в маленькую землянку, где при лампе сидели над картой начальник штаба и член Военного совета. Они оба поглядели друг на друга, потом на карту, потом снова друг на друга. Если бы адъютант им не напомнил о том, что нужно пообедать, они, может быть, просидели бы над картой еще час, потому что они одни знали, насколько положение на самом деле было опасно. И хотя все, что следовало и возможно было сделать, было уже предусмотрено и командующий сам выехал в дивизии проверить выполнение своих приказаний, но от карты все-таки трудно было оторваться — так хотелось хотя бы чудом выискать на этом графленом листе бумаги еще какие-то новые, небывалые возможности.

— Ну, что ж, обедать, так обедать,— сказал член Венного совета Матвеев,— человек по характеру жизнерадостный, веселый и любивший покушать в тех случаях, когда он среди штабной сутолоки вспоминал все-таки о еде.

Они оба вышли на воздух. Начинало чуть-чуть темнеть. Внизу, справа от кургана, особенно заметные на фоне свинцового неба, как стадо огненных зверей, промелькнули снаряды минометного залпа. Немцы готовились к ночи, пуская в воздух первые белые ракеты, обозначавшие, как обычно, на ночь их передний край.

Через Мамаев курган проходило так называемое зеленое кольцо, которым когда-то так гордились сталинградцы. Его затеяли в тридцатом году сталинградские комсомольцы и в течение десяти лет окружали свой, до этого пыльный и душный, город целым поясом молодых садов, парков и бульваров. Вершина Мамаева кургана была тоже обсажена аккуратно в шахматном порядке расположенными тоненькими десятилетними липками.

Матвеев огляделся. Так хорош был этот теплый осенний вечер, так неожиданно тихо стало кругом, так пахло последней летней свежестью от начинавших желтеть липок, что ему показалось просто нелепым в такой вечер сидеть в единственном здешнем здании—полуразрушенной халупке, где помещалась столовая.

— Вот что,— сказал он адъютанту,— ты скажи, чтобы стол сюда вынесли, под липками будем обедать.

С кухни вынесли колченогий стол, покрыли скатертью, приставили две скамейки.

— Ну, что же, генерал, сели,— сказал Матвеев начальнику штаба.— Давно мы с тобой в саду под липками не обедали и едва ли еще скоро придется.

И он оглянулся назад, на сожженный город.

Адъютант принес чай в стаканах.

— А помнишь, генерал,— сказал Матвеев,— как было в Сокольниках, около лабиринта, также вроде как клетушки из

остриженной сирени, и в каждой столик и скамеечки. И самовар подавали... Туда все больше семействами приезжали.

— Ну и комаров же там было,— сказал не расположенный к лирике генерал,— не то, что здесь.

— Да, но здесь самовара нет,— сказал Матвеев.

— Зато и комаров нет,— упрямо ответил генерал.— Но лабиринт там действительно был, хороший лабиринт — трудно выбраться.

Матвеев посмотрел через плечо вниз, на расстилавшийся за ним город, и невольно усмехнулся:

— Лабиринт...

Внизу сходились, расходились и перепутывались бесконечные улицы, на которых среди решений многих человеческих судеб предстояло решаться одной большой судьбе — судьбе армии.

В полутьме быстро подошел адъютант.

— С левого берега от Боброва прибыли,— сказал он голосом, свидетельствовавшим о том, что он бежал сюда и запыхался.

— Где они?— отрывисто спросил Матвеев.

— Со мной. Товарищ майор! — позвал адъютант.

Рядом с ним выросла уже плохо различимая в темноте высокая фигура.

— Встретили?— спросил Матвеев.

— Да,— сказал майор.— Встретил. Полковник Бобров приказал доложить, что он встретил и сейчас начнет переправу.

— Хорошо,— сказал Матвеев и, глубоко и облегченно вздохнув, встал, отодвинув скамейку.

То, что все последние часы бесконечно волновало и его, и начальника штаба, и всех окружавших, сейчас решилось.

— Командующий еще не вернулся?— спросил он адъютанта.

— Нет.

— Сейчас же поищите по дивизиям, где он, и доложите, что Бобров встретил.

III

Полковник Бобров еще с утра был отправлен встретить и поторопить ту самую дивизию, в которой командовал батальоном Сабуров. Бобров встретил ее в полдень, не доезжая Средней Ахтубы, в тридцати километрах от Волги. И первым, с кем он говорил, был как раз Сабуров, шедший в голове батальона. Спросив у Сабурова номер дивизии и узнав у него, что командир ее следует еще далеко позади, полковник быстро сел в готовую тронуться машину.

— Товарищ капитан,— сказал он Сабурову и поглядел ему в лицо усталыми, спокойными глазами.— Мне не нужно вам объяснять, почему к шести часам ваш батальон должен быть на переправе.

И, не добавив больше ни одного слова, он захлопнул дверцу и кивнул шоферу.

В шесть часов вечера Бобров, возвращаясь, застал Сабурова уже на берегу. Как всегда после утомительного марша, батальон пришел к Волге нестройно, несколько растянувшись, но через полчаса после того, как первые бойцы увидели Волгу, Сабурову удалось, в ожидании дальнейших приказаний, разместить всех вдоль оврагов и склонов холмистого берега.

Когда Сабуров, в ожидании переправы, расположил батальон по берегу и присел сам отдохнуть на лежавшие у самой воды бревна, полковник Бобров подсел к нему и, открыв щегольской портсигар с неведомо откуда взявшейся у него «Северной Пальмирой», предложил закурить.

Они закурили.

— Ну, как там? — спросил Сабуров и кивнул по направлению к правому берегу.

— Трудно, — сказал полковник. — Трудно... — И в третий раз шопотом повторил: — Трудно, — словно нечего было добавить к этому исчерпывающему все слову.

И если первое «трудно» означало просто трудно, а второе «трудно» — очень трудно, то третье «трудно», сказанное шопотом, значило — страшно трудно, дозарезу.

Сабуров молча посмотрел на правый берег Волги. Вот он — высокий, обрывистый, как все западные берега русских рек. Вечное несчастье, которое на себе испытал Сабуров в эту войну, — все западные берега русских рек были обрывистые, все восточные — отлогие. И все русские города стояли именно на западных берегах рек — Киев, Смоленск, Днепропетровск, Могилев, Ростов... И все их было трудно защищать, потому что они прижаты к реке, и все их будет трудно брать обратно, потому что они тогда окажутся за рекой.

Начинало темнеть, но было хорошо видно, как кружатся, входят в пике и выходят из него над городом немецкие бомбардировщики, как густым слоем, похожие на мелкие пористые облачка, покрывают небо зенитные разрывы.

В южной части города горел большой элеватор, даже отсюда было видно, как пламя вздымалось над ним. В его высокой каменной трубе, видимо, была огромная тяга.

А по безводной степи, за Волгой, к Эльтону шли тысячи голодных, жаждущих хотя бы корки хлеба, беженцев.

Но все это рождало сейчас у Сабурова не вековечный общий вывод о бесполезности и чудовищности войны, а простое и ясное чувство ненависти к немцам.

Вечер был прохладным, но после степного палящего солнца, после пыльного перехода Сабуров все еще никак не мог притти в себя, ему беспрестанно хотелось пить. Он взял каску у одного из бойцов, спустившись по откосу к самой Волге, утопая в мягком прибрежном песке, добрался до воды. Зачерпнув первый раз, он бездумно и жадно выпил эту холодную чистую воду. Но когда он, уже наполовину поостыв, зачерпнул второй раз и поднес каску к губам, вдруг, казалось, самая простая и в то же время острая мысль поразила его — волжская вода! Он пил воду из Волги, и в то же время он был на войне. Эти два понятия — война и Волга, при всей их очевидности, никак не вязались друг

с другом. С детства, со школы, всю жизнь Волга была для него чем-то таким глубинным, таким бесконечно русским, что сейчас вот то, что он стоял на берегу Волги и пил из нее воду, а на том берегу были немцы, казалось ему невероятным и диким.

С этим новым ощущением он поднялся по песчаному откосу наверх, туда, где продолжал еще сидеть полковник Бобров. Бобров посмотрел на него и, словно отвечая его затаенным мыслям, задумчиво произнес:

— Да, капитан, Волга...—и, показав рукой вверх по течению, добавил:—А вон и наш катер идет с баржей...— И, второй раз посмотрев внимательно, уже профессиональным взглядом, сказал:—Одну роту и две пушки разместите...

Пароходик, волочивший за собой баржу, пристал к берегу минут через пятнадцать. Сабуров с Бобровым подошли к наскоро сколоченной деревянной пристани, где должна была производиться погрузка.

Мимо толпившихся у мостков бойцов с баржи несли раненых. Некоторые стонали, но большинство молчало. От носилок к носилкам переходила молоденькая сестра. Вслед за тяжело ранеными с баржи сошло десятка полтора тех, кто мог еще ходить.

— Как мало легко раненных,— сказал Сабуров Боброву.

— Мало?— переспросил Бобров и усмехнулся.— Столько же, сколько всюду, только не все переправляются.

— Почему?— спросил Сабуров.

— Как вам сказать... остаются, потому что трудно и потому что азарт. И ожесточение. Нет, я не то вам говорю. Этого не объяснишь, пожалуй. Вот переправитесь,—на третий день сами поймете, почему.

Бойцы первой роты начали по мосткам переходить на баржу. Между тем возникло непредвиденное осложнение. Оказалось, что на берегу скопилось множество людей, желавших, чтобы их погрузили именно сейчас и именно на эту баржу, направляющуюся в Сталинград. Один возвращался из госпиталя; другой вез из продовольственного склада бочку водки и требовал, чтобы ее погрузили вместе с ним; третий, огромный здоровяк, прижимая к груди тяжеленный ящик, напирал на Сабурова, говорил, что это капсюли для мин и что если он их не доставит именно сегодня, то ему снимут голову; наконец, были люди, просто по разным надобностям переправившиеся с утра на левый берег и теперь желавшие как можно скорее быть обратно в Сталинграде. Никакие уговоры не действовали. По их тону и по выражению лиц никак нельзя было предположить, что там, на правом берегу, куда они так спешили,— осажденный город, на улицах которого каждую минуту рвались снаряды.

Сабуров со свойственным ему спокойствием разрешил погрузиться человеку с капсюлями, интенданту с водкой и оттер остальных, сказав, что они поедут на следующей барже. Последней к нему подошла медсестра, которая только что приехала из Сталинграда и провожала раненых, когда их сгружали с баржи. Она сказала, что на том берегу лежат еще

раненые и что с этой же баржей ей придется переправить их сюда. Сабуров не смог отказать ей, и, когда рота погрузилась, она, вслед за другими, по узенькому трапу перебралась сначала на баржу, а потом на пароходик.

Капитан, немолодой человек в синей тужурке и в старой совторгфлотовской фуражке с поломанным козырьком, буркнул в рубку какое-то приказание, и пароходик отчалил от левого берега.

Сабуров сидел на корме, свесив ноги за борт и обхватив руками поручни. Шинель он снял и положил рядом с собой. Приятно было чувствовать, как ветер с реки забирается под гимнастерку. Он расстегнул гимнастерку и оттянул ее на груди так, что она надулась парусом.

— Простынете, товарищ капитан,— сказала стоявшая рядом с ним девушка, ехавшая за ранеными.

Сабуров улыбнулся. Ему показалось смешным это предположение, что на пятнадцатом месяце войны, переправляясь в Сталинград, он вдруг простудится и заболеет гриппом. Он ничего не ответил.

— И не заметите, как простынете,—настойчиво повторила девушка.— Тут холодно на реке по вечерам. Я вот каждый день переплываю и уже до того простудилась, что даже голоса нет.

Действительно, в ее тонком девичьем голосе чувствовалась простуженная хриповатость.

— Каждый день переплываете?— сказал Сабуров, поднимая на нее глаза.— По скольку же раз?

— Сколько раненых, столько и переплываю. У нас ведь теперь не как раньше было—сначала в полк, потом в медсанбат, потом в госпиталь. Сразу берем раненых с передовых и сами везем за Волгу.

Она сказала это таким спокойным тоном, что Сабуров, неожиданно для себя, задал тот пустой и праздный вопрос, который обычно он задавать не любил:

— А не страшно вам столько раз туда и назад плавать?

— Страшно,— сказала девушка.— Когда оттуда раненых везу, не страшно, а когда туда одна возвращаюсь—страшно. Когда одна, страшнее,— ведь верно?

— Верно,— сказал Сабуров и про себя подумал, что он и сам, думая о своем батальоне и находясь в нем, всегда меньше боялся, чем в те редкие минуты, когда оставался один.

Девушка села рядом, тоже свесила над водой ноги и, доверчиво тронув его за плечо, сказала шепотом:

— Вы знаете, что страшно? Нет, вы не знаете... Вам уже много лет, вы не знаете... Страшно, что вдруг убьют и ничего не будет. Ничего не будет того, про что я всегда мечтала.

— Чего не будет?

— А ничего не будет... Вы знаете, сколько мне лет? Мне восемнадцать. Я еще ничего не видела, ничего. Я мечтала, как буду учиться, и не училась... Я мечтала, как поеду в Москву и всюду, всюду — и я нигде не была. Я мечтала...— и она замялась, но потом продолжала:— Я мечтала, как полюблю, как выйду замуж, и ничего этого тоже не было... И вот я

иногда боюсь, очень боюсь, что вдруг всего этого не будет. Я умру, и ничего, ничего не будет...

— А если бы вы уже учились и ездили, куда вам хотелось, и были бы замужем, думаете, вам не так было бы страшно? — спросил Сабуров.

— Нет, — убежденно сказала она. — Вот вам, я знаю, не так страшно, как мне. Вам уже много лет.

— Сколько?

— Ну, тридцать пять — сорок, да?

— Да, — улыбнулся Сабуров и с горечью подумал, что совершенно бесполезно доказывать, что ему не сорок и даже не тридцать пять и что он тоже еще не научился всему, чему хотел научиться, и не побывал там, где хотел побывать, и не любил так, как ему бы хотелось любить.

— Вот видите, — продолжала она, — вам поэтому не должно быть страшно. А мне страшно.

Это было сказано с такой грустью и в то же время самоотверженностью, что Сабурову захотелось вот сейчас же, немедленно, как ребенка, погладить ее по голове и сказать какие-нибудь пустые и добрые слова о том, что все еще будет хорошо и что с ней ничего не случится. Но вид горящего города удержал его от этих праздных слов, и он вместо них сделал только одно: действительно тихо погладил ее по голове, и быстро снял руку, не желая, чтобы она подумала, будто он понял ее откровенность иначе, чем это нужно.

— У нас сегодня убили доктора, — сказала девушка. — Я его перевозила, когда он умер... Он был всегда такой злой, на всех ругался. И когда оперировал, ругался, и на нас кричал. И, знаете, чем больше стонали раненые и чем им больнее было, тем он больше ругался. А когда он умирать стал, я его перевозила — его в живот ранили, — ему было очень больно, и он тихо лежал и не ругался, и вообще ничего не говорил: вот, мол, и все. И я поняла, что он, наверное, на самом деле был очень добрый человек. Он оттого ругался, что не мог видеть, как людям больно, а самому ему когда было больно, он все молчал и ничего не сказал, так до самой смерти, ничего... Только когда я над ним заплакала, он вдруг улыбнулся. Как вы думаете, почему?

— Не знаю, — сказал Сабуров. — Может быть, он был рад, что вы на этой войне еще живы и здоровы, и улыбнулся. А может быть, и не так, не знаю.

— Я тоже не знаю, — сказала девушка. — Мне только было очень жаль его и странно: он такой был большой, здоровый... Мне всегда казалось, что сначала всех нас и меня могут убить, а его уже после всех или вовсе никогда. Вдруг совсем наоборот.

Пароходик, пыхтя, подбирался к сталинградскому берегу, до которого оставалось всего двести или триста метров. И как раз в эту минуту в воду впереди него со свистом плюхнулся первый снаряд. Сабуров вздрогнул от неожиданности. Девушка не вздрогнула.

— Стреляют, — сказала она. — А я все ехала сейчас, говорила с вами и думала: почему они не стреляют?

Сабуров не ответил. Он прислушался и, еще до падения

снаряда, понял, что у этого, второго, будет большой перелет. Снаряд действительно упал метров на двести сзади пароходика. Немцы взяли пароходик в так называемую артиллерийскую вилку - один снаряд впереди, один сзади. Сабуров знал, что теперь они поделят вилку пополам, потом это расстояние поделят еще пополам, сделают поправку, и дальнейшее, как всегда на войне, будет делом счастья.

Сабуров поднялся и, сделав несколько шагов к самой корме, сложив руки рупором, крикнул на баржу:

— Масленников, прикажите людям снять шинели и положить рядом с собой.

Красноармейцы, стоявшие рядом с ним на пароходике, поняв, что приказание капитана относилось и к ним, торопливо расстегивали шинели и, стащив с себя, клали у ног.

Немецкий артиллерист действительно, как и предвидел Сабуров, поделил вилку так точно, что третий снаряд плюхнулся почти у самого борта парохода.

— Рама, — сказала девушка.

Сабуров взглянул вверх и увидел невысоко, прямо над головой, немецкий двухфюзеляжный артиллерийский корректировщик «Фокке-Вульф», который на фронте за его странный, похожий на букву «П», хвост повсеместно прозвали «рамой». Теперь была понятна сегодняшняя точность стрельбы немецких артиллеристов. Пароходик был лишен возможности маневрировать из-за огромной баржи. Оставалось только ждать в течение тех пяти минут, которые еще отделяли их от берега.

Сабуров взглянул на девушку и с удивлением заметил, что у нее, очевидно, не было чувства, которое часто рождается у людей в минуты опасности: ей не хотелось ни к чему прижаться, ни быть непременно рядом с кем-нибудь. Она спокойно стояла в пяти шагах от Сабурова, у борта, там, где он ее оставил, и молча, привычно, ждала, упрямо глядя в простирающуюся под ее ногами воду.

Сабуров подошел к ней.

— В случае чего, до берега доплывете?

— Я не умею плавать, — сказала она.

— Совсем?

— Совсем.

— Тогда станьте поближе туда, — сказал Сабуров. — Вон, видите, там круг висит.

Он показал рукой туда, где висел круг, и именно в эту секунду снаряд упал на пароход. Он упал, очевидно, в машинное отделение или в котлы, потому что все сразу загремело, перекосилось, повернулось и покатившиеся люди сшибли Сабурова с ног. Его подбросило вверх и швырнуло в воду. Через секунду, выгребая руками, он очутился на поверхности. Та часть пароходика, на которой осталась труба, повернулась в двадцати шагах от Сабурова и, как большим стаканом, зачерпнув сначала трубой воду, ушла в глубину.

Кругом в воде барахтались люди. Сабуров подумал, что хорошо сделал, когда приказал им снять шинели. Тяжело налитые водой сапоги тянули ноги вниз, и он сначала решил

нырнуть и стащить с себя сапоги. Но баржа, которую несло мимо него по течению, была так близко, что он по-солдатски пожалел сапоги и решил, что доплывет и так.

Все эти мысли промелькнули у него в голове в течение одной секунды, а в следующую секунду он увидел в нескольких метрах от себя девушку, которая, неудачно попытавшись схватиться за обломок парохода, погрузилась в воду. Сабуров сделал несколько быстрых взмахов саженками и, когда девушка еще раз оказалась на поверхности, ухватил ее за гимнастерку. К счастью, баржа неслась по течению почти прямо на него, и он, собрав все силы, сделал несколько быстрых взмахов свободной рукой, чтобы оказаться на ее пути.

Через полминуты он схватился за протянутые ему с баржи руки бойцов. Легко подтянувшись к борту, он подтянул за собой и девушку и, убедившись, что крепкие руки уже втягивают ее на баржу, сам быстро влез на борт.

— Ой, слава богу, товарищ капитан,— обрадовался оказавшийся рядом с ним Масленников.

Сабуров взглянул на него. Масленников был без сапог и без гимнастерки; сомневаясь в том, доберется ли Сабуров сам или нет, он приготовился прыгать в воду.

— Подождите,—сказал Сабуров и повернулся к воде.

Один за другим подплывали к барже красноармейцы. Последним подплыл капитан парохода. Он влез на баржу, отфыркиваясь и чертыхаясь и еще глубже надвигая на лоб неведомо как удержавшуюся у него на голове совторгфлотовскую фуражку со сломанным козырьком.

Наперерез несшейся по течению барже, от берега, пыхтя, спешил катерок.

— Готовься чалить! — крикнули с него громовым, пропитым волжским басом.

И через минуту мешочек с песком на тонкой бичеве, со свистом перерезав воздух, шлепнулся на баржу. Красноармейцы дружно начали тянуть канат.

Далеко позади баржи упало в воду еще несколько снарядов, и потом все стихло: близкий крутой берег теперь уже мешал немцам стрелять.

— Пересчитайте людей,— сказал Сабуров Масленникову,— да оденьтесь. Что вы, так и будете босиком стоять?

Масленников смущенно посмотрел на свои голые ноги и торопливо стал надевать сапоги.

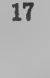
Кто-то из бойцов накинул на плечи Сабурову свою шинель.

— Девушке дайте шинель,— сказал Сабуров.— Где она?

Она сидела тут же, в нескольких шагах от него, в уже накинутой кем-то на плечи шинели и, словно забыв о том, что она вся до нитки промокла, с женской старательностью выжимала свои длинные волосы, накрутив их на кулачки. Сабуров хотел подойти к ней, но в это время до его плеча дотронулся Масленников.

— Ну?

— Восьми человек нет,— шопотом сказал Масленников, и на его лице изобразилось страдание: еще только пристают



к берегу, еще не было никакого боя, и вот уже нет восьми человек.

Баржа пришвартовалась к пристани. Теперь были слышны не только артиллерийские разрывы, но и близкая пулеметная трескотня. Сабурова, еще не знающего истинного положения вещей в городе, это поразило. Пулеметы стреляли не дальше как в двух-трех километрах отсюда.

Взволнованные люди спешили скорей перебраться на берег. Сабуров пропускал их мимо себя. Девушка сошла одной из первых. Когда Сабуров вспомнил о ней, ее уже не было ни на барже, ни на пристани. Он и Масленников сошли с баржи последними.

IV

К ночи разразилась гроза. В десять часов, когда Сабуров переправлял свою последнюю роту, все окружающее было похоже на какую-то нарочито мрачную фантастическую картину. Волга шумела и пенилась; впереди на фоне ночи по всему горизонту поднимались багровые столбы пожаров, и где-то поверх, на черном небе, отражаясь в нем, плясали багровые отсветы. Частые молнии, выхватывая из темноты куски берега, освещали причудливые изломы обрушившихся домов, вздыбленные к небу крыши, огромные бензиновые цистерны, смятые, как бумажные трубки, сжатые в кулак. Лил дождь, косой, крупный, бьющий в лицо.

На берегу, в страшной темноте, трудно было разобраться среди развалин и обломков; люди находили друг друга наощупь и по голосу, а кругом все шумела и плескалась бесконечно падавшая с неба вода.

С последней баржей Сабуров переправил свои походные кухни и повозки с провиантом. Нечего было и думать о том, чтобы приготовить горячую пищу среди этой темноты и хаоса. Старшины, собравшиеся около провиантских повозок, получали сухой паек и в темноте наощупь раздавали его людям. Спрятаться от дождя и ветра было почти негде, все было мокро: доски, навесы, развалины.

Близкая автоматная стрельба, которую слышал Сабуров на закате, сейчас почти прекратилась; иногда только вспыхивали и сразу же гасли неожиданные очереди. Зато где-то далеко, и слева и справа, беспрерывно слышались артиллерийские раскаты, перемежавшиеся с раскатами грома.

Хотя Сабуров прекрасно понимал, что главная опасность начнется именно с рассветом, ему все-таки хотелось, чтобы поскорее начался этот рассвет, — тогда, по крайней мере, можно будет разобраться и увидеть, где они находятся, что вокруг них и куда им надо двигаться.

Ровно в двенадцать ночи, когда Сабурову удалось наконец разместить свои роты вдоль ближайших к берегу, превращенных в развалины, улиц, когда его смертельно усталые люди, кто как, заснули или пытались заснуть, связной, пришедший от Бабченко, потребовал его к командиру дивизии.

Штаб дивизии оказался тут же на берегу, всего в десяти минутах ходьбы от Сабурова. Он временно помещался под высоким фундаментом вкось, на обрыве построенного здания. Это была довольно глубокая нора, огороженная врытыми в землю, похожими на колонны, бетонными упорами. Здесь можно было зажечь свет, и весь подвал освещался подвешенной на столб лампой «летучая мышь» и электрическими фонариками, которые неизменно вынимались, когда нужно было что-нибудь записать или посмотреть на карту.

Сабурова после полной темноты заставил сощуриться даже свет «летучей мыши»; он не разобрал лиц, хотя по гулу голосов понял, что в подвале много людей.

— Сабуров,— услышал он голос Бабченко.

— Ну что ж, теперь все,— сказал другой голос, показавшийся Сабурову знакомым.

Сабуров вгляделся и увидел, что рядом с Бабченко стоит командир дивизии полковник Проценко, которого Сабуров хорошо и давно знал, но не видел почти полтора месяца, с тех пор, как тот был тяжело ранен под Воронежем и отправлен в госпиталь. Проценко вернулся в дивизию совсем недавно, всего неделю тому назад, перед отправкой на фронт. Сабуров знал об этом, но до сих пор еще не видел Проценко. Полковник, относившийся неравнодушно, и иногда даже пристрастно, к тем, кто у него давно служил, сделал из темноты шаг вперед к «летучей мыши» и, похлопав Сабурова по плечу, спросил:

— Ну как, Алексей Иванович? Все живой еще?

— Все живой,— сказал Сабуров.

Проценко любил называть всех, даже самых маленьких командиров, которых он давно знал, непременно по имени и отчеству, подчеркивая этим перед остальными свое старое солдатское товарищество со всеми ветеранами, независимо от их званий.

— Живой,— сказал Проценко.— Вот и я живой. Это хорошо.— И, обращаясь к кому-то, плохо различимому в темноте, сказал: — Старые друзья, товарищ генерал, еще под Москвой вместе были...

И, сразу перейдя с ласкового тона на строго официальный, переспросив еще раз, все ли вызванные им командиры собрались, начал объяснять задачу этой ночи. Надо было за ночь сменить остатки дивизии, стоявшей на направлении главного удара немцев. Полк Бабченко должен был ночной атакой выбить немцев с окраины заводского поселка, где они сегодня днем ближе всего подошли к Волге и откуда Сабуров вечером, очевидно, и слышал близкую автоматную стрельбу.

Проценко подробно и точно, как обычно он это делал, объяснил задачу, ведя карандашом по аккуратно сложенной чистенькой карте, и потом, отпустив командиров двух полков, которым в эту ночь предстояло только занимать позиции, обратился к Бабченко:

— Понимаешь, Филипп Филиппович, что ты сделать должен?

— Сделаем,— сказал Бабченко.

— В каждый батальон я тебе дам присланных из армии

командиров, знающих город и обстановку. Товарищи командиры,— повернулся Проценко.

Из темноты вышли трое командиров: два старших лейтенанта и капитан.

— Будете в распоряжении подполковника. Обстановка трудная,— глядя в упор на Бабченко, сказал Проценко.— Очень трудная... Бой ночной в незнакомом городе. Здесь шаблонов не может быть. Чем больше будет драться народу, тем больше будет путаницы и больше потерь. Неожиданностью и решимостью, а не числом. Вы понимаете, товарищ Бабченко?— сказал Проценко строго, словно предупреждая этими словами возможные решения Бабченко, которые он предвидел и не одобрял.— Сегодя ночью вы будете воевать одним батальоном, а два должны быть у вас готовы к рассвету для поддержки и отражения контратак. Атаковать поручите Сабурову.

Оставив Бабченко и обратившись к Сабурову, Проценко продолжал:

— А вы тоже должны помнить,— ночью не числом а неожиданностью, как в Воронеже... Помните Воронеж?

— Так точно.

— Хорошо помните?

— Так точно.

— Ну, тогда все. Держитесь, как в Воронеже, и еще лучше. Вот и все, вся мудрость...

Проценко повернулся к человеку, стоявшему позади и молча слушавшему разговор. Теперь Сабуров разглядел его. Он был одет в черное кожаное, блестящее от дождя, пальто с защитными зелеными генеральскими петлицами. Очевидно, он сделал Проценко все указания еще раньше и теперь только слушал, как тот давал свои распоряжения.

— У вас приказаний не будет, товарищ генерал?—спросил Проценко.— Разрешите отпустить командиров?

— Сейчас,— сказал генерал и подошел ближе к свету.

Теперь Сабуров совсем хорошо мог разглядеть его. Он был среднего роста, с тяжелой львиной головой, серыми, смотревшими исподлобья, снизу вверх, тяжелыми глазами, с тяжелым подбородком и с общим выражением какого-то особенного, неукротимого упорства во всем — в глазах, в наклоненной голове, в стремительно подавшейся вперед фигуре. Казалось, что он сейчас скажет слова непременно угрюмые и резкие, но голос, каким он заговорил, был неожиданно ясным, спокойным.

— Вы в уличных боях участвовали?— спросил он Сабурова.

— Так точно.

— Саперов вперед, автоматчиков вперед, лучших стрелков вперед. Поняли?

— Понял.

— И сами вперед. В этих случаях у нас, в Сталинграде, так принято.

— И у нас в дивизии тоже так принято,— сказал Сабуров с неожиданной для себя резкостью, словно разговор был со штатским лицом, а не с командующим армией. Сабуров забыл

даже прибавить слова «товарищ генерал». Лицо генерала не выразило ничего. По нему нельзя было угадать, понравился или не понравился ему ответ.

— Разрешите отправляться командирам? — повторил Проценко.

— Да, пусть идут, — сказал генерал.

Выходя, Сабуров почувствовал на себе внимательный, провожавший его взгляд и услышал последние, громче остальных сказанные слова Проценко, ответившего на вопрос генерала:

— Ничего, осилит...

И Сабуров подумал, что, очевидно, эти слова относились к нему.

Идя в темноте вслед за Бабченко, Сабуров спросил его, когда же он наконец даст ему комиссара вместо прежнего, заболевшего тифом и снятого с эшелона на дороге.

— Что ж, я тебе его рожу, что ли? — грубо сказал Бабченко. — Политрук первой роты выполняет его обязанности или нет?

— Выполняет, — сказал Сабуров так, что в одном этом слове чувствовалось все то неприятное, что ему хотелось сказать по этому поводу, но Бабченко сделал вид, что он не понял этой интонации.

— Ну, раз выполняет, значит пусть и дальше выполняет.

Они прошли еще несколько десятков шагов в молчании. Сабуров не любил и не ценил Бабченко, но уважал его за личную храбрость, и, кроме того, это все-таки был его командир полка, человек, вместе с которым через час они вступят в бой. Сабуров не то что боялся, но волнение, более сильное, чем обычно, охватило его перед этим ночным боем, и ему хотелось услышать от Бабченко что-то, что могло его поддержать в эту минуту.

— Как думаете, товарищ подполковник, должно все хорошо сойти, а?

— Я не думаю и вам не советую. Приказ есть? Есть. А думать завтра будем, когда выполним.

Он сказал это сухо, по-обычному, как всегда, ничего не поняв из того, что делалось в душе его подчиненного. И Сабурову не захотелось больше ни о чем его спрашивать.

Когда Сабуров вернулся в расположение батальона, оказалось, что его телохранитель, предприимчивый автоматчик, которого все в батальоне, несмотря на его тридцатилетний возраст, звали просто Петей, уже устроил среди развалин барака подобие командного пункта; правда, влезать туда надо было на четвереньках, но зато там было сравнительно сухо и горел свет.

Сабуров позвал к себе Масленникова, заменявшего комиссара политрука Парфенова и командиров всех трех рот: долговязого, усатого, похожего на Чапаева, Гордиенко, маленького Винокурова и спокойного, тяжеловесного сибиряка, пришедшего недавно из запаса, Потапова. Сабуров дал командирам полчаса на то, чтобы выбрать из каждой роты по пятьдесят человек автоматчиков и лучших стрелков.

— Впереди, — объяснил он, развертывая план города, —

лежит площадь. На этой стороне—дома, уже взятые немцами,— три больших дома, каждый в полквартала. Эти дома надо занять сегодня ночью,— говорил он, подчеркивая значение этих слов только тем, что после каждого делал паузу, словно ставил точку...

...Силы он поделит на три части: левый дом в обход площади будет брать со своей группой Гордиенко, правый дом—тоже в обход—будет брать Парфенов, прямо, через площадь, пойдет он сам...

Командиры молча слушали.

— Вы,— обратился Сабуров к Масленникову,— останетесь в резерве и, когда дойдете до нашего переднего края, остановитесь, расположите всех, кто не уйдет с нами, и будете ждать рассвета. Надо так расположить людей, чтобы к рассвету, как только мы выбьем немцев, вы уже были совсем близко и могли нас поддержать. Поняли, Масленников?

— Понял,— с некоторой горечью сказал Масленников, недовольный, что при первом же деле его оставляют в резерве.

За оставшиеся до выступления полчаса Сабуров обошел все три копошившиеся в темноте роты и, вспоминая одного за другим тех, кто с ним воевал еще под Воронежем, вызывал их поочередно, чтобы в этом первом, да еще к тому же ночном, бою сразу же приняли участие как можно больше ветеранов. Если даже он за ночь потеряет слишком много людей, то все-таки он потеряет их еще больше, если не возьмет дома до утра и то же самое придется делать засветло.

Когда Сабуров обходил вторую роту, ему на память пришел тот солдат, с которым он говорил в Эльтоне. Он подумал, что этот немолодой, усатый, спокойный дядька, наверное, был когда-то лихим охотником и должен ловко работать в ночном бою.

— Конюков,— позвал он.

— Здесь Конюков!— крикнул над его ухом, неожиданно вырастая, словно из-под земли, солдат.

— Вот и Конюкова включите,— сказал Сабуров Потапову.— Он тоже пойдет.

Через полчаса роты с шедшими впереди, отобранными Сабуровым, штурмовыми отрядами стали медленно двигаться под дождем вверх по обгоревшим, ядовито пахнувшим дымом улицам.

Назначенный сопровождать батальон Сабурова маленький чернявый лейтенант, по фамилии Жук, привел батальон к задним дворам той улицы, фасады которой представляли собою на сегодняшнюю ночь линию фронта. Дальше была широкая площадь, на противоположной окраине которой врезанными в нее полуостровами выделялись чуть видные в темноте три больших здания, занятых немцами. На этом краю площади стояли остатки полка, днем отступившего сюда. Командир полка был убит, комиссар тоже. Полком командовал капитан — командир одного из батальонов, а старший лейтенант, который привел Сабурова, как оказалось, был временно назначен начальником штаба полка. Собственно, его миссия сейчас кончалась, но, отведя в сто-

рону командира полка и пошептавшись, он вернулся к Сабурову и сказал, что знает те дома, которые нужно занять, и, если Сабуров не возражает, пойдет с ним туда. Сабуров не возражал, — напротив, он был рад, хотя его несколько удивила такая самоотверженность старшего лейтенанта. Словно почувствовав это, Жук сказал:

— Я вас провожу. Раз отдать сумели, теперь я должен суметь вас довести...

Сабуров наметил места, с которых всем трем атакующим группам предстояло начинать. На себя он взял центр площади. У него было больше всего людей, зато ему и приходилось итти прямо, через всю площадь, на которой единственным укрытием был темневший впереди. отмеченный по плану, круглый фонтан.

Перед началом Сабуров еще раз подозвал к себе Гордиенко и Парфенова. Вытащив из кармана портсигар, где лежали четыре заветные папиросы, и оставив одну, чтобы закурить после окончания дела, он молча сунул им в руки по одной папиросе, а третью стиснул зубами сам. Они присели на корточки, накрылись полами его шинели и по очереди прикурили. Затем, прикрывая огонь, потягивая из кулака, все трое поднялись.

Что можно было сказать им? Чтобы они шли вперед? Они это знали. Чтобы они не боялись смерти? Они все равно ее боялись, так же, как и он. Сказать им, что взять эти три дома нужно, очень нужно?.. Но если бы это не было очень нужно, — разве могли бы люди в кромешной темноте итти сейчас на неизвестность и смерть? Конечно, это было очень нужно. И, вместо всех этих слов, он быстрым движением молча притянул к себе за плечи высокого Гордиенко и маленького, тщедушного Парфенова, притиснул их к себе сразу обоих своими длинными узловатыми руками и так же молча отпустил их.

Когда они скрылись в темноте, он почему-то подумал не о себе, а о них: увидит ли он их? Увидят ли они его — об этом он не подумал.

Через минуту двинулся со своим отрядом и он сам. Пятьдесят или шестьдесят шагов Сабуров шел по площади молча, от волнения сдерживая дыхание, словно немцы могли его услышать. Потом вдруг с немецкой стороны треснули автоматные очереди, наискось по площади прошли первые трассирующие пули, потом вспыхнули одна за другой две маленьких белых ракеты и на несколько секунд осветили кусок площади с выступавшим впереди темным пятном фонтана и с людьми справа и слева от Сабурова, при этой внезапной вспышке сразу прижавшимися к каменной мостовой. Сабуров поднялся и бросился вперед. Сзади, в ответ на немецкие выстрелы, заухали наши минометы и длинными очередями стали бить «максимы». Над головой с обеих сторон шло столько трассирующих пуль сразу, что у Сабурова вдруг мелькнула дикая мысль, что некоторые из них должны столкнуться в воздухе.

Дальше и время и жизнь измерялись уже только метрами...

Сабуров бесконечно вставал, поднимал людей, пробегал

несколько шагов и снова падал плашмя на мостовую. Вскоре начали стрелять немецкие минометы. Мины рвались то спереди, то сзади, разворачивая мостовую. Прекратившийся было дождь вдруг снова полил, и раскаты грома перемежались с разрывами мин. Одна мина разорвалась совсем близко. Сабуров бросился вперед, падая, больно ударился, и когда в следующую секунду, поднимаясь, ухватился за что-то стоящее впереди, то при блеске внезапно сверкнувшей молнии увидел, что стоит, прижавшись к фонтану, обхватив руками каменного ребенка. Голова и половина туловища у ребенка были снесены снарядом, и Сабуров держался только за каменные ноги. Этот большой круглый фонтан, служивший временным укрытием, в то же время неожиданно оказался препятствием.

Как ни страшно было тут оставаться, еще страшней было пройти те сто метров, которые отделяли штурмующих от стен самого дома. И людям не хотелось расставаться с этой защитой. Они залегли за стенки фонтана и некоторое время никак не могли решиться двинуться дальше. Сабуров несколько раз выползал вперед за фонтан, вытягивал за собой людей и снова возвращался за остальными. Пулеметные очереди все тесней прижимали их к земле, хотя потерь пока еще почти не было.

— Ишь, чиркают, — сказал какой-то голос около Сабурова, когда они в очередной раз лежали плашмя. — Ишь, чиркают, — повторил он таким тоном, как будто речь и правда шла о спичке.

Сабуров узнал Конюкова.

— Страшней, чем в ту германскую? — спросил он, поворачивая лицо, но так и не отрывая головы от земли.

— Нет, — сказал Конюков, — ничего. А проволоки не будет?

— Не должно быть.

— Ну, тогда ничего. А то ведь они, бывало, по двенадцати колов ставили. Уж ее режешь, режешь, — сказал Конюков спокойным голосом человека, только-только собирающегося начать длинный рассказ.

В этот момент ударила мина, и они оба прижались к земле.

— За мной! — крикнул Сабуров, выждав, когда работавший наощупь немецкий пулемет перенес огонь куда-то левее.

И они снова пробежали несколько шагов.

Так продолжалось еще минут пять. Сабуров со смешанным чувством страха и удовольствия думал о том, что он так, как и хотел, принял удар на себя и что группы Гордиенко и Парфенова тем временем, наверное, уже по балке и задними дворами незаметно подошли к домам с обеих сторон. Все это было бы хорошо, если бы не было так страшно от беспрерывного белого, желтого, зеленого ливня трассирующих пуль.

Последние пятьдесят метров никого не пришлось поднимать. Переждав еще одну пулеметную очередь, все рванулись как-то решительно и разом вперед, к уже видневшимся стенам домов, как к якорю спасения. Что бы там ни было, — немцы, черти, дьяволы, — все равно это было лучше, веселей и не страшней, чем эта голая площадь, по которой они до

сих пор ползли. Желание, которое, чем ближе к концу, тем больше овладевает чувствами идущего в атаку человека, желание принять на штык, дотянуться своей рукой до немца, безотчетно подняло их и бросило вперед.

Когда Сабуров подбежал к самой стене дома, то оказалось, что окна первого этажа очень высоки. Тогда его телохранитель Петя подскочил к нему и подсадил его наверх. Сабуров вцепился рукой в подоконник, с силой швырнул в окно тяжелую противотанковую гранату и сам опять упал вниз, на улицу.

Внутри раздался сильный взрыв. Петя опять подсадил Сабурова. Сабуров сел верхом на подоконник и в свою очередь протянул руку Пете. Тот тоже вскочил, опять протянул кому-то руку, и все они втроем или вчетвером ссыпались внутрь дома. Сабуров, по перенятой еще в начале войны от немцев привычке, на всякий случай, не глядя, дал от живота веером очередь из автомата. Кто-то совсем близко вскрикнул, в глубине тоже слышались стоны...

Сабуров наощупь пересек комнату и, толкнув перед собой дверь, очутился в коридоре. Коридор был глухой, без окон и в двух концах его—слева и справа—горели не потушенные немцами карбидовые светильники. Из двери, расположенной далеко, в том конце коридора, выскочили сразу несколько человек. Сабуров скорее почувствовал, чем понял, что это немцы, и, пригнувшись, из-за дверной щели дал вдоль коридора длинную автоматную очередь. Несколько бежавших упало, один, спотыкаясь и размахивая руками, добежал до Сабурова и упал плашмя у его ног, а последний, метнувшись от стены к стене, прыгнул мимо Сабурова и столкнулся сзади него с кем-то, злорадно крикнувшим по-русски: «Ага, попал!»

Сабуров услышал сзади себя громкую возню и, крикнув на ходу: «Петя, за мной!», побежал вперед по коридору.

В ближайшие полчаса трудно было в чем-либо разобраться. Бойцы Сабурова и немцы наскакивали друг на друга, в упор стреляли из автоматов, дрались, опять стреляли, бросали гранаты. По беспорядочной беготне, по тому, как метались немцы с верхнего этажа вниз и обратно, было ясно, что они испуганы и то, о чем злорадно мечтали бойцы, лежа на площади,—достигнуть немца штыком и рукой,—свершилось.

Постепенно бой перешел во внутренний двор и затих. Немцы или были убиты, или спрятались, или бежали. Их минометы, стоявшие на соседней улице, начали стрелять по дому, из чего следовало, что дом сейчас был снова нашим.

Начинало медленно светать. Сабуров послал связных к Гордиенко и Парфенову, которые, судя по тому, как и откуда стреляли немцы, тоже заняли свои два дома слева и справа.

Когда совсем рассвело, наконец объявился старший лейтенант Жук. Он шел, прихрамывая, за ним двигались трое бойцов и пятеро немцев со скрученными за спиной руками.

— Вот они... Скажи, пожалуйста, в котельную, в котел забрались,— с искренним, никогда не покидающим русского человека, удивлением перед хитростью и коварством немца.

сказал Жук.— В котел ведь, скажи, пожалуйста,— повторил он с видимым удовольствием от того, что он все-таки нашел этих хитрых немцев.

Сабуров был доволен — и тем, что Жук оказался живым, и тем, что он взял в плен немцев, но ноги его вдруг подкосились от усталости, и, сев на первый подвернувшийся стул, он почти равнодушно сказал, вытирая пот со лба:

— Да, значит, в котел...

— В котел,—с удовольствием в третий раз повторил Жук.— Что прикажете делать с ними, а?

— Вы в полк пойдете к себе?— спросил Сабуров.

— Да.

— Возьмите автоматчиков и сведите их туда, а потом дальше передадите.

— Есть свести к себе,— с радостью сказал Жук,— а автоматчиков не надо, у меня и так не убегут.

Услышав это, Сабуров почувствовал уверенность в том, что немцы действительно от него не убегут, и в то же время полную неуверенность, дойдут ли они с ним до штаба.

— Вы их доведете?— сказал он.

— А то как же, доведу...— ответил Жук тем ненатуральным тоном, при помощи которого люди, вообще не умеющие лгать, хотят изобразить в трудных случаях особую правдивость.— Вы теперь тут все хозяйство более или менее уже знаете?

— Более или менее,— сказал Сабуров.

— Ну, я к себе пойду,— сказал Жук,— а прощаться не буду, я еще к вам в гости приду.

— Приходите,— улыбнулся Сабуров.— Я себе пока тут квартиру найду. Ну, что ж, идите.

Жук уже повернулся, но, уходя, добавил:

— Только в нижнем этаже советую, в бельэтаже продует. Как увидят немцы, что вы в бельэтаже расположились, так все окна вместе со стенкой выбьют, уж это точно.

Сабуров и в самом деле выбрал себе для временного командного пункта одну из полуподвальных, впрочем, довольно светлых и больших комнат. Когда он присел на секунду и, нахмурив лоб, пытался сообразить, что ему предпринять дальше, ввалился Конюков, волоча за собой пленного — рыжего немолодого немца, примерно его лет и комплекции.

— Словил, товарищ капитан,— коротко сказал Конюков,— словил. Вот словил и вам представляю...

У Конюкова был победоносный вид. Так же как и Жук, он скрутил пленному немцу руки за спиной, но в то же время добродушно похлопал его по плечу. Немец был его добычей, и Конюков относился к нему по-хозяйски, как ко всякому своему добру. Сабуров, заметив по лычкам, что это фельдфебель, задал ему на своем ломаном немецком языке несколько вопросов. Немец ответил хриплым, придушенным голосом.

— Что говорит, а? Что говорит? — два или три раза, перебивая немца, спрашивал Конюков.

— Все, что нужно, говорит, — сказал Сабуров.

— Хрипит... Ишь ты, голос сразу потерял, — удовлетворен-

но заметил сам запыхавшийся от борьбы Конюков. — Это я его маленько придушил. Теперь недели две без голоса будет, а то и месяц, — добавил он, окинув немца оценивающим взглядом.

— Ты до кого в старой армии дослужился?

— До фельдфебеля, — сказал Конюков.

— Вот и он фельдфебель, — сказал Сабуров.

— Значит, так на так, — разочарованно протянул Конюков, — а я думал — полковник.

— Почему же полковник?

— А вишь, нашивок сколько у него... Я уж его... все про себя думал, может, полковник, осторожней надо... а то ведь, тьфу, знал бы, задушил бы — и все...

На завоеванной территории постепенно все образовывалось. Пленных, которых набралось одиннадцать человек, свели в одну полуподвальную каморку. От Гордиенко из соседнего дома уже протянули телефон. Масленников, как сообщили связные, с остальной частью батальона скоро должен был притти сюда.

В окнах полуподвала, заваливая их камнями, домашними вещами, чем попало, располагались пулеметчики и автоматчики. За каменной стенкой, там, где указал Сабуров, поспешно рыли себе окопы минометчики. О том, чтобы раньше следующей ночи подтащить сюда кухни, нечего было и думать. Сабуров приказал людям брать еду из своего неприкосновенного запаса. Наблюдатель, забравшись высоко на стену дома, под обгоревшую крышу, сообщал о передвижении немцев по ближайшим улицам.

Гордиенко сообщил по телефону, что у него все в порядке, что он взял четырех пленных и укрепляется, ожидая дальнейших приказаний. Сабуров сказал ему, что единственное приказание — укрепляться, как можно скорей.

Когда наконец протянули провод от Парфенова, Сабуров взял трубку.

— Лейтенант Григорьев слушает, — сказал молодой тонкий голос.

— А где Парфенов?

— Он не может подойти.

— Почему не может?

— Он ранен.

Сабуров положил трубку. Как раз в эту минуту к нему явился запыхавшийся и счастливый Масленников.

— Вот сюда попали, когда шел, — сказал он торжественно, показывая краешек своего галифе, где была дырка от пули.

Сабуров улыбнулся.

— Если у вас всегда по этому поводу будет такое радостное настроение, то, я думаю, вы тут часто будете ходить веселым. Судя по всему, в Сталинграде вам еще придется не раз штопать обмундирование. Ну, привели людей?

— Привел.

— Без потерь, надеюсь?

— Трое раненых.

— Ну, это ничего... А у меня, милый, только убитых

двадцать один,— шепнул он на ухо Масленникову.— Побудьте тут, я сейчас вернусь.

Взяв с собой Петю, Сабуров прошел по нижнему коридору до правого конца здания, вылез через пролом и, прячась между редкими чахлыми деревьями, перебежал к соседнему дому.

Немцы, видимо, заметили его не сразу, и над его головой просвистело лишь несколько одиноких пуль.

Он застал Парфенова в той же комнате, где у телефона сидел лейтенант Григорьев. Парфенов лежал на полу. Под голову у него были подложены две полевых сумки — своя и чужая. Он истекал кровью. Большой осколок мины разорвал ему живот, и, когда вошел Сабуров, Парфенов только понимающе и грустно посмотрел на него и ничего не сказал.

Сабурову жалко было Парфенова, как всегда особенно жалко бывает людей, погибающих в первой схватке. Насколько Сабуров знал, Парфенов был в армии политработником с начала войны, где-то на Западном фронте. Маленький, худенький человек, с простым лицом, ласковыми коричневыми глазами, никогда не умевший приказывать, кричать, повелевать, сейчас так мужественно и спокойно вел себя, так просто, не жалуясь, не говоря ни слова, умирал, что Сабурову невольно захотелось стать поближе к нему и сказать что-то самое хорошее. Он взглянул на страшную, открытую, еще не перевязанную рану Парфенова и невольно подумал, что, если Парфенов не имеет силы поднять с тюфяка голову, чтобы посмотреть на свою рану, так это к лучшему. Сабуров наклонился к Парфенову, сел на корточки, еще ближе нагнулся к его лицу и, поправив на его лбу слипшиеся мокрые волосы, сказал:

— Ну, что, как, а, Парфеныч?

Парфенов, видимо, боялся заговорить, потому что тогда ему пришлось бы разжать зубы, а, если бы ему пришлось разжать зубы, он закричал бы от боли. Он не ответил, только открыл и снова закрыл глаза, будто сказал:

— Ничего...

Сабуров, видя, как он умирает, не то что подумал, а с полной ясностью представил себе, как этот маленький человек только что, не крича, не говоря ни слова, бежал, наверное, впереди всех. Не наверное, а непременно бежал на немцев не сгибаясь, — он не хотел сгибаться, он и так был маленький.

— Ничего, Парфеныч, ничего, — повторял Сабуров бессмысленно ласковые слова и, нагнувшись еще ниже, поцеловал Парфенова в плотно стиснутые губы.

V

После двухчасового затишья с рассветом начался бой, который с тех пор не прекращался четверо суток. Начался он с бомбежки, во время которой Сабурова, уже в пятый раз за эту войну, слегка поцарапало. Бомбежка была долгой и беспощадной. Вместе с «Юнкерсами-88» позицию батальона бомбили и

«Юнкерсы-87», — те самые пикирующие бомбардировщики с воющими бомбами, о которых так много говорили во время немецкого вторжения во Францию. На самом деле никаких воющих бомб не было: просто под плоскостями самолетов были устроены приспособления, которые издавали страшный вой, когда «Юнкерсы» пикировали. В сущности, это была нехитрая выдумка, в принципе повторяющая детские трещотки и пищалки на воздушных змеях. Однако не только Сабуров, которому уже приходилось раньше попадать под бомбежку воющих самолетов, но и большинство его бойцов, которые слышали этот вой в первый раз, мало боялись этих рассчитанных на психологический эффект машин.

— Завыли, — говорили они, поворачивая головы от земли и глядя вверх. — Ишь, завыли...

К удивлению Сабурова, Конюков, так решительно действовавший ночью, просто-напросто перетрусил во время бомбежки и лежал на земле ничком, как убитый, не поднимая головы.

— Конюков, — окликнул Сабуров, подходя к нему. — Конюков!

Конюков опасливо поднял голову, увидел капитана, неожиданно вскочил, схватил его за плечо и повалил рядом с собой.

— Ложитесь! — закричал он не своим голосом.

Сабуров с трудом оторвал его руку от своего плеча и сел рядом с ним.

— Что «ложитесь»?

— Ложитесь, — повторил Конюков, снова пытаясь вцепиться в него и повалить на землю.

И Сабуров понял, что только въевшаяся в плоть и кровь солдатская дисциплина в соединении с привычкой беречь командира заставила смертельно испуганного Конюкова вскочить с земли для того, чтобы заставить его, Сабурова, лечь рядом с собой.

— Что, страшно? — спокойно и понимающе сказал Сабуров, и на эту интонацию Конюков откликнулся так же просто и задушевно:

— Ох, и страшно. Вот напасть...

— Так и будешь лежать все время?

— Как прикажете, товарищ капитан.

— Да что ж прикажу... Лежи, терпи, только зачем время терять... Бомбят — приляг, улетели — поднимись.

— Боязно, товарищ капитан. Вы не думайте, — я обтерплюсь, а то ведь боязно, страшно как-то.

Именно эта искренность убедила Сабурова в том, что Конюков действительно не нынче — завтра обтерпится.

Перед полуднем по телефону позвонил Бабченко.

— Я у тебя не буду, — сказал он, — я в другое хозяйство схожу. К тебе, наверное, хозяин придет, так что смотри...

И он положил трубку.

Хозяином, как водится, в дивизии называли Проценко. «Смотри» означало, что Сабуров должен проявить характер и постараться не пустить хозяина в самые опасные места, куда тот будет лезть.

И в самом деле, вскоре пришел Проценко со своим адъютантом и автоматчиком. После того, как Сабуров отрапортовал ему, он, по обыкновению, спросил:

— Как здоровье, Алексей Иванович? — и протянул левую, здоровую, руку. Правая после ранения у него все еще не работала, и он во время разговора шевелил пальцами, пробуя этим восстановить кровообращение и заменить предписанный врачами массаж.— Добре, добре,— прохаживаясь, говорил он и оценивающим взглядом окидывал потолок. — Пятьсот килограммов придется фрицу, — он говорил «фриц» на «ы», с украинским акцентом, — пятьсот килограммов на тебя придется фрицу потратить, если ты ему не понравишься. А если пятьсот потратить пожалеет, так ничего и не будет.

Он облазил с Сабуровым пулеметные точки, потом подошел с ним вместе к каменной стене, за которой отрыли себе окопы и расположились минометчики. Он недовольно посмотрел на мелкие, небрежно вырытые щели и, обращаясь в пространство, как будто не замечая тут же находившихся минометчиков, сказал:

— Как ты думаешь, Алексей Иванович, кто на войне нас убивает? Ты мне скажешь: немец... А я тебе скажу—не только немец, а, случается, еще и лень.

Он повернулся к минометчикам и спросил сразу ставшего перед ним навытяжку сержанта:

— Ты африканскую птицу страуса знаешь?

— Так точно.

— А чем он на тебя похож, знаешь? Не знаешь. Так он тем на тебя похож, что так же, как и ты, прячется: голову спрячет, а задница наружу, и думает, что весь спрятался. Ложись! — вдруг пронзительным голосом закричал Проценко.

— Что? — не поняв, переспросил сержант.

— Ложись! Вот — мина. Ложись в свой окоп, пока живой...

Сержант с размаху бросился в свой маленький окопчик, в котором, как и предсказал Проценко, он весь не уместился.

— Ну, вот, — сказал Проценко, — голова, правда, цела, а ползадницы отстрелили. Нету. Встать! — опять резко крикнул он.

Сержант встал, смущенно улыбаясь.

— Отдай приказание, — сказал Проценко Сабурову и, повернувшись, пошел дальше.

Сабуров, задержавшись, приказал отрыть глубокие окопы и бросился догонять Проценко.

У каменной стены лежали двое пулеметчиков. Они постарались спрятаться поглубже за стенку и действительно спрятались так глубоко, что дуло их пулемета глядело чуть ли не в небо. Проценко, подойдя, лег за пулемет, проверил прицел и потом, стряхивая с колен каменную пыль, встал.

— Охотник? — спросил он немолодого рябоватого сержанта, первого номера пулемета.

— Да, случалось, товарищ полковник, — настроившись на задушевный разговор с начальством, с готовностью сказал тот.

— Вот я и вижу, что ты охотник, — сказал Проценко. — Уток тут бить собираешься, пулемет в небо уставил... Хорошо уставил, как раз на взлете их бить, — мечтательно и в то же время иронически добавил он. — Жаль только, что немцы все больше по земле ходят, а то бы, ничего не скажешь, хорошо устроился...

И он, повернувшись, все той же неторопливой походкой пошел дальше. Первый номер проводил его смущенным взглядом и набросился на второй номер.

— Я же тебе говорил, куда дуло глядит — в небо... Куда пулемет поставил, а?

— Да вы что ж, — растерянно оправдывался второй номер. — Я же, как вы...

— Мало ли что я. А ты, как второй номер, должен вместе со мной позицию выбирать...

Окончания их спора Сабуров не расслышал. Проценко шел дальше и все пошевеливал пальцами раненой руки, так, словно мысленно барабанил по воздуху какую-то мелодию, говорил, не обращаясь к Сабурову, опять в пространство, что было у него признаком дурного настроения.

— Командир дивизии устанавливает, куда пулемет должен глядеть — в небо или на землю... Очень хорошо. Для этого его в Академии генерального штаба учили... И когда вы у меня краснеть научитесь? — резко повернувшись, крикнул он Сабурову. — Когда я вас краснеть научу?

Сабуров молчал. Полковник был прав, и, даже если бы это позволил устав, возразить было нечего.

— Вот когда у нас командиры дивизии перестанут пулеметы устанавливать и когда вы у меня краснеть научитесь, вот тогда мы выиграем войну, а раньше мы ни за что не выиграем, — так ты и знай...

Только что успели они оба вернуться в штабной подвал, как немцы начали перед атакой артиллерийскую и минометную подготовку.

— В общем зацепился ты ничего, зацепился так, что удержишь, — сказал Проценко, наклонив немного голову набок и прислушиваясь к разрывам. — Удержишься, но людей учить надо... День и ночь надо учить... Потому что если ты его сегодня не научишь, то завтра его убьют, и не просто убьют, — просто убьют — ну, что ж, на то и война, — а задаром убьют, вот что печально. Где у тебя наблюдательный пункт?

— На четвертом этаже, под крышей.

— Ну-ка, слазай, как там... А тут скажи, чтоб мне пока закусить чего-нибудь дали.

Сабуров на ходу шепнул Пете, чтобы тот накормил полковника, и полез на четвертый этаж. Оттуда, из широкого трехстворчатого окна, выходившего на обгорелый балкон, было видно почти все, происходившее впереди. На соседней улице от дома к дому, от палисадника к палисаднику перебегали немцы. Снаряды вздымали столбы земли у самого дома, иные из них с грохотом попадали в стены, и тогда весь дом содрогался, словно его качнуло большой волной.

Сабуров заметил, что больше всего мелькания и суеты у немцев было против правого дома, там, где теперь сидел вместо убитого Парфенова Масленников. Сабуров взбежал по лестнице в подвал и позвонил по телефону сначала Масленникову, а потом Гордиенко, предупреждая их о готовящейся атаке. Оба они ответили, что наблюдают сами и к бою готовы.

Проценко, без крайней нужды не любивший вмешиваться в распоряжения своих подчиненных, сидел в подвале и спокойно грыз черный сухарь, положив на него кусок сухой колбасы. Когда под гул все продолжавшихся минных разрывов началась немецкая атака, Проценко, несмотря на уговоры Сабурова, сам поднялся с ним на наблюдательный пункт. Там они стояли, примерно, час. Сабуров нервничал, ему хотелось увести Проценко куда-нибудь вниз. Когда тяжелый снаряд пробил стену, разорвался в соседней комнате и оттуда через пролом посыпались куски кирпича и штукатурка, он дернул полковника за руку и хотел почти насильно стащить вниз. Но Проценко освободил руку, посмотрел на него и, вместо полагающегося в таких случаях начальнического окрика, сказал только:

— Сколько мы с тобой воюем? Второй год? Так что ж ты меня за руку тянешь... — и, считая разговор законченным, сняв фуражку, стал щелчками аккуратно сбивать с нее известковую пыль.

Когда немцы отступили после первой неудачной атаки и Сабуров с Проценко стали спускаться с наблюдательного пункта вниз, запоздалый снаряд ударил как раз в лестничную клетку на этаж ниже их. Взрывом был начисто выдран целый пролет лестницы; и им пришлось спускаться, цепляясь за вывернутые балки и остатки перил.

— Понимаешь теперь, что нельзя начальство торопить? — сказал Проценко.— Поторопил бы, как раз и подставил бы меня под эту дулю. Тебе что Бабченко говорил: «Хозяин будет, имей в виду...» — вдруг смешно скопировал он Бабченко. — А ты бы меня под дулю подвел. Видишь, как...

Проценко ушел от Сабурова в час затишья, между первой и второй атакой немцев.

— Ничего, бывай здоровенек, — сказал он Сабурову на прощанье. И добавил конфиденциально: — Вот когда научусь совсем хорошо воевать, то в батальоны ходить перестану, пусть командиры полков ходят, а я только до штаба полка ходить стану... Но к тебе по старому знакомству буду заглядывать. Кто вместе под Воронежем был, то все равно что вместе детей крестили. Как к куму заходить буду.

Он повернулся и вышел, как всегда, немножко прихрамывая и барабаня по воздуху пальцами.

Перед вечером немцы еще раз пошли в атаку, но были отбиты. Когда начало темнеть, Петя принес Сабурову котелок вареной картошки.

— Где достал? — удивился Сабуров.

— Здесь, поблизости, — сказал Петя.

— А где же все-таки?

— Да так, поблизости, — скрытничая, повторил Петя.

И когда Сабуров, которому хотелось есть и некогда было объясняться, стал уплетать за обе щеки картошку, Петя стоял над ним в позе заботливой матери.

— А где же ты все-таки ее добыл? — уже сытым, размеренным голосом спросил Сабуров?

На лице Пети изобразилась душевная борьба. С одной стороны, нужно было ответить на вопрос, с другой стороны, ему хотелось удержать перед капитаном в тайне вновь открытую им базу снабжения. Сабуров посмотрел на его каменное лицо и улыбнулся.

Петя отличался храбростью, заботливостью и веселым нравом, — словом, тремя главными качествами, которые можно пожелать в ординарце. До войны он работал агентом по снабжению на одном из московских заводов. Эту работу он полюбил еще во времена первой пятилетки. Достать неведомо как и неведомо где то, чего никто не мог достать,— в этом была для него особая прелесть. Он доставал двутавровые балки в Ялте, виноград в Костроме и строевой лес в Каракумах. Он делал заведомо невозможное, и это его привлекало. Он ничего не искал и не устраивал лично для себя, но для того, чтобы достать нужные материалы заводу, на котором он работал, он был готов почти на все. Его ненавидели конкуренты. его ценили начальники. На войне, попав ординарцем к Сабурову, он, кроме храбрости перед лицом неприятеля, обнаружил неимоверное мужество перед лицом всяческих трудностей военного снабжения. Когда в батальоне нечего было есть, Сабуров отправлял на поиски еды Петю, и Петя всегда что-нибудь находил... Когда нечего было курить, Петя находил и курево. Когда нечего было пить, Петя всегда отыскивал хоть небольшую толику водки так быстро, что Сабуров подозревал, что у него имеется тайный неприкосновенный запас.

У Пети был только один недостаток: хотя он никогда не совершал ничего незаконного, но все свои успехи любил покрывать дымкой таинственности и очень огорчался, когда Сабуров или кто-нибудь другой задавали ему вопросы по этому поводу.

— Так где же ты все-таки достал? — повторил Сабуров, и Петя, чувствуя, что ему не отвертеться, решил признаться.

— Здесь, — сказал он. — Там во дворе флигелек, под флигельком подвал, а в этом подвале гражданка...

— Какая гражданка? — поднял брови Сабуров.

— Сталинградская гражданка, здесь и жила во флигельке. Муж убитый. С троими детьми в подвал залезла и сидит... У нее там всего—картошки, морковки и прочего... чтоб с голоду не помереть. И даже коза у нее в подвале, только, говорит, от темноты доиться перестала. Я говорю: «Командир мой картошку уважает». Она без звука котелок наварила, говорит: «Когда нужно, пожалуйста» и даже соль дала... Вот вы ж не замечаете, а между прочим с салом картошку кушаете, — с огорчением добавил Петя.

Сабуров, удивленный тем, что среди этих развалин вдруг

оказалась женщина с детьми, быстро поднялся, нахлобучил фуражку и сказал Пете:

— Веди, где она?

Они пошли коридорами, пригнувшись, пробежали простреливаемое место до флигелька, и там действительно, среди развалившихся стен, Сабуров увидел обложенное камнями и досками подобие двери. По самодельной лестнице из нескольких ступенек они спустились вниз. Это был большой подвал, видимо, во время войны еще расширенный. Поставленная на прикрытую досками бочку, в углу горела коптилка.

Около бочки на корточках сидела еще не старая, с измученным лицом женщина и укачивала ребенка. Две девочки, на вид лет восьми и десяти, сидели рядом с ней и большими, остановившимися от любопытства круглыми глазами смотрели на вошедших.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — сказала женщина.

— Почему вы здесь остались? — спросил Сабуров.

— А куда же нам итти?

— Да ведь здесь были немцы?

— А мы сверху завалились всем, — спокойно сказала женщина, — так, что и не видно.

— Завалились... Так задохнуться можно было.

— А все равно, если немцы.

— Сегодня уже поздно, — сказал Сабуров. — Завтра я подумаю, как вас отправить отсюда.

— А я и не пойду.

— Как не пойдете?

— Не пойду, — упрямо повторила она. — Куда я пойду?

— На ту сторону, за Волгу.

— Не пойду. С ними? — указала женщина рукой на детей. — Одна бы пошла, с ними не пойду. Сама жива буду, а их поморю, помрут там за Волгой. Помрут, — убежденно повторила женщина.

— А здесь?

— Не знаю. Вот я снесла все, что было, сюда. Может, на месяц, может, на два хватит, а там, может, вы немцев отобьете. А если итти — так помрут.

— Ну, а вдруг бомба или снаряд, об этом вы подумали? — сказал Сабуров, уже не пытаясь ее убедить, но все еще будучи не в состоянии примириться с мыслью, что здесь, рядом с его солдатами, продолжает жить женщина с тремя детьми.

— Что ж, — спокойно сказала женщина, — попадет, так уж всех сразу, — и меня, и их, один конец с ними вместе.

Сабуров не знал, что ей сказать. Наступило долгое молчание.

— А если что сготовить, так я сготовлю, кушайте. У меня картошки много... Пусть он скажет, если надо, — кивнула она на Петю. — Я и щи сварю, только без мяса. А то козу зарежу, — после паузы добавила она. — Зарежу, тогда можно и с мясом.

Она почувствовала по глазам Сабурова, что он понял ее и не будет больше настаивать, чтобы она ушла, и если она сейчас говорила о том, что сготовит и сварит, то не ради того,

чтобы ее оставили здесь и не трогали, а просто по той исконной русской бабьей жалости ей казалось, что вот эти солдаты, — в чинах она не разбиралась, — небось, немытые, не штопанные, не сытые и когда-то они еще в свой дом придут. Надо им сготовить, покуда они здесь, хотя бы щей, а уж коли щи варить, то и козу не жалко зарезать, — на что она теперь, коза? Все равно не доится.

Сабуров вышел на воздух и, посмотрев на развалины, еще раз подумал, так же, как тогда, в Эльтоне: «Куда загнали, а?» Впереди, насколько хватал глаз, были немцы. Он оглянулся на свой изрешеченный, избитый осколками дом.

«А вот это мы...»

И он спокойно подумал, что никуда не уйдет из этого дома.

Ночь прошла в беспрерывной перестрелке.

С рассветом немцы пошли в третью атаку. Им не удалось продвинуться прямо против домов, которые занимал Сабуров, но справа и слева от него они прорвались по окраинам площади. В девять часов утра он услышал по телефону, как всегда, глуховатый, ворчливый голос Бабченко:

— Ну, как там, держишься?

— Держусь.

— Держись, держись. Я скоро к тебе сам приду.

Эти слова были последними, что он слышал по телефону, Через минуту связь оборвалась, и хотя он не любил ни самого Бабченко, ни его ворчливый голос, но все следующие трое суток, когда не было никакой связи ни с кем, — он все вспоминал и вспоминал эти слова, и они помогали ему верить, что он не один, что еще будет и телефон, и Бабченко, и дивизия, и все вообще.

Связь была оборвана. Бабченко, конечно, к нему не дошел, немцы заняли сзади всю площадь и дома кругом нее, и Сабуров вместе со всем батальоном попал в обстановку, которая в бесконечно разнообразных ее видах на войне называется общим словом «окружение». Ему предстояло сидеть здесь, не пускать сюда немцев и ждать — либо того, что к нему прорвутся и помогут, либо того, что у них выйдут последние мины и последние патроны и им останется умереть. И хотя иногда он сам склонен был думать, что случится второе и что мины и патроны у них кончатся раньше, чем придут на помощь свои, но всем, кто был вокруг него, — и командирам, и бойцам, — он старался внушить обратное. И так как они знали только то, сколько у них у самих патронов в подсумке и мин в ящике, им казалось, что у него, у капитана, есть еще запас. А он знал, что этого запаса нет и не будет. И от этого ему было труднее, чем всем остальным.

Он учил стрелять наверняка, только наверняка. Он отобрал патроны у большинства бойцов, скопив их только у отличных стрелков. У остальных он оставил лишь гранаты, на случай боя с прорвавшимися немцами уже в самом доме. До этого за трое суток дошло только дважды, — немцев удалось отрезать оба раза. У стены, на дворе, прямо перед выбитыми окнами дома, лежали в разных позах мертвые нем-

цы. Их никто не убирал — не было ни времени, ни сил, ни желания...

На третий день в подвале, где расположился Сабуров, разорвался пробивший стену снаряд. По странной случайности никого не убило: Петя вышел, а Сабуров, который на минуту прилег на койку, от удара только свалился с нее и, поднявшись, заметил, что вся стена над его головой была словно в кровавых пятнах,— это отбитая в сотне мест штукатурка обнажила кирпичи.

Пришлось перебраться в чудом сохранившуюся квартиру первого этажа, куда еще два дня назад просил его перебраться Петя. То, что квартира сохранилась среди общего разгрома, внушало суеверную мысль, что, быть может, в нее так и не попадет ни один снаряд.

На четвертый день, когда все тряслось и дрожало от артиллерийской канонады, в комнату тихо вошла женщина и поставила на стол глиняную миску.

— Вот щи сварила, попробуйте,— сказала женщина.

— Спасибо.

— Если понравятся, еще принесу.

Сабуров посмотрел на нее и ничего не ответил. Все это было странно, почти невероятно,— блиндаж с тремя детьми, женщина, сварившая щи... И в то же время было в этом неимоверное спокойствие, то самое, с которым бронебойщик, берясь за свое противотанковое ружье, вместо того чтобы бросить и примять сапогом цыгарку, кладет ее в окопе на земляную полочку, с тем чтобы докурить ее потом, когда кончится...Что-то такое же было и в этой женщине, в том, как она пришла...

— Спасибо, спасибо,— повторил Сабуров, видя, что она продолжает молча стоять, и, вдруг поняв, чего она ждет, вытащил из-за голенища ложку.

— Хорошие щи, вкусные,— сказал он,— очень вкусные... Вы идите, а то сейчас опять стрелять начнут.

Ночью, воспользовавшись темнотой, к Сабурову добрался Масленников, и Сабуров с трудом узнал его — таким он был небритым и вдруг странно повзрослевшим. Глядя на Масленникова, Сабуров подумал, что, наверное, он и сам переменился за эти дни. Он очень устал, не столько от постоянного чувства опасности, сколько от той ответственности, которая легла на его плечи. Он не знал, что было южнее и что севернее, хотя, судя по канонаде, кругом повсюду шел бой,— но одно он твердо знал и еще тверже чувствовал: эти три дома, разломанные окна, разбитые квартиры, он, его солдаты, убитые и живые, женщина с тремя детьми в подвале,— все это, вместе взятое, была Россия, и он, Сабуров, защищал ее. Если он умрет или сдастся, то этот кусочек перестанет быть Россией и станет немецкой землей, а этого он не мог себе представить.

Всю четвертую, последнюю, ночь слева и справа гремела отчаянная канонада. На двор и прямо в дома залетали снаряды, очевидно, и немецкие и наши, и к утру наши, пожалуй, даже чаще, чем немецкие. Сабуров сначала не верил,

потом верил, потом опять не верил и только уже к рассвету подумал, что иначе не может быть и что к нему пробиваются свои...

С рассветом во двор левого крайнего дома ворвались наши автоматчики, потные, грязные, яростные. Они гнались за немцами, им казалось, что и здесь тоже немцы. Было трудно, почти невозможно удержать их и не дать им бежать дальше по этим коридорам и подвалам дома в поисках немцев.

Одним из первых, кого увидел и обнял Сабуров, был Бабченко, такой нелюбимый, грубый и придирчивый, такой усталый, обросший, милый, долгожданный Бабченко, с повешенным на шею автоматом, с руками и коленками, измазанными в грязи и известке.

— Я ж тебе говорил по телефону, что скоро приду,— сказал, почти крикнул Бабченко, стараясь поскорее скрыть вдруг появившееся у него необычайное и неподобающее при разговоре между начальником и подчиненным волнение.

Все еще непривычно улыбаясь, Бабченко два раза пересек комнату, потом, стукнув автоматом, сел за стол, привалясь к нему, и, наконец, с трудом придав своему лицу обычное скучное и недовольное выражение, спросил прежним, своим тоном:

— Сколько потерь?

— Пятьдесят три убитых, сто сорок пять раненых,— сказал Сабуров.

— Не бережешь людей,— сказал Бабченко,— не бережешь, мало бережешь. А так ничего, держался хорошо. Скажи, чтобы мне воды дали.

Сабуров повернулся к Пете и сказал насчет воды, но когда он обернулся снова, то оказалось, что вода подполковнику уже больше не нужна: привалившись на край стола и уронив голову на неловко торчавший из-под руки диск автомата, он спал. Наверное, он не спал все эти дни, так же, как и Сабуров. Сабуров подумал об этом и вдруг, вспомнив о себе и обо всех этих четырех днях, неожиданно почувствовал ломившую кости усталость. Чтобы не свалиться у стола, так же как Бабченко, он встал, прислонившись к стене, и с трудом вытащил из кармана свои большие часы. На них было 9.15 — прошло ровно четверо суток и семь часов с тех пор, как он, подсаженный Петей через проломанное окно, вслед за брошенной гранатой, вскочил в этот дом.

VI

К тем четырем суткам боев, которые Сабуров отсчитал в счастливую минуту соединения с Бабченко, с удивительной быстротой присоединились еще четверо суток, наполненные визгом пикировщиков, глухими ударами снарядов и сухой автоматной трескотней немецких контратак. Только на девятые сутки наступило какое-то подобие затишья.

Сабуров лег вскоре после наступления темноты, но через три часа его разбудил звонок. Бабченко, не любивший, чтобы

подчиненные спали тогда, когда он сам не спит, потребовал у дежурного, чтобы тот разбудил Сабурова.

Сабуров встал с дивана и подошел к телефону.

— Спите? — глухим, далеким голосом сказал в телефон Бабченко.

— Да.

— Спите, а у вас все в порядке?

— Все в порядке,— сказал Сабуров, чувствуя, что с каждой секундой этого злившего его разговора с него все больше соскакивает сон.

— Меры на случай ночной атаки приняли?

— Принял.

— Ну, тогда спите.

И Бабченко положил трубку.

По тому, как Сабуров вздохнул, Масленников, тоже проснувшийся и сидевший на кровати против него, мог примерно представить и то, какого содержания был разговор, и то, что капитан разозлился больше, чем обычно.

— Подполковник? — спросил Масленников

Сабуров молча кивнул и попробовал снова лечь и заснуть. Но, как это часто бывает в дни особенной усталости, сон уже не возвращался. Полежав несколько минут, Сабуров спустил босые ноги на пол, закурил и впервые внимательно оглядел комнату, в которой уже несколько дней помещался его штаб.

На клеенке, покрывавшей стол, остались два свежепрожженных круга — один побольше, очевидно, от сковородки, другой поменьше — от кофейника. Вероятно, хозяин квартиры уехал отсюда, предварительно отправив семью, и последние несколько дней вел непривычный для себя холостяцкий образ жизни. У шкафа воздушной волной были выбиты стеклянные дверцы, и он ничего не мог сказать о хозяевах, потому что из него все было вынуто. Зато на письменном столе были многочисленные следы жизни всей семьи. Спицы с начатым вязаньем, кипа технических журналов, несколько растрепанных томиков Чехова, старые, замусоленные учебники третьего класса и аккуратная стопка новых учебников четвертого... Потом Сабурову попались на глаза детские тетрадки по русскому языку. Он с профессиональным любопытством человека, который когда-то готовил себя к педагогической карьере, стал перелистывать эти тетрадки. На первой странице одной из них начиналось сочинение: «Как мы были на мельнице». «Вчера мы были на мельнице. Мы смотрели, как мелют муку...» В слове «мелют» «ю» было зачеркнуто, поставлено «я», снова зачеркнуто и восстановлено «ю». «Сначала зерно везут на элеватор, потом с элеватора транспортер везет его на мельницу, потом...»

Закрыв тетрадку, Сабуров вспомнил, как еще с левого берега Волги он видел огромный пылавший элеватор, может быть, тот самый, о котором прочел он в этой ученической тетрадке.

Масленников, сидевший напротив, свесив ноги, в той же позе, что и Сабуров, тоже дотянулся до тетрадок, медленно перелистал их и вдруг заговорил о своем детстве. В разговорах

с Сабуровым, со времени их знакомства, он возвращался к этой теме несколько раз, и сейчас Сабуров почувствовал, что Масленников не столько хочет ему рассказать о своем детстве, сколько хочет наконец вызвать его самого на разговор о прошлом.

Сабуров не принадлежал к числу людей, молчавших от угрюмости или из принципа; он просто мало говорил, и потому, что почти всегда был занят службой, и потому, что любил, думая, оставаться со своими мыслями наедине, и еще потому, что, попав в компанию, предпочитал всегда слушать других, в глубине души считая, что еще мало сделал и почти ничего не достиг и что повесть его жизни для других не представляет особого интереса.

Так и сейчас он предпочитал молча слушать Масленникова, то вдумываясь в его слова, то отдаваясь собственным мыслям, и неторопливо, внимательно перебирал лежащие на столе вещи.

Второй ребенок в квартире, очевидно, был совсем маленький. На столе валялось несколько листков, вырванных из тетрадки, исчерченных красным и синим карандашом. На рисунках были изображены кособокие дома, горящие фашистские танки, падающие с черным дымом фашистские самолеты, и надо всем маленький, нарисованный красным карандашом, наш истребитель. Это было исконное детское представление о войне,— мы только стреляли, а фашисты только взрывались.

Впрочем, как ни горько было вспоминать ошибки прошлого, Сабуров невольно подумал, что перед войной слишком многие были недалеки от такого именно представления о ней.

Война... Последнее время он, вспоминая свою жизнь, невольно приводил ее всю к этому единственному знаменателю и задним числом делил свои довоенные жизненные поступки на плохие и хорошие не вообще, а применительно к войне. Одни житейские привычки и склонности сейчас, когда он воевал, мешали ему, другие — помогали. Вторых было больше, должно быть, потому, что люди, подобно ему начавшие самостоятельную жизнь в годы первой пятилетки, прошли такую тяжелую школу жизни, полную самоотверженности и самоограничений, что война, если исключить постоянную возможность смерти, не могла поразить их своими повседневными тяготами.

Сабуров был вполне человеком своего поколения. Так же, как его сверстники, он начал работать мальчишкой, метался со строительства на строительство, несколько раз принимался учиться и опять, сначала по комсомольским, а потом по партийным мобилизациям, не доучившись, уезжал работать. Когда подошел его срок, он два года прослужил на действительной в армии, приехал оттуда младшим лейтенантом и, возвратясь к своей профессии строительного прораба, снова стал дневать и ночевать в котлованах и на лесах Магнитогорска.

Годы пятилеток увлекли его, как и многих других, своей строительной горячкой и, спутав все карты, толкнули совсем

не на ту профессию, о которой он мечтал с детства. И все-таки, как и многие другие, он в конце концов нашел в себе силы отказаться от привычной работы, заработка, быта и уже далеко не мальчиком сменить все это на студенческую скамью, койку в общежитии и сторублевую стипендию.

За год до войны он приехал в Москву и поступил на исторический факультет. Двадцать первого июня 1941 года с неожиданным для окружающих блеском он сдал свои первые университетские экзамены, а утром следующего дня услышал речь Молотова. Случилось то, чего все ждали и во что где-то в глубине души все-таки до конца не верили. Началась война, которая через год и три месяца привела его, человека, когда-то хотевшего стать учителем истории, три раза выходившего из окружения, два раза награжденного и пять раз раненного и контуженного,— сюда, в Сталинград. Привела в эту комнату, которая, быть может, и могла бы на минуту напомнить ему о мире, если бы на украшенной домашними вышивками плюшевой спинке дивана не поблескивал так назойливо повешенный наискось автомат.

Было далеко за полночь. Сабуров, рассеянно слушавший рассказы Масленникова о его жизни и невольно вспоминавший тем временем свою, медленно свернул папироску, аккуратно вложил в мундштук и закурил. Масленников, замолкнув, неподвижно сидел против него. Так они сидели оба и молчали, может быть, пять, может быть, десять минут. Потом Масленников опять заговорил, на этот раз о любви. Сначала он с мальчишеской серьезностью рассказывал о своих школьных увлечениях, потом заговорил о любви вообще и кончил тем, что неожиданно спросил у Сабурова:

— Ну, а у вас любовь?

— Что, любовь?

— Любви, разве у вас не было ее?

— Любви? — Сабуров задумался, затянулся и закрыл глаза. Любви... разве в самом деле ее не было в его жизни?..

Он вспомнил двух или трех женщин, которые мимоходом прошли через его жизнь, так же, как, очевидно, он прошел мимоходом через их жизнь. В этом отношении они, наверное, были квиты: он ни в ком не разочаровался и никого не обидел. Может быть, это было нехорошо, кто знает. Пожалуй, скорее всего, это выходило так — легко и коротко — не потому, что ему не хотелось любви, а именно потому, что слишком хотелось ее. И те, с кем выпало ему встретиться, и то, как это вышло, было так не похоже на любовь, как он ее представлял себе, что он и не старался сделать это похожим на нее. Впрочем, во всех этих подробностях можно было признаться только самому себе, и когда Масленников, после долгого молчания, переспросил: «Неужели не было любви?» — он сказал: «Не знаю, не знаю, должно быть, не было...»

Он встал с дивана и несколько раз пересек комнату.

«Нет, не может быть, чтобы ее не было,— подумал он,— вернее, может быть, что ее не было, но не может быть, что ее не будет».

И вдруг вспомнил слова девушки там, на пароходе, о том,

что она больше боится смерти оттого, что у нее не было любви, а он не должен бояться, потому что он взрослый и у него, наверное, уже все было.

«Нет, не все,— подумал он.— Не все. Боже мой, как много и как мало все-таки всего было и как, наверное, скучно и невозможно жить человеку, которому хоть на минуту покажется, что у него уже все было...»

Он еще раз пересек комнату и, подойдя вплотную к Масленникову, положил руку на его плечо.

— Слушай, Миша,— сказал он, не столько собираясь ответить ему, сколько отвечая своим собственным мыслям.— Слушай, Миша. Нам с тобой никак нельзя умирать. Ну, никак, просто никак...

— Почему?

— Не знаю. Знаю только, что нельзя.

Вошедший связной сказал только одно слово: «Атакуют». Сабуров сел на диван и наспех подвернул портянки, наспех натянул сапоги и, сразу же, привычным жестом попадая в рукава, надел поверх гимнастерки шинель.

— Вот поспать и не успели,— сказал он Масленникову, застегивая ремень.

И Масленников почувствовал в словах капитана грустную и добрую иронию над всем, что только что с таким волнением вспоминалось и что все-таки так мало значило сейчас перед одним коротким, но сразу заполнившим их жизнь словом: «атакуют»...

VII

Уже близилось утро. Сабуров, вернувшийся к себе вскоре после того, как известие о немецкой атаке на этот раз оказалось ложной тревогой, так и не лег. Было пять часов утра — самый тихий час суток. Сабуров подошел к выломанной и занавешенной плащ-палаткой двери в коридор. Он хотел позвать Петю, чтобы тот приготовил чего-нибудь поесть. Откинув плащ-палатку, он остановился. Не замечая его, Петя, дежурный и двое связных сидели рядом на полу и разговаривали.

— Ты меня спрашиваешь, когда эта война кончится? — говорил Петя тем доброжелательным и в то же время поучительным тоном, которым он, считая себя человеком всезнающим, обычно разговаривал с людьми.— Откуда же я тебе могу сказать? Не знаю, когда кончится. Как немца добьем, так и кончится, а когда добьем — не знаю...

— Ох, и далеко ж их гнать...— сказал молодой связной, пуская дым колечками и глядя на потолок.— Далеко,— добавил он с выражением полной уверенности, что это именно так и будет. Видимо, его огорчало только расстояние до границы.

Не желая, чтобы бойцы знали, что он невольно подслушал их разговор, Сабуров тихо опустил плащ-палатку, вернулся, сел за стол и громко крикнул Петю. Петя немедленно появился в дверях.

— Что-нибудь позавтракать сообрази.

— Есть сообразить,— сказал Петя, и за плащ-палаткой стало слышно, как он возится, погромыхивая котелками и консервными банками.

— Как раненые у нас, все наконец вывезены? — спросил после молчания Сабуров у Масленникова.

— Вечером оставалось еще восемнадцать человек,— сказал Масленников.— Бомбежка — не осколком, так камнем, не камнем, так стеклом.

— Да, в открытом поле лучше,— согласился Сабуров.

Он досадливо поморщился, и на его лице появилось вдруг то злое выражение, какое появлялось у него, когда он вспоминал о чем-то, давно ему известном, но тем не менее досадном.

— А ведь, между прочим, вокруг Сталинграда обвод был,— сказал он.

— Я знаю, мне говорили...

— Там километрах в пятнадцати от города и рвов накопано, и окопов, и дзотов, и бетонных колпаков наставлено. Масса народу, говорят, день и ночь работали, а драться там так и не дрались.

— А почему?

— Если бы ты знал, Миша,— с грустью сказал Сабуров,— сколько я за год войны видел зря нарытых окопов и рвов. Миллионы кубометров земли от самой границы и до сих пор зря вырыты. А почему? Потому что часто выроем позади себя линию, а войска не сажаем туда заранее, ни орудий не ставим, ни пулеметов — ничего. Ждем по старинке, думаем, отойдем и займем, а немцы — раз, — и обошли, и раньше нас там оказались... А окоп без человека — мертвое дело... Так и идут эти укрепления сплошь и рядом коту под хвост. А мы потом дойдем до города, упремся в него спиной, выроем новые окопы не за три месяца, а за три дня, как попало, и в них деремся до конца, до смерти. Тяжело и обидно... Да, так, значит, восемнадцать раненых к вечеру осталось, — вернулся он к первоначальной теме разговора. — Ну-ка, справься, как их теперь, уже вывезли или нет.

Масленников вышел. Сабуров достал нож и поправил им фитиль в самодельной лампе «катюше». Лампа представляла собой гильзу от 76-миллиметрового снаряда, наверху она была сплюснута, внутрь был просунут фитиль, а немножко выше середины была прорезана дырка, заткнутая пробкой,— через нее заливали керосин или, за неимением его, бензин с солью.

Поправив фитиль, Сабуров несколько раз лениво ткнул вилкой в только что принесенную Петей сковородку с поджаренными мясными консервами. Есть не хотелось. С чего бы это? Впрочем, может оттого, что всего шестой час утра,— в сущности говоря, не обеденное время. Часы путались. Сабурову захотелось выйти на воздух. Он уже накинул на плечи шинель, когда вернулся Масленников.

— Всех за ночь вывезли. А знаете, кто за ранеными приехал? — сказал Масленников.— Та девушка, которую мы из воды вытащили, она приехала.

— Ну? — сказал Сабуров.

— Она их, оказывается, все время вывозила, только я ее

не видел. Я ее сюда привел. Пусть отдохнет, посидит,— тихо добавил Масленников.

— Пусть, конечно, конечно,— неожиданно вспомнив о том, что он здесь хозяин и что среди прочих обязанностей у него есть еще и обязанность гостеприимства, заторопившись, сказал Сабуров.

Масленников вышел в коридор и громко крикнул:

— Аня! Аня, где вы?

Девушка вошла и робко остановилась на пороге. Сабурову показалось, что она за эти восемь дней как будто еще похудела и стала совсем тоненькой.

— Садитесь, садитесь,— засуетился Сабуров.

Он старался быть гостеприимным, но делал все особенно неловко. Вместо того чтобы просто подвинуть табуретку, он поднял ее и опустил на пол с таким треском, что девушка невольно вздрогнула.

— Как вы живете? — ни к селу, ни к городу спросил Сабуров.

— Ничего,— сказала девушка и, улыбнувшись, села.— А вы?

— Тоже ничего.

— Что ничего? Прекрасно,— бодро подхватил Масленников.— Прекрасно живем. Вот видите, как у нас... — он гордо развел руками, как будто все окружающее действительно свидетельствовало об их прекрасной и комфортабельной жизни.

— Значит, это вы у нас вывозили раненых? — спросил Сабуров.

— Первый день не я,— сказала девушка,— а эти три дня я...

— Всего сто восемь человек вывезено?

— Да. С теми, что в первый день. А я — девяносто.

— Никого на переправе не выкупали?

— Нет,— и она улыбнулась, очевидно, при воспоминании о том, как выкупалась сама,— никого... Только вечером с самолета нас обстреляли на плоту. Четверых убили.

— Моих?

— Ваших.

— Вы тогда так исчезли...

— Да, я забыла вас поблагодарить.

— Я не к тому.

— Я знаю. Ну, все равно, спасибо.

— Вы когда обратно? — спросил Сабуров.

— Придется до вечера ждать. Я опоздала, сейчас уже светло.

— Да, когда светло, от нас в тыл не проберешься, это верно. Ничего, вы отдохните тут.

— Да, я сейчас пойду отдохну, там мои санитары уже легли, они две ночи не спали,— сказала девушка, приподнимаясь.

— Нет, куда вы, куда вы? Вы тут отдохните. Мы сейчас уйдем с лейтенантом, а вы лягте тут и отдохните.

— А я вам не помешаю?

По тому, как это было сказано, Сабуров почувствовал, что она безумно устала и что койка, на которую она могла лечь и укрыться одеялом, представлялась ей почти чудом.

— Нет, что вы,— сказал он.
— Тогда хорошо, я отдохну,— просто сказала девушка.
— Только вы сначала покушайте.
— Хорошо, спасибо.
— Петя,— крикнул Сабуров,— принеси что-нибудь покушать.
— Так вот же,— сказал, появляясь, Петя,— стоит у вас, товарищ капитан, сковородка.
— Ах, верно...— Сабуров пододвинул сковородку девушке.
— А вы?
— Мы тоже.
Сабуров отвинтил пробку лежавшей на столе немецкой фляги и налил себе и Масленникову в снарядные головки, или, как их называли между собой, «фугасники». Они последнее время все чаще заменяли стопки и стаканы.
— Вы пьете? — спросил он.
— Когда устану, пью,— сказала она,— только половину...
Он налил ей, и она выпила вместе с ними, спокойно, не морщась, так, как послушный ребенок пьет лекарство.
— А вы песни не поете? — ни с того, ни с сего спросил Масленников.
— Пела когда-то немножко под гитару.
— А гитара, наверное, дома у кровати висит и непременно с бантом,— не унимался Масленников.
— С бантом,— сказала девушка.— Только теперь ее нет... Я ведь здешняя,— добавила она.
Это слово «здешняя» было понятно всем троим в одном, определенном смысле: раз здешняя, значит, все сгорело и ничего больше нет...
— Ну, не перестали еще бояться? Помните наш разговор?
— А я никогда не перестану,— сказала она.— Я ведь вам сказала, почему я боюсь, так отчего же я могу перестать? Я не перестану... Я думала, что уже вас не встречу,— помолчав, добавила она.
— А я, наоборот,— сказал Сабуров,— был уверен, что вас встречу когда-нибудь.
— Почему?
— Я замечал, как-то так выходит, что на войне редко встречаешься с людьми по одному разу. Вы где жили, далеко отсюда?
— Нет, недалеко. Если по этой улице итти направо, то третий квартал...
— Значит, теперь уже у немцев?
— Да.
— Аня. Аня...— вдруг припоминая, сказал Сабуров.— А вы знаете, Аня, я вас сейчас, может быть, совсем удивлю. А, впрочем, не знаю, может быть, и нет.
Он еще не был уверен, удивит ли ее в самом деле, но ему почему-то показалось, что если случилось одно совпадение и именно эта девушка, которую он вытащил из воды, вывозит теперь от него раненых, то почему бы не случиться и другому совпадению.
— Чем удивите?

— Ваша фамилия Клименко? — спросил Сабуров.
— Да.
— Наверное, удивлю и даже обрадую. Я видел вашу мать.
— Маму? Где?
— На том берегу, в Эльтоне,— сказал Сабуров.— И отец ваш где-то здесь в городе, да?
— Да,— сказала Аня.
— Я видел вашу мать в Эльтоне девять дней назад, как раз в то утро, когда мы вместе с вами Волгу переплывали. Только тогда я не знал вашего имени и потому не сказал.
— Что она, что с ней? — торопливо спросила Аня.
— Ничего, она пришла пешком в Эльтон, и я с ней разговаривал. Она сказала, что ее разлучила с вами бомбежка.
— Да, она была дома, а я нет. Как она?
— Хорошо,— солгал Сабуров.— Дошла до Эльтона.
— Где вы ее видели? Как узнать, где она?
— Не знаю. Я ее видел в Эльтоне, просто на крыльце дома. По-моему, она в тот день только что пришла туда.
— Ну, какая она, какая? — расспрашивала Аня.— Очень замученная?
— Немножко...
— Главное, что живая.
— Вот и она мне о вас так же сказала: «Главное, чтобы живая»,— улыбнулся Сабуров.
— Это в самом деле сейчас главное.

Девушка положила руки на стол и опустила на них голову. Ей хотелось еще и еще расспрашивать Сабурова о матери, но что еще мог добавить он, видевший ее мать каких-нибудь две минуты.

— Вы ложитесь,— сказал Сабуров.— Ложитесь на мой диван. Я сейчас ухожу и до вечера не буду. Я вас разбужу, когда вам надо будет итти.
— Я сама проснусь,— уверенно сказала она. Потом, подойдя к дивану, села на него и, по-детски раскачавшись на пружинах, с удивлением заметила: — Ой, мягко, я давно на таком не спала.
— У нас тут еще не то будет,— сказал Масленников.— Я еще два кожаных кресла приглядел среди развалин, немножко починить и будет, как в салон-вагоне.
— А гитары среди ваших развалин нет?
— Нет.
— Жаль. Я бы вам сыграла.
— Ничего, вы же к нам не последний раз...
— Наверное, не последний.
— Так я еще найду гитару. Разрешите итти в первую роту? — сказал Масленников, старательно, более, чем обычно, вытягиваясь перед Сабуровым.
— Идите,— сказал Сабуров.— Я тоже скоро к вам приду.
Масленников вышел.
— Он кто у вас? — спросила девушка.
— Начальник штаба.
— Он у вас тоже хороший.
— Почему тоже?

— Тоже, как вы,— сказала она.— То есть не совсем, как вы, он, как я, то есть, я не то,— не хороший, как я... а я...— Она запуталась, смутилась, потом улыбнулась.— Я хочу сказать, что он, как я, тоже еще молодой совсем, а вы уже взрослый,— вот что я хотела сказать.

— Вы уже меня вовсе в старики записали,— покачал головой Сабуров.

— Нет, почему в старики? — серьезно сказала она.— Я просто вижу, что вы взрослый, а мы еще нет. Вы уже, наверное, много пережили в жизни, ведь верно?

— Не знаю, может быть... Пожалуй, да...— нерешительно согласился Сабуров.

— А я — нет. Мне даже и вспоминать почти нечего. Только иногда Сталинград вспоминаю, какой он был. Вы никогда раньше не бывали в нем?

— Нет.

— Он был очень красивый. Я знаю,— наверное, Москва красивее, но мне почему-то всегда казалось, что он самый красивый. Может, оттого, что я тут родилась. Очень жалко,— вдруг с силой сказала она,— очень жалко... Так жалко, вы представить себе не можете. Мама не плакала, когда с вами говорила?

— Нет.

— Она, знаете, какая... Она, если что-нибудь, пустяк какой-нибудь,— тарелку разобьет,— заплачет, а когда что-нибудь в самом деле страшное стрясется, она не плачет, молчит, даже ничего не говорит.

— А как ваш отец?

— Не знаю. Он на ту сторону не ушел. Он мне сказал: «Я не уйду из Сталинграда». Он и не ушел, я знаю. Они оба у меня хорошие. Когда я домой пришла и сказала, что в армию ухожу, а у нас только три дня как Миша — старший брат — погиб, я думала, что они спорить будут... Я все равно бы пошла, но я боялась все-таки, что с ними спорить придется. А они ничего, сказали: «Иди». И все... Хорошо, все понимают,— добавила она с той неожиданной непосредственностью, которая показывала, что у нее до сих пор сохранилось детское представление о родителях, по которому они всегда ничего не понимают в делах, а если что-то понимают, то это очень удивительно и отрадно.

— Хорошо, что я вас увидела сегодня, а то я ваших раненых вывозила, они в разговоре все говорят: Сабуров, Сабуров, а я не знала, что Сабуров — это вы, а мне вас хотелось увидеть, поблагодарить. Мы тогда с вами ехали на пароходе, я вам разные вещи говорила, у меня тогда такое настроение было все рассказать, и мне потом казалось, что, если я вас вдруг еще увижу, мне опять захочется вам рассказать.

— Что?

— Не знаю, что... все, вообще... Вот не попали бы вы сюда к нам, в Сталинград, мы бы с вами никогда не увидались.

— Почему? Вы же хотели учиться?

— Да.

— Поехали бы в Москву?

— Да.

— Поступили бы учиться в университет, а я бы там как раз преподавателем был.

— Вы разве до войны преподавали?

— Нет, учился, но должен был преподавать.

— Вот бы не подумала. Мне казалось, что вы всю жизнь в армии..

Как всякому человеку, пришедшему из запаса и ставшему командиром, Сабурову была приятна эта ошибка.

— Почему вы так подумали? — спросил он с интересом.

— Так. Вы такой военный, как будто всегда в армии были,— такой у вас вид...— и она, прикрыв рот рукой, зевнула.

— Ложитесь,— сказал он,— спите.

Она потянулась и легла. Сабуров снял с гвоздя свою шинель и укрыл девушку.

— А вы в чем пойдете? — спросила она.

— Я днем без шинели хожу.

— Неправда.

— Нет, правда, я всегда правду говорю. Так и запомните на будущее знакомство.

— Хорошо,— сказала она.— Сколько вам лет?

— Двадцать девять.

— Правда?

— Я же сказал вам.

— Ну да, ну да, я знаю,— с недоверием посмотрела она на него,— конечно, правда, но только не похоже. Может, и правда, что вам двадцать девять, но вам все-таки больше...

Она закрыла глаза, потом снова открыла их.

— Я, знаете, так устала, ужасно устала... я так все ходила, ходила последние два дня, а сама думаю, вот бы лечь и заснуть...

— Вот и спите.

— Сейчас... У вас дети есть?

— Нет.

— И жены нет?

— Нет.

— Правда?

Сабуров рассмеялся.

— Мы же договорились.

— Нет, я вам верю,— сказала она.— Это я потому, что когда на фронте с нами, с девушками, болтают, то все как будто сговорились — уверяют, что у них жен нет, и смеются... Вот и вы смеетесь, видите...

— Я смеюсь, но это все-таки правда.

— А чего же вы смеетесь?

— Вы смешно спросили.

— Почему смешно? Мне интересно, вот я и спросила,— сказала она совсем сонным голосом и закрыла глаза.

Сабуров с минуту постоял, глядя на нее, потом подсел к столу, пошарил по карманам — кисет с табаком куда-то запропастился. Он полез в полевую сумку. Там, между карт и блокнотов, к его удивлению, оказалась смятая папиросная

коробка, та самая, из которой он вынул три папиросы — себе, Гордиенко и покойному Парфенову, когда они собирались атаковать ночью дом. Одна папироса была оставлена «на потом», на после атаки, и с тех пор он забыл о ней. Он посмотрел на коробку и без колебаний, как будто сейчас случилось что-то особенное, ради чего надо было выкурить эту последнюю папиросу, взял ее и закурил.

За окном светало. Начинался обычный страдный день,— один из тех, к каким он уже привык,— но ко всем заботам в этом дне прибавилась еще одна, в которой он не хотел себе признаться, но которую уже чувствовал: это была забота о девушке, лежащей там, в углу, под его шинелью. У него было неясное ощущение, что девушка эта неожиданно прочно связана со всеми его будущими мыслями и с тем, что кругом осада и смерть, и с тем, что он сидит в осаде именно в этих домах, в Сталинграде, в том самом городе, в котором она родилась и выросла. Он посмотрел на девушку, и ему вдруг показалось, что когда придет вечер и ей нужно будет переправляться на тот берег и уходить отсюда, то ее отсутствие будет до странности трудно себе представить.

Он докурил папиросу и встал.

— Что без шинели? — спросил Петя, когда они вышли.

— Тяжело в ней, да сегодня еще и тепло.

— Что ж, тяжело, так я понесу, пока тепло.

— Ладно, не надо, так пойдем...

VIII

День вышал тяжелый, все время пришлось торчать во второй роте на левом фланге, где мимо дома на площадь выходила широкая улица. С утра, как водилось, по расписанию, началась обычная бомбежка, на этот раз более свирепая и точная, чем всегда, что сразу навело Сабурова на мысль, что сегодня не обойдется без какой-нибудь особенно сильной атаки.

К полудню выяснилось, что он был прав. Три раза отбомбив дома, немцы начали сильный минометный обстрел и под прикрытием его пустили вдоль улицы танки. Перебегая от подворотни к подворотне, вдоль стен, за ними двинулись автоматчики, довольно много,— как подсчитал Сабуров на-глаз, наверное, около двух рот. Одну атаку отбили, но через два часа началась вторая. На этот раз два танка прорвались и заскочили во двор дома. Прежде чем их сожгли, они раздавили несколько человек и противотанковую пушку со всем расчетом. Первый танк зажгли сразу, из него никто не выскочил, второй сначала подбили и только потом уже, когда он остановился, зажгли бутылками. Из него выскочили двое немцев, их тут же убили, хотя, может быть, и можно было взять их в плен. Сабуров на этот раз не удерживал своих людей: у него перед глазами было только что разбитое противотанковое орудие с ужасными, на куски разорванными телами артиллеристов.

В четыре часа опять началась бомбежка; она продолжалась до пяти, а в шесть, после долгого минометного обстрела, немцы снова пошли в атаку, на этот раз уже без танков. В одном месте им удалось захватить трансформаторную будку и развалины стены.

Уже перед самой темнотой, в полумгле, Сабуров, собрав десятка полтора автоматчиков, решив, что так этого нельзя оставлять до утра, подполз к будке и после долгой возни и перестрелки снова занял ее. При этом было убито и ранено несколько человек; что до него, то он от усталости и грохота не заметил сначала, что ему у плеча порвало рукав и обожгло руку пулей. Еще в середине дня его ударило о стену взрывной волной от близко разорвавшейся бомбы, и он наполовину оглох. Поэтому весь остальной день, злой и оглохший, он делал все, что надо, от страшной усталости почти автоматически. Когда будка наконец была занята, он, измученный, сел на землю, прислонился к обломку стены и, отвинтив крышку у фляги, сделал несколько глотков. Ему было холодно, и он впервые за день вспомнил, что вот уже вечер, а он без шинели. Словно угадав его мысли, Петя подал ему чужую, очевидно, снятую с убитого, шинель. Она оказалась мала. Сабуров сначала накинул ее на плечи, но Петя заставил его надеть ее в рукава.

В штаб Сабуров и Масленников вернулись совсем поздно, когда стемнело. На столе горела лампа. Сабуров мельком кинул взгляд на диван — девушка все еще спала. «Вот, должно быть, устала. А придется будить»,— подумал он и вдруг сообразил, что за весь день, с той минуты, когда он подумал, что, наверное, будет сильная атака, и до той минуты, когда вернулся, так ни разу и не вспомнил о девушке.

Не снимая шинелей, они с Масленниковым сели друг против друга за стол, и Сабуров налил в самодельные стопки водки. Они выпили и только тогда хватились, что нечем закусить... Пошарив по столу, Сабуров дотянулся до красивой четырехугольной банки с американскими консервами: на всех четырех сторонах ее были изображены разноцветные блюда, которые можно приготовить из этих консервов. Сбоку была припаяна аккуратная открывалка. Отломив ее и продев ушко в специальный шпинек на банке, Сабуров начал обрезать крышку.

— Разрешите войти?

— Войдите.

В комнату вошел человек невысокого роста, с одной шпалой на петлицах. Он подошел к столу, прихрамывая и слегка опираясь на самодельную палочку.

— Старший политрук Ванин,— сказал он, небрежно козырнув.— Назначен к вам комиссаром.

— Очень рад,— сказал Сабуров, вставая и пожимая ему руку.— Садитесь.

Ванин поздоровался с Масленниковым и сел на скрипнувшую табуретку. Обнаружив привычки штатского человека, он сразу снял и положил на стол фуражку и отпустил на одну дырочку ремень; только после этого, так, словно обмундиро-

вание и портупея причиняли ему неудобство, он уселся поудобнее.

Сабуров внимательно посмотрел на человека, которому предстояло быть главным его помощником во всех делах. У Ванина была густая шевелюра, слегка вьющиеся пряди каштановых волос падали ему на лоб. Глаза у него были совсем синие, такие, какие редко бывают, особенно у мужчин.

Сабуров, подвинув к себе лампу, внимательно прочел сопроводительный документ Ванина. Это была напечатанная на тоненькой бумажке выписка из приказа по дивизии, согласно которому Ванин назначался комиссаром во второй батальон 693 стрелкового полка.

На официальное ознакомление Ванина с положением дел в батальоне ушло вряд ли больше десяти минут. Все было понятно и без лишних слов; условия осады — снаряды и мины на счету, патроны в меньшей степени, но тоже по счету, горячая пища, по ночам разносимая в термосах, водка, которой оставалось больше нормы, потому что каждый день люди выбывали убитыми и ранеными, а старшины рот не торопились давать об этом сведения, обмундирование, которое за восемь дней ползания и лежания в окопах у многих изодралось в клочья, а у остальных истерлось и перепачкалось, — все это было хорошо известно каждому человеку, хоть несколько месяцев проведшему на фронте.

Сабуров по своей привычке откинулся на табуретке к стене и стал свертывать цыгарку, давая этим понять, что официальная часть разговора окончена.

— Давно в городе? — спросил он Ванина.

— Только сегодня утром переправился с той стороны. Я ведь прямо из госпиталя,— сказал Ванин, в подтверждение своих слов пристукнув палочкой по цементному полу.

— А в Сталинграде раньше бывали?

— Бывал,— усмехнулся Ванин.— Бывал,— повторил он со странным выражением лица и вздохнул.— Мало сказать, бывал. Я до войны был здесь секретарем горкома комсомола.

— Вот как...

— Да... Когда три месяца назад я уходил отсюда на Южный фронт, Сталинград считался еще глубоким тылом, таким глубоким, что трудно было представить себе, что мы вот с вами будем сидеть в этом доме. Тут ведь перед домом был парк, впрочем, теперь, наверное, мало что от него осталось...

— Мало,— подтвердил Сабуров.— Несколько деревьев да столбы от волейбольных сеток.

— Вот, вот, столбы от волейбольных площадок,— усмехнулся Ванин,— теннисную не успели сделать. Как раз перед войной я собирал молодежь на воскресники, ровняли землю, катками катали, а теперь, наверное, изрыто все...

— Изрыто,— опять подтвердил Сабуров.

Ванин задумался.

— Чорт его знает,— сказал он,— всем тут тяжело воевать, потому что уж больно Волга близко, но, видимо, все-таки легче, чем мне. А мне совсем тяжело... Я ведь тут каждый угол знаю, действительно каждый,— имейте в виду, я это не для красного словца... Двенадцать лет назад мы решили

сделать тут зеленое кольцо, чтобы было меньше пыли. Да, не думали мы тогда, что эти трехлетние саженные липки через десять лет поломает война и что тогдашние пятнадцатилетние пареньки будут, не дожив до тридцати, помирать на этих улицах. И вообще о многом, о чем мы тогда не думали, так же, как, наверное, и вы.

— Наверное.

Ванин несколько раз подряд затянулся и испытующе посмотрел на Сабурова.

— У вас где дом?

— В последнее время там, где я.

— А до этого?

— До этого в Донбассе.

— Значит, вы бездомный уже почти год, уже успели,— нет, не примириться, но все-таки привыкнуть... А я... Вы представляете, сегодня утром я увидел город с того берега... Нет, вы себе этого не представляете... Наверное, ваш командир дивизии счел меня за сумасшедшего, я на все его вопросы отвечал, как автомат: да, нет, да, нет, да, нет... Нет, вы все-таки, наверное, не можете до конца меня понять.

— Нет, почему же,— сказал Сабуров,— мне кажется, что вас можно и даже совсем можно понять. Знаете, когда по вечерам задует ветер и понесет пеплом и золой, мне иногда кажется, что ветер гонит этот пепел с запада, начиная от самой границы,— с Чернигова, с Киева, с Полтавы... Нет, я вас вполне понимаю, но только вместе с грустью меня иногда берет зло...

— На кого?

— На себя, на вас, на других. Чорт его знает. Может, поменьше нужно было внимания к вашим зеленым насаждениям и больше внимания ко многому другому. Вот я — я прослужил три года в армии... Когда я уходил в запас, мне сказали: «Напрасно, из вас мог бы получиться хороший военный». Но я ушел... И заметьте, если бы я не верил в то, что будет война, может быть, я был бы и прав, но я же был уверен, что война будет,— и, значит, я был неправ; я должен был остаться в армии.

— Понимаю,— сказал Ванин,— только нельзя же было всем сразу стать военными, согласитесь и с этим.

— Соглашаюсь, с той только поправкой, что мы ими все равно стали, и стали позже, чем это было нужно... Впрочем, что зря вспоминать, теперь наше дело солдатское — независимо от прежних заблуждений, своих и чужих, отстоять вот эти три дома и все.— Сабуров постучал пальцем по лежавшему перед ним чертежу.— Как — не отдадим дома, а, комиссар?

Ванин улыбнулся.

— Надеюсь. Знаете,— доверительно добавил он,— что мне сказал командир полка, когда отправлял к вам?

— Что?

— «Пойдете к Сабурову, он воюет не плохо, но любит порассуждать, и вообще у него бывают настроения...» — «Какие настроения?» — спросил я. «Так, вообще настроения»,— сказал он и сделал рукой такой жест, как будто этим все сказано.

Сабуров рассмеялся.

— Спасибо за откровенность. Признаюсь, у меня действительно бывают настроения — то одно настроение, то другое настроение, и вообще, мне кажется, человек без настроений не может жить. А как по-вашему?

— По-моему, тоже.

— А ваша волейбольная площадка,— вдруг переводя разговор на другое, сказал Сабуров,— почти цела. Пять-шесть воронок от мин, но это ведь только подсыпать земли и два-три раза пройтись катком. А столбы стоят, и на одном даже обрывок сетки. Вот лейтенант, — кивнул Сабуров на сидевшего с ним рядом Масленникова, — игрок первой сборной Москвы по волейболу. Вы меня сегодня надоумили насчет него — я все замечаю: он всегда просится во вторую роту — любимая его рота. Теперь я понимаю, в чем дело, — там волейбольная площадка, она наводит его на сладкие воспоминания.

— Капитан все не принимает меня всерьез, — шутливо, но в то же время с легким оттенком обиды сказал Масленников.— Ему не дают покоя мои двадцать лет... Нет, товарищ капитан. я вспоминаю о волейболе не чаще, чем вы, честное слово.

— И совершенно напрасно. Двадцать лет — хорошая вещь. И потом, знаешь, что, Миша, когда тебе будет тридцать, мне будет сорок, а когда тебе будет сорок, мне будет пятьдесят. — так что за мной все равно не угонишься, но чем дальше ты будешь жить, тем тебе будет яснее, что меньше на десять лет — это гораздо лучше, чем больше на десять лет, понимаешь?

Он обнял Масленникова и, похлопав его по плечу, притянул к себе.

— Нет, комиссар, у нас с вами замечательный начальник штаба, — хороший, обстрелянный, продымленный, только, пожалуй, слишком часто думает о том, что бы такое особенное придумать, чтобы стать настоящим героем. Пороховой погреб, фитиль в руках, — словом, желательно что-нибудь в этом роде. А так в остальном добрый вояка — легкая мужественная небритость на щеках, пристальный стальной взгляд... Шучу, шучу, Миша, не сердись. Лучше встань, заведи нам какую-нибудь пластинку.

— А у вас есть патефон? — спросил Ванин.

— А как же, возим... думали даже пианино с третьего этажа перетащить, но его вчера раньше времени оттуда так вышвырнуло, что одни струны остались.

За стеной раздались подряд два близких и сильных взрыва.

— Хотя, может быть, и нет смысла ничего сюда перетаскивать, — после паузы сказал Сабуров. — Кажется, скоро придется менять квартиру. Сегодня весь день, как нарочно, кладут вокруг да около.

Ванин вместе с Масленниковым подошел к батарее отопления, на которой стоял патефон. Небрежно перебирая пластинки, он остановился на одной из них и попросил:

— Вот эту.

Масленников завел патефон.

В далекий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город в синей дымке тает,
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд...

Ванин отодвинулся от стола в тень и слушал молча, подперев голову руками. Когда пластинка кончилась, Ванин, не стыдясь, так же молча, как сидел, вытер глаза, из которых катились слезы.

— Заведи, пожалуйста, еще, — сказал он.

И пластинка закрутилась во второй раз.

— А крепко спит девушка, — сказал Сабуров, когда патефон кончил играть. — Даже музыка не разбудила... Как ни жаль, а надо поднимать.

Он пересек комнату и подошел к койке. То, что ему показалось, когда он пришел, лежавшей на ней девушкой, было всего-навсего его брошенной на кровать шинелью.

— Вот как... — удивился он. — Петя, где медсестра?

И Петя, который вернулся сюда вместе с Сабуровым, но, как водится между ординарцами, безусловно уже все знал, сказал, что девушка два часа как ушла.

— Куда ушла? На тот берег?

— Нет, товарищ капитан, она тут... В общем, тут такое дело вышло. Там, впереди, где садик, на ничьей земле стоны слыхать было, — вроде на помощь звали. Ну, тут пришли сказать дежурному, а она как раз в это время поднялась. Ну, они и пошли туда, то есть поползли.

— Кто пошел?

— Она пошла...

— Она! Хоть бы рассказывать постыдился. Батальон солдат, а стоны послышались, так медсестра туда поползла... Да еще чужая... Что это за гастроли?

— Так нет, она не одна, тут ихний санитар с ней пополз да наш Конюков. Он тут дежурил и тоже вызвался.

— Когда это было?

— Теперь уже, значит, два часа, — сказал Петя, посмотрев на часы.

— Дежурного ко мне вызови, — сказал Сабуров, натягивая шинель. — Посидите тут, я сейчас, — кивнул он Ванину и Масленникову.

Ночь была холодная, полнеба закрывали тучи, но луна стояла как раз на ясной половине, и было светло.

Сабуров поежился от ночной прохлады. К нему подбежал дежурный.

— Куда они поползли?

— Да так, промежду заборами, влево и по развалинам, — показал дежурный рукой.

— Что было слышно за это время?

— Ничего особенного не слыхать было, товарищ капитан. Минут тридцать, как по этому месту мины пустили, а так ничего...

Сабуровым на секунду овладело естественное желание поползти вперед самому и узнать, что там происходит, но он

быстро превозмог себя. Это был не тот случай, когда он имел право сам ползти и рисковать жизнью.

— Как только будет что-нибудь известно, сейчас же доложите, я буду ждать, — сказал он дежурному.

Но ждать ему не пришлось. Из темноты, с той стороны, где развалины дома вкось, как гора, спускались к земле, показались три фигуры. Двое поддерживали третьего, ковылявшего между ними. Сабуров пошел навстречу. Сделав несколько шагов, он столкнулся с ними лицом к лицу. Конюков и санитар вели под руки Аню. В темноте Сабуров не мог разглядеть ее лица, но по тому, как она беспомощно повисла на руках у Конюкова и санитара, Сабуров понял, что ей плохо.

— Разрешите доложить, — сказал Конюков, продолжая придерживать Аню левой рукой и откозыряв правой.

— Потом,— сказал Сабуров.— Ведите ко мне. Или нет, не надо, тут положите, в дежурке.

Дежуркой все называли маленький закуток, образованный с трех сторон лестницей и стеной, с четвертой дежурка была завешана плащ-палаткой. В этом углублении стояли стол, табуретка для телефониста и мягкое кресло «ампир», вытащенное из чьей-то квартиры для дежурного. В углу прямо на земле лежал тюфяк. На него санитар и Конюков опустили Аню. Конюков быстро скатал лежавшую рядом шинель и положил ей под голову.

— Ну, уложили? — спросил Сабуров, не входивший в дежурку и продолжавший стоять на улице.

— Так точно, — сказал Конюков, выходя. — Разрешите доложить.

— Докладывай.

— Были стоны слышны. Так вот они, — кивнул Конюков,— говорят: «Я туда поползу, там раненые». И своих санитаров вызывают. Ну, один санитар у них маленько дохлый, молодой еще. «Пойду»,— говорит, но вижу, в душе стесняется... Так я говорю им, что я пойду.

— Ну?

— Разрешите доложить. Пошли, все ползком, тихо. Проползли так аккуратно метров полтораста, за развалинами там и нашли.

— Кого?

— Вот разрешите представить...

Конюков полез в карман гимнастерки и вытащил оттуда пачку документов. Сабуров на секунду зажег фонарик. Это были документы сержанта Панасюка, не вернувшегося из разведки еще прошлой ночью. В батальоне его уже считали убитым. Очевидно, раненный прошлой ночью, он день перележал где-то между развалин и в темноте пытался добраться к своим.

— Где же вы его нашли? Ближе к немцам или ближе к нам?

— Разрешите доложить. Аккурат посередине. Он, видно, полз, бедный, а не сдержался, стал голос подавать.

— Где он?

— Мертвый он.

— Как мертвый?

— Мы когда подползли, он еще живой был, раненый, стонал во весь голос. Я ему говорю — ты молчи, а то на твой голос стрелять будут. Потащили его, а тут немец и, правда, видать, между камней пулей нас настичь не гадал, так стал мины бросать. Его там, значит, совсем, а ее в ногу задело и об камни ударило. Сначала она в горячке даже его тащить хотела, хоть он и мертвый, но потом сознание утеряла. Мы документы взяли, его оставили, а ее потащили, вот и представили сюда. Разрешите доложить, товарищ капитан.

— Ну, что еще?

— Девчонку жаль. Что ж, ей-богу, неужто мужиков на это дело нет! Ну, пущай там в тылу в госпитале за ранеными ходит, а для чего ж сюда? Я ж как ее потащил, легонькая совсем, и мне тут стала такая мысль: зачем легонькую, такую молодую, девчонку под пули пускают?

Сабуров ничего не ответил. Конюков тоже замолчал.

— Разрешите итти? — сказал он.

— Идите.

Сабуров вошел в дежурку. Аня лежала на матраце молча, открыв глаза.

— Ну, что с вами? — спросил Сабуров. Ему хотелось упрекнуть ее за то, что она пошла так безрассудно, никого не спросив, но в то же время он понимал, что упрекать ее за это нельзя. — Ну, что с вами? — повторил он уже мягче.

— Ранили, — сказала она, — а потом удар очень сильный, головой... А ранили — это так, пустяки, по-моему...

— Перевязали хоть вас? — спросил Сабуров и только сейчас заметил, что под надвинутой на голову пилоткой у нее белел бинт.

— Да, перевязали, — сказала она.

— А ногу?

— Ногу тоже перевязали, — сказал стоявший над ней санитар. — Пить не хотите, сестрица?

— Нет, не хочу...

Сабуров колебался в эту минуту между двумя решениями: с одной стороны, может быть, лучше было не трогать ее и оставить здесь на два-три дня, пока ей не станет легче, с другой стороны, по дивизии уже несколько дней как было приказано ни одного из раненых не оставлять до утра в этом месиве, где легко раненные к вечеру могли превратиться в тяжело раненных, а тяжело раненные в убитых. Сабуров подумал, что с девушкой надо было сделать так же, как делали со всеми остальными, и отправить ее сегодня же ночью на ту сторону.

— Итти вы не можете? — спросил он.

— Сейчас, пожалуй, не могу.

— Придется вместе с остальными ранеными вас перенести к берегу и сейчас же, в первую очередь, — сказал Сабуров, предвидя возражения.

Он ожидал, что она скажет, что она не самая тяжелая раненая и ее можно перенести в самую последнюю очередь. Но она по лицу Сабурова поняла, что он все равно отправит ее в первую очередь, и промолчала.

— Если бы меня не ранили, — сказала она вдруг, — мы бы его все равно оттуда притащили. Но, когда меня ранили, они не могли двух... Он ведь убит, — сказала она, словно оправдываясь.

Сабуров посмотрел на нее и понял, что все это она говорит только, чтобы превозмочь боль, а на самом деле ей простонапросто по-детски очень больно и очень обидно оттого, что вот так ненужно и глупо ранена. И Сабурову показалось, что ей грустно еще и оттого, что он так сурово и сухо разговаривает с ней. Она еще маленькая, почти ребенок; ей больно и жалко себя, а он этого не понимает.

— Ничего, — сказал он с неожиданной лаской в голосе. — Ничего. — И, пододвинув кресло, сел рядом с ней. — Сейчас вас переправят на тот берег, быстро поправитесь и опять будете раненых возить.

Она улыбнулась.

— Вы и сейчас говорите так, как мы всегда раненым говорим: «Ничего, миленький, скоро заживет, скоро поправитесь».

— Ну, что же, вы ведь ранены, вот и говорю с вами, как это принято.

— А вы знаете, — сказала она, — я только что подумала, как, наверное, раненым страшно переплывать через Волгу, когда стреляют. Мы, здоровые, можем двигаться, все делать, а они лежат и просто ждут. Вот сейчас со мной тоже так, и я подумала, как им, наверное, страшно...

— А вам тоже страшно?

— Нет, мне сейчас почему-то совсем не страшно, в первый раз... Дайте закурить, — сказала она.

— Вы курите?

— Нет, не курю, но мне сейчас вдруг захотелось...

— Только у меня папирос нет, вертеть придется.

— Ну что ж.

Он свернул папиросу и, прежде чем заклеить ее, на секунду остановился.

— Сами... — сказала она.

Он лизнул бумагу и, заклеив папиросу, протянул ей. Она неумело стиснула папиросу зубами. Когда он чиркнул спичку и поднес ее к папиросе, лицо девушки, освещенное коротким красноватым отблеском, впервые показалось ему бесконечно красивым.

— Что вы смотрите? — сказала она. — Я не плачу... Это мы просто через лужи переползали, и от этого, наверное, лицо мокрое. Дайте платок, я вытру.

Он достал из кармана платок и смущенно заметил, что он грязный, скомканный и перепачкан табаком. Она вытерла лицо и вернула ему платок.

— Что, меня сейчас заберут? — спросила она.

— Да,— сказал он и постарался сказать это «да» тем же сухим, начальническим тоном, которым говорил вначале, но сейчас это у него не вышло.

— Вы меня будете вспоминать? — вдруг спросила она.

— Буду.

— Вспоминайте. Я не потому, что так все раненые говорят, а, правда, скоро вылечусь, я чувствую... Вы вспоминайте.

— Как же вас не вспоминать,— серьезно сказал Сабуров,— непременно буду вспоминать...

Когда через несколько минут санитары подошли, чтобы положить ее на носилки, она поднялась и села сама, но было видно, что ей это трудно.

— Очень болит голова, — сказала она.

Ее поддержали под руки и положили на носилки.

— Остальных уже отправляют? — спросил Сабуров.

— Да, сейчас же, вместе идем, — сказал один из санитаров.

— Хорошо.

Санитары приподняли носилки, и теперь на улице, в полутьме, Сабуров понял, что он не сказал еще ничего из того, что ему в эту минуту бесконечно захотелось ей сказать... Санитары уже сделали первый шаг и носилки заколыхались, а все еще не было ничего сказано, и, пожалуй, он ничего и не мог сказать — не умел и не смел. Острая, безрассудная жалость к ней, столько переносившей и перевязавшей раненых и вот сейчас беспомощно лежавшей на таких же носилках, переполняла его сердце. Он неожиданно для себя наклонился над ней и, спрятав руки за спиной, чтобы каким-нибудь неосторожным движением не сделать ей больно, сначала крепко щекой прижался к ее лицу, а потом, сам не понимая, что делает, поцеловал ее несколько раз в глаза, в лоб, в губы. Когда он поднял лицо, то увидел, что она смотрит на него открытым, ясным, все понимающим взглядом, и ему показалось, что он не просто поцеловал ее, беспомощную и неспособную пошевелиться или возразить, а что он сделал это с ее разрешения, что она так и хотела...

Вернувшись в штаб, Сабуров сел за стол и, достав из планшета, положил перед собой полевую книжку: ему предстояло написать донесение за день,— донесение, которое пойдет в полк к Бабченко, выборка из которого потом пойдет в дивизию Проценко, из дивизии в армию, из армии во фронт, а оттуда в Москву... И так составится вся длинная цепь донесений, которая под утро в виде сводки генерального штаба окажется на столе у Сталина.

И как всегда, когда по вечерам он составлял эти донесения, Сабуров вспомнил всю огромность фронта, на протяжении которого его батальон и эти три дома были лишь одной из бесчисленного множества точек. И ему показалось — вся Россия, которой нет ни конца, ни края, стоит бесконечно влево и бесконечно вправо, рядом с этими тремя домами, где держится он, капитан Сабуров, со своим поредевшим батальоном.

IX

На участке, который занимала дивизия Проценко, наступило относительное затишье. После всего, что было, это могло бы показаться законным отдыхом, если бы Сабуров не знал, что тишина объяснялась не тем, что немцы вообще устали и прекратили атаки, а единственно тем, что они сейчас оття-

нули все свои силы южнее того участка, где стояла дивизия, и проламывали там себе проход к Волге, стараясь разрезать Сталинград пополам.

Днем и ночью слева, с юга, доносилась артиллерийская канонада, а здесь было тихо, то есть тихо в сталинградском понимании этого слова. От времени до времени немцы бомбили. Пять или шесть раз в день они делали на дома, занимаемые Сабуровым, артиллерийские и минометные налеты, то там, то здесь кучки автоматчиков пытались немножко продвинуться вперед и занять часть развалин, но все это было скорее демонстрацией, чем боем.

Немцы делали ровно столько, сколько нужно для того, чтобы нельзя было снять отсюда ни одного человека на помощь частям, обороняющимся южнее. И порожденное бездействием тягостное чувство, пожалуй, говорило в Сабурове сильнее, чем простая человеческая радость по поводу того, что он жив и что у него сейчас относительно меньше шансов умереть, чем раньше.

За эти дни в батальоне установился тот особый осадный быт, который поражал попадавших в Сталинград новых людей своими устойчивыми традициями, своим спокойствием, а иногда и юмором. Сабуров, у которого в конце концов немцы после трехдневного обстрела разбили прежнее помещение штаба, к счастью, только легко ранив при этом одного телефониста, теперь помещался в подвале, в бывшей котельной. Таким образом, теперь в батальоне все без исключения вели подземную и от этого более прочную и упорядоченную жизнь.

У землянки, где помещались связные, один из которых заведывал почтой, на столбе повесили самый настоящий почтовый ящик, содранный с развалин дома. На нем было все, как полагалось: и надпись «Почтовый ящик», и почтовый знак, и открывающаяся и захлопывающаяся крышка. Сабуров както утром пошутил, что тут нехватает только вывески «Главный почтамт», эта мысль, видимо, понравилась связистам, и к вечеру над ящиком и в самом деле появилась дощечка, на которой черной краской было написано: «Главный почтамт», «Прием и выдача корреспонденции».

Один из бойцов комендантского взвода, в прошлом известный одесский часовщик, в своей землянке, за врытым вместо окна прямо в землю куском зеркальной витрины, устроил подобие часовой мастерской. С легкой руки Сабурова, после его шутки с почтамтом, которая понравилась в батальоне, изнутри на витрине той же черной краской часовщик написал: «Мастерская — «Точное время». Это был немудрящий, но в окопных условиях забавный юмор.

Петя два дня был озабочен устройством хоть какой-нибудь бани. При помощи саперов он вырыл землянку. Из нескольких выломанных дверей в ней соорудили даже полок, сложили из кирпичей каменку и врыли в землю бочку с водой: в бане было достаточно дымно и грязно, но нигде, пожалуй, не мылись с таким удовольствием, как здесь. Даже Бабченко, у которого не было своей бани, пришел помыться и, уходя,

сказал, что еще притащит сюда командира дивизии, не преминув добавить, чтобы к приходу начальства все было в порядке.

Тетя Маша,— так звали женщину, которую Сабуров в первые дни обнаружил в подполе возле своего дома,— определилась на батальонную кухню. Она так свыклась с мыслью, что батальон всегда будет здесь и уже никто ее отсюда не выгонит, что угрюмость и отчаянность, которые заметил в ней сначала Сабуров, исчезли, и она оказалась простой, добросердечной женщиной.

Сабуров три или четыре раза ночью по получасу читал выброшенные взрывом из дома и собранные бойцами во дворе книжки. Среди них оказалась пятитомная «История России» Ключевского. Сабуров шутя говорил, что он рассчитывает благополучно досидеть в осаде, по крайней мере до тех пор, пока не дочитает последний, пятый том. Масленников и Ванин в ответ смеялись, что, судя по темпу чтения Самбурова, им придется сидеть в осаде не меньше двух лет...

Теперь главные боевые действия происходили ночью. Собирались маленькие группы охотников и ползли на немецкую сторону, пытаясь поймать «языка» или просто устроить немцам очередной ночной тарарам. Две ночи подряд в этих экспедициях участвовал Масленников. Ему все не терпелось отличиться, и он доказывал, что просто обязан заниматься этими вылазками лично сам — ведь надо же что-то делать, когда в трех километрах южнее сейчас умирают товарищи. Сабуров, который знал это не хуже его, но в то же время предвидел, что скоро то же самое достанется и на их долю, удерживал Масленникова. Когда Масленников пошел в ночной поиск во второй раз, Сабуров, не считая себя в праве отказать ему, потихоньку вызвал к себе Конюкова и поручил ему не отходить ни на шаг от Масленникова и по возможности беречь его. Конюков охотно вызвался итти, а относительно Масленникова сказал только:

— Уж будьте покойны, товарищ капитан, уж будьте благонадежны.

Ему нравилась ночная работа, и он, разговаривая с товарищами, с некоторым сожалением отзывался о том, что немцы почти не ставят теперь колючей проволоки, а то, бывало, как начнешь ее резать,— и тихо, и скоро,— одно удовольствие. Он когда-то был специалистом этого дела, и невозможность показать себя с этой стороны во всем блеске огорчала его.

Днем, после того, как Масленников, вернувшись из второй вылазки, спал, Сабуров приподнял с него шинель и заметил, что она вся в маленьких дырочках от осколков. В эту ночь мина разорвалась совсем рядом с Масленниковым и он только чудом спасся. Когда Масленников вечером собрался проситься в очередную вылазку, Сабуров, угадав по выражению его лица, о чем он будет просить, сказал:

— Сегодня у вас будет работа, товарищ лейтенант, на всю ночь...

— Да? — сказал Масленников обрадованно.

— Да, будете шинель штопать.

— Шинель?

— Да, свою шинель, и пока все дырки аккуратно не заштопаете, ни в какую разведку не пойдете, помяните мое слово.

Масленников, который обычно понимал и чувствовал юмор, сразу лишался этого чувства, как только ему начинало казаться, что в разговоре намекают на его молодость. Может быть, он относился бы к этому спокойнее, если бы не его старший брат, летчик, носивший другую фамилию, чем Масленников, и фамилию настолько популярную в стране, что Масленников не любил говорить о нем и, что у него есть брат, во всем батальоне рассказал лишь Сабурову, и то в самую задушевную минуту.

Масленников вырос в семье, преклонявшейся перед братом, Масленников тоже любил его, но вместе с тем ревновал и завидовал. Подчас ему казалось, что все несчастье его заключается лишь в том, что он на восемь лет моложе брата. Когда началась испанская война и брат уехал туда, Масленникову было пятнадцать лет. Он тоже отдал бы все на свете, чтобы попасть в Испанию. Потом, когда брат был в Монголии, а Масленникову пришло время определять свою жизненную дорогу, мать, гордившаяся старшим сыном, но трепетавшая за него, умолила младшего вместо летной школы пойти в авиационный институт. И лишь в начале войны, когда уже ничто не могло удержать его, Масленников пошел в первую попавшуюся пехотную школу. Этот мальчик был честолюбив и тщеславен тем тщеславием, за которое трудно осуждать людей на войне. Он непременно хотел стать героем и для этого был готов сделать любое, самое страшное, что бы ему ни предложили.

Сабурову тоже были не чужды в жизни честолюбивые и даже тщеславные мысли, но сейчас, на этой войне, которую он ощущал как всеобщую кровавую страду, эти мысли у него почти исчезли. Впрочем, при всем этом он понимал и не осуждал Масленникова, и только старался по мере возможности охлаждать его пыл. Минутами Масленников казался ему почти сыном, который был моложе его на девять лет и на год войны,— значит, еще на десять.

— Ты знаешь, Миша,— сказал он, когда после его шутки насчет шинели Масленников помрачнел,— ты знаешь, Миша, иногда, когда мне вдруг хочется сделать что-то слишком рискованное, я удерживаю себя тем, что думаю о войне. Она ведь будет еще очень длинная, и чем дальше она будет тянуться, тем больше будут цениться люди, которые ее начали с начала и дожили до конца: ведь если Сабуров когда-нибудь будет командовать полком, то ты будешь командовать батальоном, и очень важно, чтобы ты дожил до этого времени, обязательно дожил. Как ты, согласен или нет?

— Нет,— порывисто сказал Масленников,— для всех — да, а для себя — нет.

— Не согласен? — улыбнулся Сабуров.— Ну, ладно. В конце концов не важно — согласен ты или нет, все равно будет помоему, так что штопай...

Масленников взял на колени шинель и покорно стал рассматривать пробитые в ней дырки.

Этот вечерний разговор происходил на восьмой день затишья. Весь день и весь вечер была слышна особенно сильная канонада с юга, и Сабуров, не потерявший из-за своего временного благополучия и благополучия своего батальона чувства общей надвигающейся беды, был весь вечер в дурном настроении.

На столе затрещал телефон. Сабуров поднял трубку.

— Сабуров? — услышал он голос Бабченко.

— Так точно.

— Оставь батальон на комиссара. Тебя хозяин вызывает, иди сейчас же.

— Скажи Ванину,— обратился Сабуров к Масленникову,— что я к хозяину пошел,— и, нахлобучив фуражку, двинулся к дверям.

Проценко быстрыми шагами ходил по своему выкопанному рядом с развалинами дома блиндажу. Блиндаж, как всегда, когда у полковника находилось хоть немного времени, был сделан прочно и аккуратно. Не боясь рисковать своей жизнью, когда это было необходимо, Проценко в то же время любил, чтобы блиндаж был крепким — накатов в пять-шесть,— таким, чтобы его не пробил случайный снаряд. Сам человек работящий, он не выносил лени во всех ее видах и вгонял в пот своих саперов, как только обосновывался на новом месте. Он любил, чтобы блиндаж был хорошо покрыт, по возможности просторен, со столом, с табуретками, с удобным местом для спанья. Это была привычка обстоятельного человека, который воюет уже не первый год и для которого блиндаж давно превратился в постоянное местожительство. Он терпеть не мог, когда его командиры без необходимости помещались на тычке, под огнем, не имея возможности разложить карту, словом, когда они создавали себе лишние неудобства, кроме тех, которые и так на каждом шагу создавала для них сама война.

Весь день сегодня за левым флангом дивизии шел жестокий бой, и Проценко в течение дня по чутью и по опыту становилось все яснее, что, очевидно, недалек тот час, когда немцы все-таки прорвутся левее его к Волге и он со своей дивизией окажется оторванным от всего, что южнее, и, прежде всего, от штаба армии. Полчаса назад его опасения оправдались — связь с армией была прервана. По странной случайности судьбы, последнее, что после всех тревожных переговоров со штабом армии он услышал, был глуховатый басок члена Военного совета Матвеева, который, позвав его к телефону и спросив сначала, как он держится и все ли у него в порядке, сказал:

— Поздравляю.

— С чем?

— Радио не слышал?

— Нет.

— Сегодня по радио передавали, что Указом правительства тебе присвоено звание генерал-майора. Так что поздравляю вас, товарищ генерал.

Матвеев говорил усталым, медленным голосом; наверное, там, южнее, у них сейчас было очень тяжко, и только обычным вниманием Матвеева к людям Проценко мог объяснить то, что он вспомнил сейчас об Указе и позвонил ему.

— Благодарю,— сказал Проценко,— постараюсь оправдать свое новое звание.

Он подождал, Матвеев ничего не отвечал в телефон.

— У меня все,— сказал Проценко.— Слушаю вас...— Но Матвеев опять ничего не ответил.— Слушаю вас,— сказал Проценко во второй раз,— слушаю вас,— сказал он в третий раз.

Телефон молчал.

Думая, что это обрыв линии где-нибудь на его участке, Проценко вызвал промежуточного телефониста, сидевшего на стыке с соседней дивизией. Телефонист ответил... и лучше бы не отвечал. Провод оборвался надолго. Левее дивизии Проценко немцы вышли на берег Волги, перерезав все линии связи.

Соседи не подавали никаких признаков жизни. Штаб армии безмолвствовал. Между тем, как всегда, необходимо было отправить в армию дневную сводку. Теперь оставался только один путь связи — через Волгу на тот берег и потом с того берега южной переправой в штаб армии. Приходилось посылать человека. Сначала Проценко подумал о своем адъютанте, но тот, свалившись с ног за день беготни, спал на полу, положив под голову шинель. Да и, кроме того, адъютант был не тем человеком, которого следовало сейчас послать в штаб армии. Туда надо было послать кого-нибудь, кто сумел бы не только доставить донесение, но и узнать точно и определенно, что требуется сейчас от него, от Проценко. Он поднял трубку и позвонил Бабченко:

— У вас все тихо? — спросил он.

— Все тихо.

— Тогда пошлите мне сейчас же Сабурова.

Ожидая прибытия Сабурова, Проценко придвинул к себе сводки из полков, против обыкновения собственноручно составил общее донесение и приказал отпечатать его на машинке. Донесение еще печаталось, когда Сабуров вошел к Проценко.

— Здравствуйте, Алексей Иванович, — сказал Проценко.

— Здравствуйте, товарищ полковник.

— Теперь не полковник,— сказал Проценко,— теперь генерал. Не слышал сегодня радио?

— Нет.

— Не слышал, так вот я тебе говорю — генерал. В генералы меня сегодня произвели. Чорт его знает,— добавил он, показав на молчавший телефон,— не буду врать,— хотел я этого, но не в такой день хотел услыхать, не в такой... Я позвал тебя, чтобы ты отвез сейчас донесение в штаб армии.

— А что, не работает? — кивнул Сабуров на телефон.

— Нет, и едва ли скоро будет работать. Отрезали. Придется тебе стать на сегодня моим живым телефоном.

Он снял трубку внутреннего телефона и позвонил на причалы.

— Моторку или лодку, что есть под рукой, немедленно при-

готовьте. Значит, так, Алексей Иванович, сначала на тот берег, узнаешь — на прежнем ли месте штаб армии, и опять переберешься на этот берег, туда, где они теперь стоят. Ну, как, донесение готово? — обернувшись, спросил он вошедшего штабного командира.

— Печатают, через пять минут будет.

— Хорошо. Так вот, Алексей Иванович,— сказал Проценко,— значит, поедешь... Конечно, связь и так восстановится, но, по совести говоря, ждать терпения нет. Честное слово, больше люблю, когда на меня жмут. Тут уж если жмут, так знаешь, что у тебя есть, чего нет, а когда у меня тихо, а соседей давят — хуже всего, душа не на месте. У тебя, наверно, тоже так, а?

— Тоже,— подтвердил Сабуров.

— Я знаю,— сказал Проценко,— так что постарайся добраться, чтобы душа на месте была.

Он вдруг улыбнулся и подошел к осколку зеркала, висевшему на стене.

— Как, Алексей Иванович, пойдет мне генеральская форма, а, как ты думаешь?

— Должно быть, пойдет, товарищ генерал,— сказал Сабуров.

— Товарищ генерал,— улыбнулся Проценко.— Вот говоришь мне — товарищ генерал, а, небось, про себя думаешь: приятно, видно, ему, старому чорту, это слышать. Думаешь?

— Думаю,— улыбнулся в свою очередь Сабуров.

— И правильно думаешь... Приятно, в самом деле приятно. Только ответственность большая на меня падает теперь. Звание ввели, а слово это не всегда еще у нас понимают, как и многие другие слова, впрочем.

Проценко задумался, закурил и внимательно посмотрел на Сабурова. Он был взволнован, и ему хотелось высказаться.

— Генерал,— задумчиво сказал он.— Трудное звание. А знаешь, Сабуров, почему трудное? Потому что недурно или даже хорошо воевать — сейчас мало, сейчас надо так воевать, чтобы потом как можно дольше воевать не пришлось. Я ведь, Сабуров, не верю в разговоры, что это последняя война на свете. Это и в прошлую войну говорили, и до этого много раз говорили, стоит историю почитать. После этой войны будет еще война, через тридцать или через пятьдесят лет... Но в наших руках, чтобы она была не скоро, а коли все-таки будет, была бы победной, для того и армия. Конечно, сейчас многие найдутся, кто захочет мне возразить. Ты, например, а?

— Хотелось бы возразить,— сказал Сабуров.— Не хочется думать, что когда-нибудь будет еще одна война.

— Это верно, что не хочется, — сказал Проценко, — мне тоже не хочется. Не хочется думать, но надо, необходимо думать, тогда, может быть, и не будет.

Штабной командир принес донесение. Проценко полез в карман, достал очешник, вынул круглые роговые очки, которые он надевал только тогда, когда приходилось читать какой-нибудь документ, внимательно прочел от слова до слова и подписал.

— Поезжай,— сказал он,— до лодки тебя здесь проводят, а там уже твое дело. Будешь плыть по Волге, если не заметят, красотой будешь наслаждаться... Внизу вода, вверху звезды, просто даже завидно. Особенно если бы это не Волга была, а Висла или Одер. Ну, ладно, отправляйся.

Сабуров в темноте добрался до пристани. Моторки не было, ее сегодня утром разбило миной. У пристани тихо шлепалась в воде двухпарная весельная шлюпка. Влезая в нее, Сабуров на секунду посветил фонарем: она была белая, с синей каймой и с номером — одна из шлюпок прогулочной станции. Еще недавно ее давали на прокат за рубль или за полтора в час...

Двое красноармейцев сели на весла, Сабуров устроился на руле, и они тихо отчалили. Немцы не стреляли. Было все, как предсказал Проценко: звезды наверху и вода внизу, и тихая ночь, орудийный гул перекатывался вдали, в трех-четырех километрах отсюда, и привычное ухо его не замечало... Действительно, можно было сидеть на корме и думать все эти двадцать или тридцать минут, которые отделяли его от того берега, где теперь днем, а иногда и ночью рвались перелетавшие через реку немецкие тяжелые мины, где работали с заката до рассвета десятки пристаней, куда уплывали из батальона раненые и откуда ежедневно привозили в батальоны боеприпасы, хлеб и водку. Справа и слева были теперь вышедшие к Волге немцы, впереди тоже были немцы. Сабуров не раз шутил в разговорах с Масленниковым, называя себя и свой батальон островной державой, а тот берег «большой землей». Если даже ехать в Москву, все равно для этого сначала пришлось бы переплыть на «большую землю», на тот берег, и только потом, где-то северо-западнее, опять переправиться на этот берег Волги. На том берегу было все, в том числе и Аня, о которой он сейчас вспомнил. И если у нее легкая рана, то она даже совсем близко отсюда, у себя в медсанбате.

«Наверное, легкая»,— подумал он, не потому, что это логически так и должно было быть, а потому, что она сказала: «Я скоро у вас буду...», и, как все, что она говорила, она сказала это так по-детски уверенно и твердо, что ему казалось — это в самом деле так и должно случиться. Он за последние несколько дней два или три раза ловил себя на том, что, возвратясь в штаб батальона, невольно оглядывал блиндаж.

Лодка уткнулась в песок, и Сабуров, выскочив на берег, пошел узнавать, где теперь та переправа, которая раньше была ближе других к штабу армии. Как оказалось, переправу перенесли километра на полтора ниже по течению. Он снова сел в лодку, и они поплыли вдоль берега.

У переправы лодка причалила к временным деревянным мосткам: красноармейцы остались в ней, а Сабуров сел на баржу, которая как раз в эту минуту должна была отчаливать обратно на правый берег.

Баржа была загромождена ящиками с продовольствием, коровьими и бараньими тушами, сваленными прямо на деревянный настил. И хотя людей на барже почти не было, но это

количество провианта говорило о том, как много всего на том берегу и как в сущности трудно, хлопотливо, бесконечно сложно снабжать через реку всю армию, скопившуюся там за рекой.

Через полчаса баржа медленно причалила к одной из сталинградских пристаней. Переправа была перенесена, но, против ожидания, Сабурову сказали, что штаб армии на прежнем месте.

Сабуров знал от Проценко, который два или три раза был в штабе, что он помещается на берегу в специально вырытых штольнях, напротив сгоревшего элеватора. Туда пришлось итти от переправы полтора с лишним километра вдоль берега. Немцы вслепую в шахматном порядке обстреливали берег из минометов, и мины от времени до времени рвались то спереди, то сзади.

Сабуров все дальше шел по берегу, а контуров элеватора, который должен был служить ориентиром, все еще не было видно. Между тем теперь автоматная стрельба слышалась настолько близко, что не было никакого сомнения в том, что до передовых осталось меньше километра. Он уже начал думать, не наврали ли ему, как это слишком часто бывает на войне, и не переехал ли штаб сегодня в другое место. Но, когда он подошел совсем близко к тому, что по его расчетам было передовой, он увидел прямо перед собой на обрывистом берегу Волги контуры элеватора и через минуту наткнулся на часового, стоявшего у входа в подземелье.

— Здесь штаб? — спросил Сабуров.

Человек осветил фонарем документы и ответил, что здесь.

— Как к начальнику штаба пройти? — спросил Сабуров тихо.

— К начальнику штаба?

За его спиной послышался показавшийся ему знакомым голос:

— Кто тут к начальнику штаба?

— Я.

— Откуда?

— От Проценко.

— Вот как. Интересно, — сказал голос. — Ну, идемте.

Когда они вошли в обшитую досками штольню, Сабуров оглянулся и увидел, что сзади него идет тот самый генерал, которого он видел в первую ночь у Проценко.

— Товарищ командующий, — обратился к нему Сабуров, — разрешите к вам.

— Да, сейчас, — сказал генерал и, открыв маленькую дощатую дверку, прошел первым.

Сабуров, поняв это как приглашение следовать за ним, тоже вошел.

За дверью была маленькая, врытая в землю, каморка с топчаном, клеенчатым диваном и большим столом. Генерал сел за стол.

— Подвиньте мне, пожалуйста, табуретку.

Сабуров, не понимая зачем, подвинул табуретку. Генерал поднял ногу и вытянул ее на табуретке.

— Старая рана открылась, хромать стал... Ну, докладывайте.

Сабуров доложил по всей форме и протянул генералу донесение Проценко. Генерал медленно прочитал его, потом вопросительно посмотрел на Сабурова.

— Значит, у вас тихо?

— Так точно, тихо.

— Это хорошо. Стало быть, у них уже нет сил одновременно атаковывать на всех участках. Потерь мало последние дни?

— Точно не знаю,— сказал Сабуров.

— Да нет, я вас не про дивизию спрашиваю, про дивизию тут написано. Как у вас в батальоне, вы, кажется, батальоном командуете?

— Так точно,— сказал Сабуров.

— Так сколько у вас потерь?

— За эти восемь дней шесть убитых и двадцать раненых, а за первые восемь дней — восемьдесят убитых и двести два раненых...

— Да, — сказал генерал, — много. Долго блуждали, пока нас нашли?

— Нет, я быстро нашел, только я уже начал сомневаться: в трехстах шагах стрельба, думал, вы переменили командный пункт.

— Да,— сказал генерал,— чуть не переменили, мои штабники уже решили сегодня ночью менять, но я вечером вернулся из дивизии и запретил им. Когда тяжело так, как сейчас,— запомните это, капитан,— а сейчас, смешно скрывать, очень тяжело, нельзя следовать правилам обычного благоразумия и менять свои командные пункты даже тогда, когда это кажется очевидной необходимостью. Самое главное и самое благоразумное в такую минуту — чтобы войска чувствовали твердость, понимаете? А твердость у людей рождается от чувства неизменности, в частности от чувства неизменности места. И до тех пор, пока я смогу управлять отсюда, не меняя места, я буду управлять отсюда. Вы — молодой командир, я вам это говорю для того, чтобы вы применили это к себе в своем батальоне. Я надеюсь, вы не думаете, что затишье у вас будет долго продолжаться?

— Не думаю,— сказал Сабуров.

— И не думайте, оно не надолго. Саватеев! — крикнул генерал.

В дверях появился адъютант.

— Садитесь, пишите приказ.

Генерал быстро при Сабурове продиктовал несколько строк короткого приказа, сущность которого сводилась к тому, чтобы Проценко сделал все необходимое для того, чтобы не дать немцам оттянуть еще большее количество людей с его участка, в особенности, чтобы он провел несколько частных атак на своем южном фланге, там, где немцы прорвались к Волге.

— Да припишите,— сказал генерал,— поздравляю с присвоением генеральского звания. Все. Дайте подписать.

Отпуская Сабурова, генерал поднял на его свои усталые, окруженные синевой бессонницы, глаза.

— Вы, кажется, давно знаете Проценко?

— Почти с начала войны.

— Если хотите быть хорошим командиром, учитесь у него, приглядывайтесь. Он на самом деле не таков, каким кажется с первого взгляда: он хитер, умен и упрям. Словом, хохол. У нас многие часто только делают вид, что они спокойные люди, а он один из тех, кто в самом деле всегда спокоен, вот этому у него и учитесь. Он мне о вас доносил, что вы хорошо действовали в первые дни, когда попали в окружение. Теперь вы всей дивизией можете считать себя в окружении. А в этих обстоятельствах главное — спокойствие. Мы с вами восстановим связь, но вода — все-таки вода, так что помните это. Впрочем... — генерал приподнялся, подавая Сабурову руку,— впрочем, вода на нас иногда хорошо действует, когда она сзади нас. Примеры тому — Одесса, Севастополь... Надеюсь, примером этому будет и Сталинград, с той только разницей, что мы его не сдадим ни при каких обстоятельствах. Можете итти.

Когда Сабуров, выйдя из штаба, пошел обратно к пристани вдоль берега, он подумал, что, как это ни странно, у командующего было хорошее настроение. Спокойствие, неторопливость, с которыми генерал говорил с ним, все это было не нарочно, все это показалось Сабурову очень естественным, похожим на правду, на то, что этот человек действительно так и думал, как он говорил. А между тем события дня, казалось, могли бы породить совершенно противоположное настроение. «Может быть, он знает что-то такое, чего мы не знаем,— подумал Сабуров,— может быть, подкрепления, может быть, в другом месте что-то готовится!..»

И сейчас же отбросил эту мысль... Нет, не в этом дело. Он вдруг с ясностью понял причину настроения командующего: просто самое худшее, что могло случиться, уже случилось,—немцы прорвались к Волге и разрезали армию,—к этому шло все последние дни и этому нехватило сил противостоять. Но сейчас, когда это самое страшное случилось, когда случилось то, что немцы раньше считали окончанием битвы,— армия не признала себя побежденной и продолжала драться, и штаб остался, как ни в чем не бывало, там, где стоял, и, вдобавок ко всему, из отрезанной дивизии прибыл командир, который, несмотря ни на что, привез командующему донесение именно в то время, в какое оно обычно прибывало: все это, вместе взятое, и рождало у командующего то хорошее настроение, в котором его застал Сабуров, причем настолько хорошее, что он, человек, известный в армии своей молчаливостью, сейчас целых пять минут говорил с Сабуровым, простым офицером связи, и сказал даже несколько десятков слов, не имеющих, казалось бы, прямого отношения к делу.

Через пять часов после того, как Сабуров ушел от Проценко, он снова стоял в его блиндаже, протягивая ему листок из блокнота, на котором был написан приказ командующего.

— Ну, как там? — спросил Проценко, прочитав приказ.

Когда Сабуров рассказал ему, что командный пункт армии помещается на старом месте, на лице Проценко мелькнула одобрительная улыбка: видимо, он разделял чувства Сабурова, ему тоже было приятно, что штаб остался на месте. Внешнее

неблагоразумие такого шага было на самом деле высоким благоразумием, тем, которое на войне так часто не совпадает с, казалось бы, ясными на первый взгляд требованиями здравого смысла.

По дороге от Проценко к себе Сабуров зашел в блиндаж к Бабченко. Как передали ему в штабе дивизии, Бабченко звонил и просил его зайти.

Бабченко сидел за столом и трудился над составлением донесения.

— Садись,— сказал он, не поднимая головы и продолжая заниматься своим делом. Это было его привычкой,—он никогда не прерывал начатой работы, если приходили вызванные им подчиненные. Он считал это несовместимым со своим авторитетом.

Сабуров, успевший уже привыкнуть к этому, равнодушно попросил у Бабченко разрешения выйти покурить. Едва он вышел за дверь во вторую комнату блиндажа, как ему навстречу попался воевавший в дивизии с начала войны командир роты связи старший лейтенант Еремин.

— Здравствуй,— сказал Еремин Сабурову и крепко тряхнул его за руку.— Уезжаю.

— Куда уезжаешь?

— Отзывают учиться.

— Куда?

— На курсы при Академии связи. Странно, что из Сталинграда, но приказ есть приказ,— еду. Зашел проститься с подполковником.

— Когда едешь?

— Сейчас. Вот катерок будет, и поеду.

Сабуров, подумав, что если не его появление, то хотя бы приход Еремина, которого Бабченко давно знал и с которым ему приходилось теперь прощаться, заставит командира полка оторваться от писания бумаги, вошел в комнату вслед за Ереминым.

— Товарищ подполковник,— сказал Еремин,— разрешите обратиться?

— Да,— сказал Бабченко, не отрываясь от бумаг.

— Еду, товарищ подполковник.

— Когда?

— Сейчас еду, зашел проститься.

— Бумагу заготовили? — спросил Бабченко, все еще не глядя на Еремина.

— Да, вот она.

Еремин протянул ему бумагу.

Бабченко, все так же не поднимая глаз от стола, подписал бумагу и протянул Еремину.

Наступило молчание. Еремин, переминаясь с ноги на ногу, несколько секунд постоял на месте в нерешительности.

— Так вот, значит, еду,— сказал он.

— Ну, что ж. Поезжайте.

— Зашел проститься с вами, товарищ подполковник.

Бабченко наконец поднял глаза и сказал:

— Ну, что ж, желаю успехов в учебе,—и протянул Еремину руку.

Еремин пожал ее. Ему непременно хотелось сказать еще что-то, но Бабченко, пожав ему руку и больше уже не обращая на него внимания, опять уткнулся в свою бумагу.

— Так, значит, прощайте, товарищ подполковник,— еще раз нерешительно сказал Еремин и взглянул на Сабурова. Взгляд у него был не то чтобы обиженный, но растерянный. Он, собственно, не знал, как будет прощаться с Бабченко и в чем будет состоять это прощание, но во всяком случае не предвидел, что все произойдет до такой степени по-казенному.

— Прощайте, товарищ подполковник,— в последний раз сказал он совсем тихо.

Бабченко не расслышал. Он прилаживал к сводке чертежик и аккуратно по линейке проводил на нем линию. Еремин потоптался еще несколько секунд, медленно повернулся к Сабурову и, с сердцем пожав ему руку, вышел. Сабуров проводил его за дверь и там, у выхода из блиндажа, крепко обнял и поцеловал. Затем он зашел обратно к Бабченко.

Тот все еще писал сводку. Сабуров с раздражением посмотрел на него, на его упрямо склоненное лицо с начинавшим лысеть лбом. Сабуров не понимал, как мог подполковник, который провоевал с Ереминым год, вместе с ним рисковал жизнью, ел из одного котла, в случае нужды, наверное, спас бы его на поле сражения,— как он мог сейчас, ничего не почувствовав, так отпустить человека. Это было то бесчувствие к людям и к судьбе их после того, как они выбывали из части, которое Сабуров с удивлением иногда встречал в армии. Сабуров так ощущал на себе эту боль, только что перенесенную Ереминым, что, когда Бабченко, заинтересованный в том, чтобы узнать из первых рук, что делается в армии, наконец заговорил с ним,— Сабуров, против обыкновения, отвечал очень сухо, сдержанно, почти резко. Ему хотелось только одного: поскорее кончить разговор, чтобы Бабченко вновь уткнулся в свои бумаги и не смотрел больше на него, так же, как он не посмотрел на уходившего Еремина.

Возвращаясь в батальон, Сабуров по дороге подумал, что — странная вещь! — в том, что вдруг из Сталинграда в самые горячие дни человека брали учиться в Академию связи, несмотря на кажущуюся на первый взгляд ненужность этого, было в то же время ощущение общего громадного хода вещей, который ничем нельзя было остановить.

X

Дома, в батальоне, Сабурова ждал гость. За столом, против комиссара, сидел незнакомый человек, средних лет, в очках, с двумя шпалами на петлицах. Когда Сабуров вошел, оба — и незнакомец, и комиссар — поднялись.

— Вот, позволь представить тебе, Алексей Иванович,— товарищ Авдеев, из Москвы, корреспондент центральной прессы.

Сабуров поздоровался.

— Из Москвы,— сказал он с интересом.— Давно?

— Вчера утром был еще в Москве на Центральном аэродроме,— сказал Авдеев.

— По-моему, я ваши статьи читал иногда в «Известиях», да?

— Да, главным образом, там.

— Вчера еще в Москве, а сегодня здесь,— с некоторой завистью сказал Сабуров.— Ну, как там Москва без нас?

Авдеев улыбнулся. Скольких бы он ни встречал людей, пожалуй, ни один не мог удержаться от этого вопроса.

— Ничего, стоит,— сказал он.— Как была, так и стоит.— ответил он той же фразой, какой отвечал всегда на этот вопрос.— А вы что — москвич?

— Нет, я там учился. Вы уже давно у нас?

— Как только ты ушел,— сказал Ванин,— так он и явился. Мы уже тут немножко поговорили...

— Кто же вас к нам направил?

— Командир вашей дивизии. Впрочем, мне еще во фронте посоветовали заехать именно к вам.

— Ну? — сказал Сабуров.

— Да, к вам, в батальон Сабурова.

— Ишь как, уже официальное наименование мы получили,— сказал Сабуров, стараясь под грубоватой шутливостью скрыть свое удовлетворение.— Что же вам там сказали, когда отправляли к нам? — спросил он прямодушно. — Интересно все-таки.

— Сказали, что вы решительной атакой отбили три дома и площадь и с тех пор за шестнадцать суток ничего не отдали немцам.

— Это верно, не отдали,— сказал Сабуров,— хотя, впрочем, последнюю неделю они и не особенно собирались брать. Вот если бы вы попали к нам дней семь-восемь тому назад, вам бы, пожалуй, было интересно. А сейчас тихо.

Авдеев улыбнулся. Сколько раз в своей жизни фронтового корреспондента он слышал эти слова: «Вы бы приехали к нам пораньше...» Людям всегда казалось, что все, что у них происходит сейчас — не самое интересное, что заслуживающее внимание у них или уже было или еще только будет.

— Ничего,— сказал он,— я посижу у вас, соберу материал. Это даже хорошо, что тихо, можно будет с людьми поговорить.

— Да,— согласился Сабуров,— тогда бы не поговорили.

Они посмотрели друг на друга.

— Ну, что про Сталинград пишут, что говорят вообще? — спросил Сабуров с жадностью человека, давно не видавшего газет.

— Много пишут,— сказал Авдеев,— а еще больше говорят, а еще больше думают... Я недавно был на Северо-западном фронте, там многие командиры просто изводятся: вот сидим тут, в то время, как в Сталинграде... И в большинстве случаев, знаете, не сомневаются, что здесь ад, и все-таки искренно хотят сюда ехать.

— Вы к нам надолго? — спросил Сабуров.

— Да, нет, на денек — на два, потом еще на южный участок...
— Правильно,— сказал Сабуров,— там сейчас горячее.
— С кем вы посоветуете поговорить у вас?
— Ну с кем же?.. Вот с Конюковым можно поговорить. Есть у нас такой старый солдат. По ротам можно сходить, Гордиенко — командир первой роты или хотя бы Масленников — мой начальник штаба, молодой, но очень хороший командир,— вам командиры тоже нужны?
— Конечно.
— Тогда с Масленниковым поговорите.
— Я с вами хочу поговорить,— сказал Авдеев.
— Со мной? Можно и со мной поговорить,— ответил Сабуров,— только со мной потом, с батальоном познакомьтесь сначала. Ведь командира батальона узнать можно, только узнав, какой батальон у него. А что он сам про себя расскажет — это дело второе. Верно, комиссар? — улыбнувшись, обратился он к Ванину.
— Верно,— сказал Ванин.— А то, что сам командир батальона забудет о себе рассказать, то я напомню,— кивнул он Авдееву.
— Сколько времени? — поглядел на часы Сабуров.— Четыре часа. Долго я провозился... Надо спать. Как вы?
— Да, я тоже непрочь,— согласился Авдеев.
— Мы вам, если вы останетесь, завтра сюда койку притащим, а сегодня уж вы с начальником штаба или с комиссаром,— они у меня телосложения незавидного, так что поместитесь. Положил бы с собой, но боюсь, что прогадаете.
— Да, боюсь, что так,— согласился Авдеев, поглядев на могучую фигуру Сабурова.
Сабуров уже совсем собрался укладываться спать и стоял посреди комнаты, размышляя над тем, где бы достать еще одно одеяло для гостя. Вдруг его взгляд упал на стоявшую на столе фляжку, и ему, что редко с ним бывало, вдруг захотелось выпить, вот именно выпить и потом посидеть, задавая этому человеку из Москвы всякие вопросы, которые сразу не пришли в голову.
— А вам очень хочется спать? — сказал он.
— Да нет, не очень
— Тогда, может быть, все-таки... Ты кормил его, комиссар?
— Да, немножко кормил.
— Ну, если немножко, так это не называется кормил, значит, не кормил. Давайте поужинаем, если спать не очень хочется.
Пока Петя собирал на стол, Сабуров один за другим задавал Авдееву короткие неожиданные вопросы.
— Как, баррикады стоят еще в Москве?
— Нет, разобрали.
— А укрепления есть? Прибавили к тому, что было?
— По-моему, прибавили, — сказал Авдеев.
— А люди там, на всякий случай, сидят?
— По-моему, сидят.
— Вот это хорошо. Тогда это, значит, действительно укрепления.... Все время сидят?

— По-моему, все время.
— Хорошо. А в опере вы бывали?
— Бывал.
— На чем?
— На «Евгении Онегине».
— Интересно, — сказал Сабуров. — Не то чтобы я хотел обязательно туда попасть, мне интересна не сама опера, а то, что она идет, то, что, как раньше, люди в зале сидят, вот что мне интересно. Одним глазом бы глянуть только... Я, знаете, вообще-то не люблю оперу.
— Я тоже, — сказал Авдеев.
— Певицы обычно все такие полные, а играют все девушек. Не вяжется никак. Может, сейчас, в связи с войной, они похудели, а?
— Нет, не похудели, — улыбнулся Авдеев.
— Ну, это ничего, — сказал Сабуров, — я когда глаза закрываю, — слушать все равно хорошо. Все-таки я бы туда хотел попасть. А милиционеры как, попрежнему в белых перчатках, а?
— Вот не заметил. Чего не заметил, того не заметил...
— Да это неважно, — сказал Сабуров, — хотя, впрочем, может быть, и важно. Машин, наверное, стало меньше в Москве?
— Меньше, а народу опять больше, не то, что в декабре. Вы были в декабре?
— Был. Хорошо было в декабре... Я один раз заехал на день. Москва была какая-то пустая, спокойная.
Петя принес сковородку с жареными консервами.
— Вот американские консервы, — сказал Сабуров, — прошу. Мы тут между собой, шутя, их вторым фронтом называем. Вы пьете? — сказал он с некоторым колебанием, ставя перед Авдеевым фугасник.
Авдеев уже привык к тому, что ему постоянно задавали этот вопрос даже на фронте, когда обычно человека не спрашивают—пьет он или не пьет. То ли его внешность научного работника средних лет, то ли сильные, с двойными стеклами, очки, которые придавали ему особенно интеллигентский вид, то ли медлительная манера разговаривать, — а может быть, и все это, вместе взятое, — заставляло людей, которые с ним не были близко знакомы, считать его за человека серьезного, пожалуй, даже скучного. При нем, казалось, было неудобно солоно пошутить, выругаться или выпить лишнее. В ответ на вопрос Сабурова, пьет он или не пьет, Авдеев, хитро сощурив под очками глаза, тихонько улыбнулся.
— Пью, конечно, — сказал он.
Они выпили по одному фугаснику, потом и по второму.
Сабуров страшно устал за день, и, против обыкновения, водка не то что ударила ему в голову, но создала в нем неожиданное ощущение теплоты, уюта и трогательности всего происходящего сейчас в блиндаже.
— Я вам советую завтра во вторую роту сходить, там у меня очень хорошие люди; особенно с Конюковым поговорите. Сами посмотрите, полазите. А вы знаете, — сказал он, останав-

ливаясь, как будто внезапная мысль пришла ему в голову, — вы знаете, хотя, быть может, мы тут большей опасности, в общем, чем вы, подвергаемся, но вам должно быть страшнее на войне.

— Почему?

— Ведь вы же свое дело делаете потом, когда в Москву вернетесь, или там, на телеграфе, в штабе, а тут только смотрите для того, чтобы потом написать. Мне почему не так страшно? Потому что я занят, мне дохнуть некогда; тут идет обстрел, мины рвутся, а я говорю по телефону—мне доложить нужно, но телефонист не слышит, я его матом, ну и, понимаете, за всем этим как будто и забудешь про мины. А вам же тут делать нечего: только сиди и жди- попадет или нет. Вот вам и страшней. И не возражайте, это же так.

— Да, может быть, вы и правы, — сказал Авдеев.

Они оба помолчали.

— Может, ляжем спать? — сказал Сабуров.

— Сейчас ляжем, — нехотя ответил Авдеев.

Ему не хотелось прерывать беседы. Он твердо убедился за год войны, что люди на войне стали проще, чище и умнее. Быть может, они остались в сущности теми же самыми, какими были, но хорошее у них выплыло на поверхность оттого, что их перестали судить по многочисленным и неясным критериям, то есть по тому, посещал ли человек собрания или нет, вежлив ли он, любезен ли, умеет ли поддерживать разговор, показывает ли внешние признаки внимания и добродушия... И вдруг наступила война, и все это оказалось не самым существенным, и люди перед лицом смерти перестали думать о том, как они выглядят и какими они кажутся, — на это у них не оставалось ни времени, ни желания.

— Ложитесь, ложитесь, — сказал Сабуров, — утро вечера мудренее, завтра поговорите с другими, сами найдите того, с кем стоит поговорить, у меня много хороших людей, почти все хорошие. Вам, наверное, часто от командиров приходится слышать эту фразу?

— Часто, — подтвердил Авдеев.

— Ну что ж, она правильная. Не знаю, какими были эти люди до войны и какими будут после нее, но сейчас они действительно почти все хорошие. И думаю, большинство останется хорошими, — те, конечно, кто будет жив. И знаете что? Я почти уверен в этом... Ну, будем спать.

Сабуров подошел к кровати, на которой, раскинувшись, лежал уже давно уснувший Ванин, приподнял его и переложил к краю.

— Зачем? — торопливо сказал Авдеев. — Разбудите.

— Нет, — сказал Сабуров, — будет спать. Вот если телефон зазвонит, так проснется сразу, а так можно хоть три раза перевернуть, я по себе знаю. Ложитесь, полкровати свободно.

Авдеев снял сапоги и, не раздеваясь, лег, накрывшись шинелью.

Сабуров сел на свою кровать, снял гимнастерку, брюки, аккуратно сложил все, поставил сапоги и вложил в них сверху портянки. Потом, накрывшись одеялом, закурил.

— Я, когда можно, всегда раздеваюсь, — сказал он. — Я когда-то на границе служил, так у меня все по старой пограничной привычке сложено в порядке, одеться мне пятьдесят секунд, высчитано. По-моему, война еще надолго. Вот сплю под одеялом... Что, не одобряете? — улыбнулся он.

— Нет, одобряю, — сказал Авдеев, — одобряю и желаю спокойной ночи.

Сабуров откинулся на подушку и несколько раз подряд затянулся. Ему не спалось. Дверь блиндажа была, очевидно, открыта, и снаружи доносился равномерный унылый шелест дождя, быть может, последнего в этом году.

XI

Рано утром Авдеев с Ваниным ушли в первую роту. Сабуров остался: он хотел воспользоваться затишьем и сделать те дела, которые обычно сделать не поспевал. С самого утра они два или три часа просидели с Масленниковым за составлением различной военной отчетности, часть которой была действительно необходимой, а часть казалась Сабурову лишней и заведенной только в силу давней мирной привычки ко всякого рода канцелярщине.

Когда Масленников ушел, Сабуров сел за давно отложенное и тяготившее его дело — за ответы на письма, пришедшие к мертвым. Как-то так уже повелось у него почти с самого начала войны, что он брал на себя трудную обязанность отвечать на эти письма. Его всегда огорчало, что мы стараемся, когда человек умирает, как можно дольше не ставить об этом в известность его близких, как можно дольше тянуть с ответом, и если возможно, то и вообще не отвечать. Эта кажущаяся доброта всегда представлялась ему по существу ничем иным, как просто желанием пройти мимо чужого горя, постаравшись не коснуться его, чтобы не сделать больно самому себе.

Первым было письмо жены Парфенова.

«Петенька, милый, — писала жена Парфенова (оказывается, его звали Петей), — мы все без тебя скучаем и ждем, когда кончится война, чтобы ты вернулся... Галочка стала совсем большая и уже ходит сама, и почти не падает...»

Сабуров внимательно прочел письмо до конца. Оно было не длинное, — привет от родных, несколько слов о работе, пожелание поскорее разбить фашистов, в конце две строчки детских каракуль, написанных старшим сыном, и потом несколько нетвердых палочек, сделанных детской рукой, которой водила рука матери, и приписка: «А это написала сама Галочка...»

Что ответить? Всегда в таких случаях Сабуров знал, что ответить можно только одно: он убит, его нет, — и все-таки всегда он неизменно думал над этим, словно писал ответ в первый раз. Что ответить? В самом деле, что ответить?

Он вспомнил маленькую фигурку Парфенова, лежавшего навзничь на цементном полу, его бледное лицо и подложен-

ные под голову полевые сумки. Этот человек, который погиб у него в первый же день боев и которого он до этого очень мало знал, был для него только товарищем по оружию, одним из многих, слишком многих, которые дрались рядом с ним и погибли рядом с ним, тогда как он сам остался цел. Он привык к этому, привык к войне, и ему было просто сказать себе: вот был Парфенов, он сражался и умер. Но там, в Пензе, на улице Маркса, 24, эти слова — «он умер» — были катастрофой, потерей всех надежд. После этих слов там, на улице Карла Маркса, 24, жена переставала называться женой и становилась вдовой, дети переставали называться просто детьми,— они уже назывались сиротами. Это было не только горе, это была полная перемена жизни, всего будущего. И всегда, когда он писал такие письма, он больше всего боялся, чтобы тому, кто прочтет, не показалось, что ему, писавшему, было легко. Ему хотелось, чтобы тем, кто прочтет, казалось, что это написал их товарищ по горю, человек, так же горюющий, как они,— тогда легче прочесть. Может быть, даже не то: не легче, но не так обидно, не так скорбно прочесть...

Людям иногда нужна ложь, он знал это. Они непременно хотят, чтобы тот, кого они любили, умер героически или, как это пишут, пал смертью храбрых... Они хотят, чтобы он не просто погиб, чтобы он погиб, сделав что-то важное, и они непременно хотят, чтобы он их вспомнил перед смертью.

И Сабуров, когда отвечал на письма, всегда старался утолить это желание, и, когда нужно было, он лгал, лгал больше или меньше—это была единственная ложь, которая его не смущала. Он взял ручку и, вырвав из блокнота листок, начал писать своим быстрым размашистым почерком. Он написал о том, как они долго служили вместе с Парфеновым, как Парфенов героически погиб здесь, в ночном бою, в Сталинграде (что было правдой), и как он, прежде чем упасть, сам застрелил трех немцев (что было неправдой), и как он умер на руках у Сабурова, и как он перед смертью вспоминал сына Володю и просил передать ему, чтобы тот помнил об отце.

Закончив письмо, Сабуров взял лежавшую перед ним фотографию и, прежде чем вложить в конверт, посмотрел на нее. Она была снята еще в Саратове, где они формировались, у уличного фотографа: маленький Парфенов стоял, вытянувшись в воинственной позе, придерживая рукой кобуру нагана,— наверное, на этом настоял фотограф.

Следующее письмо было сержанту Тарасову из первой роты. Сабуров знал только мельком, что Тарасов тоже погиб в первом же бою, но как и при каких обстоятельствах — не знал. Это было простое письмо из деревни, письмо крестьянки, написанное крупными буквами на клетчатой тетрадочной бумаге, с упоминанием всех родных,—короткое обычное письмо, в котором однако за каждой буквой его чувствовались любовь и тоска, неумело выраженные, но от этого не менее сильные... И, отвечая на это письмо, не зная, как погиб Тарасов, Сабуров все-таки написал, что тот был хорошим бойцом, погиб смертью храбрых и что он, командир, гордился им,

Окончив это, Сабуров взялся за третье письмо и, дописав его до конца, позвонил в первую роту, где были сейчас комиссар и Авдеев.

— Уже пошли к вам, — сказал в телефон командир роты Гордиенко.

— Очень лазили? — спросил Сабуров.

— Порядочно.

Сабуров услышал, как Гордиенко усмехнулся в телефон, и, положив трубку, облегченно вздохнул.

Обедали вчетвером: кроме комиссара и Авдеева, подошел и Масленников. Ванин был таким, как всегда. Что же до Авдеева, то он устал и, вернувшись в штаб, был полон той радостной облегченностью, какая появляется у человека на войне тогда, когда чувство опасности переходит в чувство относительной безопасности.

За обедом он заговорил как раз об этом.

— Вы знаете, откровенно сказать, чувство опасности и возможности умереть — утомительное чувство, от него устаешь, не правда ли?

— Правда, — сказал Сабуров.

— Солдат мне иногда напоминает, — сказал Авдеев, — водолаза, которого опускают постепенно, все время увеличивая давление. Также и тут, постепенно увеличивается опасность и возрастает привычка к ней. В тылу часто не понимают, что опасность не есть величина постоянная, что на фронте все относительно. Когда после атаки солдат попадает в окоп, окоп кажется ему безопасностью, когда я из роты прихожу в батальон, мне ваша эта нора кажется крепостью, когда вы попадаете в штаб армии, вам кажется—там тишина, а на том берегу Волги, хоть его и обстреливают, для вас курорт или почти курорт, между тем как для человека, который первый раз туда попал из тыла, уже тот берег кажется страшной опасностью. Как по-вашему, верно я говорю?

— Верно, конечно, — сказал Сабуров, — с той поправкой для Сталинграда, что здесь иногда штаб армии находится так же близко от немцев и в такой же опасности, как мы, или даже, учитывая сегодняшнее затишье у нас, даже в большей, чем мы.

После обеда Сабуров взял шинель и, надевая ее, без всякой задней мысли сказал:

— Ну, я пойду во вторую роту...

Но Авдеев воспринял это как приглашение или, может быть, даже вызов. Он тоже поднялся и молча надел шинель.

— А вы куда?

— С вами, — сказал Авдеев.

Сабуров посмотрел на его усталое лицо, хотел возразить, но потом понял, что если этот человек принял простые, не относившиеся к нему слова за предложение итти, то теперь, если отговаривать его, он все равно настоит на своем. И, питая неприязнь к лишним разговорам, Сабуров просто сказал:

— Ну, хорошо, пойдемте.

Второй ротой попрежнему командовал сибиряк Потапов. Увидев Сабурова с незнакомым человеком, должно быть, из

штаба, Потапов, по укоренившейся у фронтовиков в дни затишья привычке, начал с того, что пригласил их к себе в блиндаж закусить чем бог послал.

— Ничего особенного, правда, нет, — наши сибирские пельмени, только и всего.

Сабуров знал, что если уж у Потапова есть пельмени, то это отличные пельмени. И вообще в тоне, которым было сказано Потаповым «ничего особенного», было то особое фронтовое щегольство, с которым младшие начальники приглашали к столу старших, повсюду, начиная с роты и кончая армией. Всегда, когда это было мало-мальски возможно, они старались устроить так, чтобы у них повар был лучше, чем у начальства, и готовил вкуснее... И надо сказать, это им часто удавалось.

Отказавшись от пельменей, Сабуров и Авдеев пошли по окопам.

Отделение, которым командовал Конюков, находилось в окопе, за передней стеной дома. Окоп был вырыт под самой стеной, вдоль фундамента, и хорошо замаскирован наваленными обломками кирпичей и землей.

Два хороших хода сообщения шли из окопа назад под дом, где была вырыта покрытая обгорелыми бревнами землянка. Два пулеметных гнезда были аккуратно устроены, места для стрелков тоже, причем слева всюду были сделаны земляные полочки, где лежал всякий солдатский припас: котелки, табак и прочее.

— Курите, курите, — сказал Сабуров, когда собравшиеся перекурить бойцы вытянулись при его появлении.

— Насыпай табачок да кури, землячок, — сказал в рифму Конюков.

Все кругом засмеялись, и Сабуров почувствовал, что разговор в рифму не случайность, что, видимо, Конюков часто щеголяет этим.

— Ну, как живешь, Конюков? — спросил Сабуров.

— Хорошо, товарищ капитан.

В Конюкове не исчезла дисциплинированность, но некоторая излишняя деревянность сейчас, после полумесяца боев, смягчилась в нем. Среди опасностей он стал чувствовать себя невольно более на товарищеской ноге с начальством.

— Как, привык к бомбам?

— Так точно, привык. Ежели к ним тут не привыкнуть, так, разрешите доложить, в Волге топиться надо. Уж он («он» — на солдатском языке неизменно означало — немец), уж он бросает их, бросает, приучает, приучает, как же тут не привыкнуть!

— Вот старший сержант Конюков, — сказал Сабуров, повернувшись к Авдееву. — За храбрость представлен мной двадцать седьмого числа к ордену.

Конюков счастливо улыбнулся. Собственно говоря, он уже слышал от командира роты, что его представили к ордену, но то, что сейчас командир батальона вслух повторил это при всех его бойцах, было ему особенно приятно. Как это часто бывает с людьми в минуту волнения, он вспомнил не то, что нужно было сказать сейчас, а то, что въелось в него еще

издавна, еще с действительной, и вместо «Служу Советскому Союзу» рявкнул: «Рад стараться...», с трудом в последнюю минуту прикусив язык, чтобы фраза не выскочила полностью с «вашим благородием».

— Вот товарищ батальонный комиссар — из Москвы, — сказал Сабуров.— Расскажи ему, Конюков, чем ты двадцать седьмого отличился, а мне дай пока бинокль.

Конюков снял с груди и передал капитану большой цейсовский бинокль, подобранный им еще в первый день взятия дома. Он неизменно носил бинокль на груди, что придавало ему почти командирский, во всяком случае не совсем солдатский вид. Он сам это чувствовал и сейчас отдавал бинокль Сабурову с некоторым душевным трепетом, ибо еще с той войны знал, что занимательные и полезные трофеи начальство любит отбирать у подчиненных для себя.

Пока Сабуров, примостившись за выступом стены, внимательно рассматривал в бинокль развалины соседней улицы, Конюков неторопливо приступил к рассказу. Двадцать седьмое число он и сам считал своим особенно удачным днем, и рассказывать об этом ему доставляло удовольствие.

Двадцать седьмого он был связным и семь раз засветло переползал по открытому месту из второй роты в первую и обратно, там, где все остальные связные были убиты. Рассказывал он об этом со свойственной старым солдатам особой картинностью изображения.

— Ползу, значит, это я, а пули так поверх меня и летят, и летят, а у меня на спине тощий такой вещевой мешочек, и в нем табачок да хлебушко, потому что хлебушко да табачок, хотя и легче без них ползти, но оставлять нельзя—не знаешь, куда ползешь, вдруг обратно не приползешь... Или ранят посередь дороги, опять же перекурить надо и хлебушка пожевать... И котелок у меня за спиной поверх мешка, потому что нет едока, чтобы он был без котелка,— опять срифмовал он.— Ползу, и так у меня котелок мотается из стороны в сторону, гремит. И не потому гремит, что привязан плохо, а потому что пули по нему бьют,— он же высоко,— ползу и вдруг чувствую, что на спине у меня горячо... Ну, на спине горячо... Вытащил нож, чиркнул по ремню и отрезал мешок. Свалился он рядом со мной и дымится; он его, значит, зажигательной пулей прожег. И тут я засмеялся,— мне смешно стало, потому что, думаю, что я танк, что ли, что он у меня башню поджег... Ну, скинул мешок и дальше пополз, а табак пропал, сгорел. Опять дальше ползу... Совсем ровное место, а грязно было, слякоть, и до того ползу к земле тесно, что грязь аж в голенища залезает. А он еще и еще по мне бьет. Ну, я уж совсем к земле прижимаюсь...

Тут он оглянулся на внимательно слушавших его бойцов. Они слушали не в первый раз, и на лицах их изобразилась в этом месте готовность улыбнуться: они предвидели, что здесь будет уже известная им неизменно доставлявшая удовольствие шутка.

— Ползу и до того тесно к земле прижимаюсь, как по первому году к молодой жене не прижимался, ей-богу, вот те крест,— серьезно перекрестился Конюков под хохот окружа-

ющих.— А потом я за развалину заполз, так он меня из пулемета взять не может и в живых отпустить тоже не хочет; обидно ему,— вторую войну все в меня целит, а попасть не может, промахивается. Ну и начал он в меня мины бросать. А кругом грязища... Мина разорвется, а осколки кругом меня шлепают, как будто овцы по грязи идут...

— Ну, вы еще тут пока поговорите,— сказал, прерывая Конюкова, Сабуров,— я сейчас вернусь.— И, отдав обрадованному Конюкову бинокль, вылез из окопа и пополз в соседний взвод.

Минут через тридцать, когда он собирался вернуться, он услышал слева от себя, там, где было отделение Конюкова, несколько длинных пулеметных очередей из «максима». Он не успел подумать, с чего бы это вдруг, как сейчас же одна за другой пять или шесть немецких мин просвистели над его головой и разорвались, примерно, там, где был Конюков. Выждав с минуту, Сабуров пополз обратно. Он застал Конюкова и Авдеева сидящими друг против друга в окопе.

— Вот видишь, я же говорил,—рассудительно произнес Конюков:— как мы по ему стеганули, так и он по нас.

— Ну и правильно,— отвечал несколько взволнованный Авдеев.— Вот и правильно, так и надо...

— В чем тут дело?— спросил Сабуров.— Ни в кого не попало?

— Нет, вот только ихнюю фуражечку попортило,— сказал Конюков, приподнимаясь и насмешливо двумя пальцами беря с края окопа лежавшую там донышком вниз фуражку Авдеева.— Они ее, как целиться стали, сняли и вот положили. А немец, аккурат, как яйца в лукошке, туда осколки и насыпал.

Действительно, на дне фуражки лежало два мелких осколка мины, попавших туда уже на излете и не прорвавших фуражки насквозь, а только немножко поцарапавших ее, так, словно ее проела моль.

Сабуров, вытряхнув осколки, посмотрел на фуражку:

— Все скажут—моль проела, никто не поверит вам, если скажете, что осколки попали.

— А я и не буду рассказывать,— сказал Авдеев.

— Значит, это вы стреляли?— спросил Сабуров.

— Я... Вот по тем развалинам. Они мне сказали, там немцы сидят...

— Сидят, так точно,— подтвердил Конюков,— оттого и ответ дали, что сидят.

— Вот видите,— сказал Авдеев,— была тишина, и сразу нет. А отчего редко стреляете? Патроны бережете?

— Чего патроны,— сказал Конюков,— не патроны бережем, а чего же стрелять, пока его не видно. Как видно будет, так и будем стрелять, а то ж не видно...

— Кончили разговор? — спросил Сабуров.— Кончили? Ну и хорошо, тогда пойдемте.

Когда они шли к потаповскому блиндажу, Авдеев повернулся к Сабурову и вдруг сказал:

— А знаете, ведь я нарочно, принципиально, из пулемета стрелял.

— Что, самому немца захотелось убить?

— Нет, вы не сердитесь, может быть, я вмешиваюсь в ваши дела, но мне показалось, что это неправильно...

— Что неправильно?

— Что вот такая тишина. Это вроде перемирия.

— Почему?

— Нет,— сказал Авдеев,— может быть, это и верно, что, пока не видно немцев, в них не стреляют, но мне показалось, что еще и от другого не стреляют.

— Отчего?

— Оттого, что не хотят, чтобы отвечали,— хотят, чтобы тихо было. Я вот дал несколько очередей, и немцы сразу мины выпустили. Еще дать несколько очередей — они опять выпустят мины. А то получается: мы не будем стрелять, и они не будут стрелять, по-моему, это нехорошо. Как, по-вашему?

— Да, пожалуй.

— Мне почему это в голову пришло?— сказал Авдеев.— Я на Западном фронте этой весной наблюдал, как после наступления затишье было, и вот так же молчали, иногда больше чем нужно, по-моему...

— Да, может быть, вы и правы,— задумчиво сказал Сабуров и про себя подумал, что этот человек и в самом деле, очевидно, прав. После тяжелых боев и постоянной ежеминутной возможности умереть солдатам, да, пожалуй, и ему самому, иногда, может быть, подсознательно хотелось хоть немножко не нарушать тишины, не обмениваться, пока это возможно, пулеметными очередями и минами. Это было естественно, и в то же время этого нельзя было делать. «Он прав,— подумал Сабуров.— Надо будет приказать, чтобы, помимо ночных вылазок, днем не только отвечали на немецкий огонь, но и от времени до времени беспокоили немцев даже бесприцельным огнем, так просто, чтобы нервировать их».

Когда они добрались до блиндажа Потапова, Потапов, встретивший их на пороге, опять заговорил о пельменях.

— Ну, очень прошу, хотя бы ради приезда гостя, а, товарищ капитан?— начал Потапов, и именно в эту секунду сразу три или четыре тяжелых снаряда разорвались позади блиндажа.

Сабуров толкнул Авдеева в блиндаж, а, сам, прижавшись к стенке, стал ждать. Вслед за первыми спереди и сзади обрушилось еще десятка полтора снарядов, потом начали рваться мины, и снова снаряды, и снова мины, и так продолжалось минут пятнадцать.

Стараясь перекричать шум, Потапов уже давал приказания связным, и те по ходам сообщения бежали во взводы.

Сабуров поглядел на небо. Построившись аккуратным гусиным клином, шли немецкие бомбардировщики. Он прикинул на-глаз: отсюда, издали, трудно было разобрать, но казалось, что их не меньше шестидесяти.

После минутной паузы начала снова бить артиллерия. Сзади блиндажа вздымались черные фонтаны.

— Вот и кончилось затишье,— тихо сказал Сабуров, скорее себе, чем Авдееву.— Потапов,— позвал он.

— Слушаю.

— Товарищ батальонный комиссар останется у вас, пока не кончится артподготовка. Выберете паузу и пошлете его с автоматчиком ко мне. Я пойду в батальон.

— Товарищ Сабуров, я с вами.

— Нет,— резко сказал Сабуров.— Сейчас мы с вами дискуссировать не будем. Потапов выберет минуту и пошлет вас с автоматчиком.

— А не лучше ли...

— Все. Не спорьте. Здесь хозяин я. Петя, пошли...

И, выскочив из окопа, Сабуров и Петя быстрыми перебежками двинулись к дому, где помещался штаб батальона.

Затишье действительно кончилось, и Сабуров, переползая от воронки к воронке, подумал о том, что если самое большее через пятнадцать минут не начнется немецкая атака,— значит, он еще ничему не научился на этой войне.

XII

Было утро. После затишья шли уже пятые сутки боев. Сабуров, пятую ночь спавший кое-как, проснулся от грохота канонады. Быстро, еще не открывая глаз, он пошарил рядом с собой свалившуюся с койки шинель, натянул ее и только тогда, сев на койку, открыл глаза. В первый раз за всю войну он почувствовал головокружение: в воздухе плясали огненные точки, потом они превращались в сплошные огненные круги и вертелись перед глазами. Сегодня это было особенно некстати: предстоял трудный день,— трудный и вообще, и еще потому, что ночью надо было итти на рекогносцировку. Вчера вечером батальонный разведчик казанский татарин Юсупов, бывший борец, коренастый человек атлетического телосложения, кроме обычного «языка», принес еще интересные сведения. Судя по его рассказу, за южными развалинами (так теперь в батальоне называлось бывшее здание заводского клуба) оставался свободный проход, не охраняемый немцами. Юсупов беспрепятственно лазил по нему уже вторую ночь и уверял, что если обмотать чем-нибудь сапоги и не греметь автоматами, то можно через этот проход выбраться дворами в тыл немцам и ночью перебить и перерезать целую роту. Перебить целую немецкую роту было достаточно соблазнительным делом, но, хотя Сабуров и доверял рассказам Юсупова, однако, прежде, чем пойти на такое предприятие, он хотел лично удостовериться в возможности его. Сегодня на одиннадцать часов вечера он назначил предварительную рекогносцировку, на которую вместе с Юсуповым решил пойти сам. И вот он опять не выспался, хотя в эту ночь, готовясь к рекогносцировке, специально хотел выспаться. И еще это чортово головокружение... Впрочем, впереди был еще целый день, и, в конце концов, всего тяжелее всегда с утра, пока не расходишься, не разомнешь кости.

Он поднялся, подошел к лампочке и, взяв со стола зеркало, посмотрелся в него. «Сегодня можно еще не бриться», — подумал он. Собственное лицо показалось ему уже не бледным, а зеленым. В блиндаже было душно и вместе с тем сыро, со стен текло. Кладя на стол зеркало, он уронил его, и оно, упав на пол, разбилось. Он подобрал самый большой осколок, в который можно было еще смотреться, и положил обратно на стол.

«Разбить зеркало — дурная примета, говорят, к беде». Он усмехнулся. В самом деле, война сейчас была такая, что все дурные приметы и сны неизменно исполнялись. Не одно, так другое несчастье или беда приходили каждый день. Да, стать суеверным в таких условиях не трудно. Он вспомнил, как позавчера Авдеев, уже выйдя из блиндажа, вернулся в него за полевой сумкой и тоже рассмеялся тогда, что это к несчастью, а вечером ему прострелили руку выше локтя, и его пришлось отправить на тот берег.

Он свернул цыгарку и чиркнул спичку. Спичка не зажглась. Он чиркнул еще и еще, подряд штук десять. Плюнув, бросил на пол и цыгарку и спичечную коробку. В блиндаже скопилось столько углекислоты, что спички не загорались. Он перешел сюда позавчера. В первый же день немецкого наступления после затишья у него разбило несколькими прямыми попаданиями подвал котельной. Он перешел в другой, но на следующий день к вечеру разбило и другой. Тогда он перебрался сюда.

Этот блиндаж был еще глубже подвала. Здесь лежали когда-то канализационные трубы, уходившие под землю. Саперы расширили за одну ночь отверстие и сделали блиндаж. За пять дней третий командный пункт. Он не мог понять, — то ли немцам начало неслыханно везти, то ли у них здесь, в его батальоне, были свои глаза и уши. Он невольно старался отмести эту мысль. По своему складу души он любил верить людям и не хотел поддаваться мысли о предательстве. Ему казалось, что сейчас, вот здесь, в Сталинграде, где они все равны перед лицом смерти, предательства среди них не может быть. Нет, это простая случайность, дикое совпадение. Бывают же на войне, в конце концов, и такие именно дикие совпадения...

Он вышел из блиндажа, по ходу сообщения добрался до наблюдательного пункта и оттуда стал руководить отражением атаки. Телефонная связь с ротами рвалась три раза, за час убило двух связистов. Наконец немцев отбили. День обещал быть трудным. Сабуров вернулся в блиндаж, позвал Масленникова и отдал приказания, необходимые для отражения новых атак. Едва он успел поговорить с Масленниковым, как к нему в блиндаж влез знакомый военюрист из дивизии, следователь прокуратуры. Сабуров, поднявшись с койки, поздоровался с ним.

— Что, — спросил он, — со Степанова допрос снимать будете?

— Да.

— Горячо сегодня, не время.

— Ну что ж — не время. Все время не время, неизвестно, когда время будет,— возразил следователь.— Ничего не поделаешь.

— Отряхнитесь,— сказал Сабуров.

Следователь только теперь заметил, что был весь в грязи.

— Ползли?

— Да.

— Хорошо, что благополучно.

— Да, почти,— сказал следователь.— У вас сапожника нет в батальоне?

— А что?

— Да вот осколком, как насмех, полкаблука оторвало.

Он вытянул ногу: у сапога действительно было аккуратно отрезано полкаблука.

— Нет сапожника. Был один, вчера ранили. Где же Степанов? Петя,— кивнул Сабуров,— проводи товарища командира к дежурному, там у него за помощника Степанов сидит,— боец, знаешь?

— Знаю.

— Как, помощник дежурного?— удивился следователь.

— А что же мне с ним делать? Охрану возле него ставить? У меня и так людей нет.

— Так он же под следствием.

— Так что же, что под следствием. Говорю вам—нет людей. Тут мне, в ожидании ваших решений, его охранять некем и, по совести говоря, на этот раз, по-моему, не для чего...

Следователь вышел вместе с Петей. Сабуров, глядя им вслед, подумал, что война изобилует странными положениями, почти нелепыми. Конечно, этот следователь делает свое дело, и Степанова, быть может, и надо отдать под суд, но вот следователь приполз допрашивать здесь... Для того, чтобы снять допрос, он рисковал жизнью... Его пять раз могли убить по дороге, и, когда он будет допрашивать, его тоже могут убить, и когда он пойдет обратно в дивизию и, может быть, возьмет с собой Степанова, то Степанова и его на обратном пути совершенно одинаковым образом могут убить. А между тем все это, вместе взятое, как будто происходило по правилам, так, как и должно было происходить.

Забрав Степанова из дежурки и для порядка взяв конвоира, следователь устроился в полуподвале с обвалившимися окнами и просвечивающим сквозь дыру в перекрытии небом. Стена была в двух местах насквозь пробита снарядами, на каменном полу застыли темные пятна крови,— наверное, тут кого-нибудь убили или ранили.

Степанов сидел на корточках у стены, следователь—на кирпичах, посредине подвала. Он записывал, положив на колени планшет.

Степанов был колхозник из-под Пензы, боец второй роты. Ему было тридцать лет. Дома у него остались жена и двое детей. Его призвали в армию, и он сразу же попал в Сталинград. Вчера вечером, во время последней атаки немцев, когда он со своим напарником Смышляевым сидел в глубоком «ласточкином гнезде» и стрелял по танкам из длинного

противотанкового ружья, он промахнулся два раза подряд, и шедший из окопа танк, прогрохотав гусеницами над головой и обдав окоп запахом бензина и гари, прополз дальше. Смышляев закричал что-то непонятное, яростное, приподнялся и бросил вслед танку, под гусеницу, тяжелую противотанковую гранату. Она взорвалась, танк остановился, но в это время второй с тем же ревом пронесся над окопом. Степанов успел нырнуть глубоко в гнездо, и его только засыпало землей. Смышляев не успел. Когда Степанов приподнялся, вместе с землей в «ласточкино гнездо» свалился Смышляев, вернее, нижняя часть его, до пояса,— все, что было выше, было отрезано и раздавлено танком. Когда этот кровавый обрубок упал в окоп, рядом со Степановым, он не выдержал и, не думая больше ни о чем, пополз из окопа. Он полз все время к Волге, ничего не соображая, стремясь только отползти как можно дальше назад.

Ночью его нашли уже в расположении штаба полка. Он не был в состоянии что-либо скрыть и просто рассказал все, как было. Бабченко дал ему конвоира и с сопроводительной отправил обратно к Сабурову, послав по официальной линии в дивизию сведения о нем, как о дезертире.

Сабурову доложили об этом случае, но он в суматохе боя не успел поговорить со Степановым, а теперь по донесению Бабченко сюда уже явился следователь разбирать дело...

Степанов сидел перед ним и отвечал то же самое, что он отвечал вчера ночью Бабченко. Следователь, против обыкновения, медлил и задавал много вопросов. Происходило это от того, что он, в сущности, не знал, что делать со Степановым. Степанов был дезертир, но в то же время ничего преднамеренного он не сделал. С ним произошел шок: он не вынес ужаса и пополз назад. Может быть, если бы он дополз до берега Волги, он бы опомнился и вернулся обратно. Так думал следователь, так думал сейчас, придя в себя, и сам Степанов. Но факт дезертирства оставался фактом, и ради общего порядка оставить это безнаказанным было нельзя.

— Я бы обратно пришел, ей-богу,— после молчания, не ожидая новых вопросов, убежденно сказал Степанов.— Я бы и сам пришел...

В эту минуту беспрерывно гремевшая кругом канонада прекратилась и раздались близкие автоматные очереди. Петя, пробегавший через подвал от Сабурова к дежурному, крикнул на ходу:

— Немцы прорываются. Капитан приказал всем, кто с оружием, в бой,— и побежал дальше.

Следователь, немолодой и, в сущности, штатский человек, переодетый в военное, снял очки, протер стекла, снова надел их, и, взяв лежавший рядом с ним автомат,— оружие, с которым уже давно никто в дивизии не расставался,— неторопливо вылез через пролом наружу. Красноармеец, охранявший Степанова, в сомнении посмотрел на него, потом на пролом в стене, потом на Степанова и, спокойно сказав: «Ты посиди пока тут», вылез вслед за следователем.

Это была вторая за день решительная атака немцев, когда их автоматчики, человек двадцать или тридцать, через

стену забрались в самый двор дома. Во дворе шла перестрелка, в упор. Были подняты на ноги все, кто находился в штабе батальона и кругом него.

Сабуров сам выбрался наверх и руководил боем настолько, насколько вообще можно руководить рукопашной.

Минут через двадцать большинство немцев было убито, остальные были выбиты за ограду двора. Следователь и конвоир влезли обратно через пролом и устало опустились на кирпичи. У следователя из кисти руки, слегка задетой пулей, сочилась кровь.

— Надо перевязать,— сказал конвоир.

— У меня пакета нет.

— Нет?— сказал Степанов и, порывшись в кармане гимнастерки, вытащил оттуда индивидуальный пакет.

Он и конвоир вдвоем перевязали раненому руку. Потом Степанов отошел и снова присел у стены. Лишь теперь они вспомнили, что допрос был прерван атакой и что его, очевидно, надо продолжить. Но продолжать допрос следователю не хотелось. Чтобы протянуть время и отдышаться, он здоровой рукой вытащил из кармана кисет с табаком, с трудом, помогая себе забинтованными пальцами, свернул цыгарку, потом, посмотрев на Степанова и конвоира, машинально, с той автоматической привычкой делиться табаком, которая появляется у людей, долго пробывших на фронте, протянул им кисет:

— Берите.

Степанов, вслед за конвоиром, взял щепотку и, вытащив заботливо хранимый обрывок газеты, оторвал полоску и свернул цыгарку. Они все втроем закурили. Это молчаливое курение продолжалось минут десять. Тем временем снова началась канонада. Под звуки ее следователь стал наспех доканчивать допрос, с трудом придерживая планшет раненой рукой. Вскоре допрос был окончен, предстояло только сделать заключение. В эту минуту, так же как и в первый раз, канонада прекратилась и снова началась немецкая атака.

Заслышав автоматные очереди, следователь снова молча потянул к себе автомат, взял его в здоровую руку и, не оборачиваясь, вылез из подвала. Конвоир последовал за ним.

Степанов снова остался один. Он растерянно огляделся по сторонам. За стеной слышались близкие выстрелы. Степанов еще раз поглядел по сторонам и полез в пролом, следом за конвоиром. Выскочив наружу, он огляделся и, увидев рядом с лежавшим на земле трупом красноармейца винтовку, схватил ее. Пробежав несколько шагов, он лег за груду кирпичей, неподалеку от следователя и еще нескольких лежавших тут же бойцов. Когда левее него немцы выскочили из-за стены, он вместе со всеми начал стрелять по ним. Потом поднялся, пробежал несколько шагов и, перевернув винтовку, прикладом ударил по голове набежавшего на него автоматчика. Потом снова упал за камни и несколько раз выстрелил по двигавшимся в глубине двора немцам.

Немцы тоже стреляли. На этот раз во двор их пробралось человек десять, и через несколько минут они все были или убиты или ранены.

Атака отхлынула, выстрелы уже гремели далеко за стеной. Степанов встал и, не зная, что делать, подошел к стене, где лежали следователь и конвоир. Конвоир встал, но следователь продолжал лежать: он был ранен в ногу. Степанов поднял его, увидел, что нога, почти пересеченная автоматной очередью, сильно кровоточит, и, взвалив следователя на плечи, потащил в подвал. Там он опустил его на пол, подложив, чтобы было повыше, два или три кирпича в изголовье.

— Сходи за сестрой или санитаром,— сказал следователь Степанову.

Через несколько минут Степанов привел санитара, который, согнувшись над раненым, стал перевязывать ему ногу. Раненый не стонал. Он лежал молча и ждал, когда кончится эта боль.

Конвоир вытащил из-за голенища жестянку с махоркой, свернул цыгарку себе, потом дал щепотку Степанову и спросил раненого:

— Разрешите вам свернуть?

— Сверни,— сказал тот.

Конвоир свернул цыгарку, облизнул, заклеил и, вложив в рот раненому, зажег спичку. Раненый несколько раз подряд яростно затянулся.

По дороге к себе в блиндаж, через подвал, прошел Сабуров. Он сегодня окончательно устал. Несмотря на всю его физическую силу, ему было даже тяжело нести автомат, и он волочил его за собой прикладом по земле.

— Курите?— сказал он.— В углу рта его была зажата потухшая цыгарка, которую он закурил еще в блиндаже перед боем и так и забыл о ней.— Перекуриваете?— повторил он и вспомнил о своей потухшей цыгарке.— Дайте прикурить.

Только уже прикуривая у конвоира, он сообразил, что это за люди. Он посмотрел на Степанова, потом на раненого и спросил:

— Сильно задело?

— Порядочно.

— Сейчас скажу, чтоб вынесли вас, а то опять начнется.— Он с сочувствием посмотрел на белое, без кровинки, лицо следователя и, не зная, что добавить, спросил: — Что, с допросом-то хоть кончили?

— Да, кончили,—сказал следователь, кивнув на Степанова.

— Ну, и какое же ваше заключение?

— Какое же заключение,— сказал трибуналец. — Будет воевать. Вот и все.

Он взял планшет, вытащил оттуда протокол и написал внизу: «Состава преступления, достаточного для предания суду трибунала, нет. Отправить на передовые» и расписался.

— Отправить на передовые,— повторил он вслух и, превозмогая боль, улыбнулся, вспомнив все, только что происшедшее с ними.

— Да,— сказал Сабуров, в свою очередь усмехнувшись,— отправлять будет недалеко, шагов сто. Ну,— повернулся он к Степанову,— иди к себе в роту. Винтовка у тебя чья?

— С убитого взял, товарищ капитан.

— Ну, будет твоей. Можешь итти... Доложи Потапову, что я тебя прислал.

Был особенно тяжелый день, один из тех, когда напряжение всех душевных сил доходит до такой степени, что в самый разгар боя неожиданно и невыносимо хочется спать. После двух утренних атак в полдень последовала третья. В обращенной к немцам части двора высилось небольшое полуразрушенное складское здание. Было оно построено прочно, с толстыми стенами и глубоко уходившим в землю подвалом. Среди остальных зданий, занимаемых Сабуровым, оно стояло особняком, немного впереди и на отлете. Именно сюда и направили немцы свою атаку в третий раз.

Когда четырем или пяти танкам удалось подойти вплотную к складу и они, прикрывшись его стенами от огня артиллерии, стали стрелять из пушек прямо внутрь, немецкие автоматчики забрались через проломы, и через пятнадцать минут там прозвучал последний выстрел. Первое, естественное, желание Сабурова было попытаться тут же, среди белого дня, отбить склад. Но Сабуров сдержал себя. Он принял трезвое решение: сосредоточить весь огонь позади склада, не давая немцам до темноты втянуться туда крупными силами, а контратаку производить с темнотой, когда решимость и привычка к ночной штурмовой работе возместят ему очевидный недостаток людей.

Бабченко, которому он доложил по телефону о потере склада, ничего не ответил по существу, но долго и злобно ругался и в заключение сказал, что сейчас придет сам. Нельзя сказать, чтобы это обрадовало Сабурова. Он предчувствовал столкновение с Бабченко, и его опасения оправдались. Бабченко, согнувшись, влез в блиндаж, злой, потный, с головы до ног забрызганный грязью.

— Ишь, забрался,— сказал Бабченко.— Сколько метров над головой?

— Три,— сказал Сабуров.

— Ты бы еще глубже залез.

— А мне глубже не надо,— сказал Сабуров.— И так не пробьет.

— Залез в землю, как крот,— сказал Бабченко тем же злым голосом.

В сущности, он ничего не мог возразить Сабуров копал этот блиндаж не специально, а только расширил канализационные трубы, и то, что блиндаж его был глубоко и находился в безопасности даже от прямых попаданий, было только хорошо. Но в связи с тем, что немцы отбили склад, Бабченко хотел сказать Сабурову что-нибудь обидное.

— Закопался,— повторил он.

Сабуров сегодня устал, был зол и не меньше, чем Бабченко, расстроен потерей склада. Он чувствовал, что до самого вечера,— до тех пор, пока не удастся отбить склад обратно,— эта мысль, как заноза, будет мучить его, и поэтому в ответ на слово «закопался» сказал с вызовом:

— Что, товарищ подполковник, прикажете командный пункт наверх перенести?

— Нет,— сказал Бабченко, почувствовав в словах Сабурова иронию.— Склад отдавать не надо было, вот что.

Сабуров промолчал. Он ждал продолжения.

— А что думаешь делать?

Сабуров доложил свой план ночной контратаки.

— Что ж,— сказал Бабченко, посмотрев на часы.— Сейчас два. Значит, так и будут они до темноты там сидеть? Ты приказ читал, что ни шагу назад, а? Или, может быть, ты с приказом не согласен?

— В шесть часов я начну атаку,— стараясь сдержаться, сказал Сабуров,— а в семь склад будет у меня.

— Ты мне это не говори. Ты приказ читал, что ни шагу назад?

— Да,— сказал Сабуров.

— А склад отдал?

— Да.

— Сейчас же отбить!— крикнул Бабченко не своим голосом, вскакивая с табуретки.— Не в семь, а сейчас же!

По ему лицу и движениям Сабуров понял, что Бабченко был на той грани усталости и нервного исступления, на которой находился сегодня он сам. Спорить с Бабченко в эту минуту было бесполезно, и если бы дело шло лишь о том, что вот сейчас ему, Сабурову, было бы приказано итти одному к этому сараю среди белого дня,— то он бы встал и пошел, с горьким чувством, что если нельзя командиру полка доказать его неправоту ничем иным, кроме своей собственной смерти, то,— чорт с ним,— он, Сабуров, докажет ему это своей смертью. Но в контратаку сейчас нужно было вести людей, то есть надо было доказывать Бабченко, что он неправ, не только ценой собственной жизни, но и жизни других.

— Товарищ подполковник, разрешите доложить...

— Ну?

Сабуров еще раз повторил все мотивы, по которым он решил отложить атаку до ночи, и добавил, что он ручается за то, что в течение дня будет держать всю площадь за складом под таким огнем, что до ночи там внутри не прибавится ни одного немца.

— Ты приказ, чтобы ни на шаг не отступать, читал?— еще раз спросил Бабченко все с тем же беспощадным упрямством.

— Читал,— сказал Сабуров, вытягиваясь, не сводя глаз с Бабченко и встречая его взгляд таким же злым и беспощадным взглядом.— Читал. Но я не хочу сейчас людей класть там, где их не надо класть, где можно почти без потерь все взять обратно.

— Не хочешь? Я тебе приказываю.

У Сабурова вдруг мелькнула мысль, что надо вот сейчас же что-то сделать с Бабченко, заставить его замолчать, не дать ему больше повторять этих слов ради спасения жизни многих людей, позвонить Проценко и доложить ему, что делать так, как хочет Бабченко, нельзя, а потому—будь, что будеть—пусть с ним, с Сабуровым, делают, что хотят. Но

уже въевшаяся в кровь привычка к дисциплине помешала ему.

— Есть,— сказал он, продолжая все тем же беспощадным взглядом смотреть на Бабченко.— Разрешите выполнять?

— Выполняй.

Все, что произошло после этого, осталось надолго в памяти Сабурова, как дурной сон. Они вылезли из блиндажа, Сабуров в течение получаса собрал всех, кто был под рукой, Бабченко по телефону приказал поддержать контратаку пятью оставшимися еще в полку пушками, которые, впрочем, едва ли могли принести тут пользу. И контратака началась.

Хотя батальон начинал бои всего двадцать дней назад почти в полном составе, но сейчас, когда понадобилось днем, среди боя, организовать контратаку, Сабуров собрал вокруг себя тридцать человек. Это был весь резерв, на который он мог рассчитывать.

Бабченко торопил. Слова «ни шагу назад» он понимал буквально, не желая считаться ни с тем, что было, ни с тем, чего будут строить эти ненужные сегодняшние потери завтра, когда немцы снова пойдут в атаку. Атака не была подготовлена, к началу ее с левого фланга не успели перетащить даже минометы, которые хоть как-то могли помочь, а Сабуров со своими тридцатью бойцами, перебегая от стены к стене, от развалин к развалинам, уже пошел в атаку на дом.

Кончилось это так, как он и ожидал. Десять человек остались лежать между развалин. Остальные нашли себе каждый какое-нибудь укрытие неподалеку от склада, и никакая сила не могла заставить их подняться. Атака не удалась и, очевидно, в таких условиях не могла удасться.

Когда люди залегли, немцы стали засыпать их минами. Остаться здесь лежать где попало, за ненадежными укрытиями, означало верную смерть. Огонь все усиливался. Разорвавшаяся рядом мина слегка контузила Сабурова; вся левая половина лица вдруг сделалась чужой, словно набитой ватой. Обломками кирпича его оцарапало, по лицу текла кровь, но он ее не замечал. Когда огонь стал совершенно невыносимым, Сабуров, дав знак остальным, пополз обратно.

На обратном пути убило еще одного. Через час после начала этой затеи Сабуров стоял перед Бабченко за низким обвалившимся выступом дома, где тот, почти не прячась, с самой близкой дистанции, все время под огнем, наблюдал за атакой.

Сабуров козырнул и с хрустом опустил на землю автомат. Должно быть, его измазанное кровью и грязью лицо было так страшно, что Бабченко сначала ничего не сказал, а потом произнес:

— Отдохните.

— Что? — спросил Сабуров, не расслышав.

— Отдохните,— повторил Бабченко.

Сабуров опять не расслышал. Тогда Бабченко крикнул ему в самое ухо.

— Меня контузило,— сказал Сабуров.

— Отдохните,— сказал Бабченко в четверый раз и пошел по направлению к блиндажу.

Сабуров двинулся вслед за ним. Они не спустились в блиндаж, а сели на корточки рядом, у выступа стены, где была дежурка. Оба молчали, обоим не хотелось смотреть друг другу в глаза.

— Кровь,— сказал Бабченко.— Ранен?

Сабуров вытащил из кармана грязный, земляного цвета, носовой платок, плюнул на него несколько раз и вытер лицо. Потом ощупал голову.

— Нет, поцарапан,— сказал он.

— Вызовите из рот всех, кого можно вызвать,— приказал Бабченко,— я сам поведу их в атаку.

— Сколько людей? — спросил Сабуров.

— Сколько есть.

— Больше сорока не будет,— сказал Сабуров.

— Сколько есть, я уже сказал,— повторил Бабченко.

Сабуров распорядился вызвать людей и перетащить поближе минометы; все-таки они хоть чем-то могли помочь. При всем своем упрямстве Бабченко понимал, что атака была неудачной по его вине и что следующая атака также едва ли будет удачной. Но после того, как на его глазах, по его приказанию, бессмысленно погибли люди, он считал необходимым для себя попробовать самому сделать то, что не сумели сделать его подчиненные,— доказать, что он хотел возможного.

Пока подтаскивали минометы и собирали людей, пока давались последние приказания перед атакой, Бабченко вернулся обратно за обломок стены, откуда он наблюдал первую атаку, и стал внимательно рассматривать лежавшее впереди пространство двора, прикидывая, откуда будет удобнее и безопаснее перебегать. Сабуров молча стоял рядом с ним. Шагах в сорока разорвалась тяжелая немецкая мина.

— Заметили,— сказал Сабуров.— Отойдемте, товарищ подполковник.

Бабченко молчал и не двигался. Вторая мина разорвалась с другой стороны, тоже не дальше как в сорока шагах.

— Отойдемте, товарищ подполковник. Заметили,— повторил Сабуров.

Бабченко продолжал стоять. Это был вызов. Он хотел показать, что, только что посылая людей в атаку, он требовал от них такой же готовности к смерти, какой требовал и от себя.

— Пойдемте,— почти крикнул Сабуров в третий раз, когда очередная мина разорвалась совсем близко.

Бабченко молча повернулся к нему, посмотрел ему в глаза, плюнул себе под ноги и твердыми, недрогнувшими пальцами, достав из кисета щепоть табаку, свернул папироску.

Следующая мина разорвалась прямо перед стеной. Над их головами просвистело несколько осколков, посыпалась пыль. Сабуров заметил, как Бабченко вздрогнул, и это естественное человеческое движение заставило Сабурова, в свою очередь, вдруг сказать простые человеческие слова:

— Филипп Филиппович— сказал он Бабченко,— отойдемте, а?

Бабченко молчал. Потом, вспомнив, что папироска уже

скручена, он достал из кармана зажигалку, несколько раз чиркнул, зажег ее, повернулся против ветра и низко наклонился, чтобы закурить. Может быть, если бы он не повернулся, его бы не убило, но он повернулся, и осколок разорвавшейся в пяти шагах мины попал ему в голову. Он молча упал к ногам Сабурова, тело его только один раз вздрогнуло и замерло. Сабуров опустился рядом с ним на четвереньки, повернул его изуродованную, окровавленную голову и с неожиданным для себя равнодушием подумал, что так оно и должно было случиться. Он приложил ухо к груди Бабченко: сердце не билось.

— Убит,— сказал он.

Потом повернулся к Пете, лежавшему в пяти шагах за стенкой, и приказал:

— Петя, иди помоги.

Петя подполз к нему. Они взяли Бабченко за плечи и за ноги и, согнувшись, быстро перенесли его к блиндажу.

— Минометы перетащили,— сказал подбежавший к Сабурову лейтенант.— Прикажете открыть огонь?

— Нет,— сказал Сабуров,— сейчас же перетащите их обратно.

Он подозвал Масленникова и приказал ему отменить все приготовления к атаке и вернуть людей на их места. Потом, спустившись в блиндаж, позвонил в полк. К телефону подошел комиссар. Сабуров доложил, что Бабченко убит, доложил, при каких обстоятельствах, и сказал, что доставит его тело в полк позже, когда стемнеет.

Конечно, ему было жаль, что Бабченко убили, но в то же время у него было осознанное, совершенно ясное чувство облегчения от того, что теперь он может распорядиться так, как считает нужным, и что не будет повторена еще раз эта нелепая, ради престижа придуманная Бабченко атака. Он отдал распоряжение об оказании помощи раненым и о подготовке к ночной атаке склада.

Немцы не предпринимали пока ничего нового. Привычным чутьем своим Сабуров угадывал, что на сегодня с их стороны, пожалуй, все кончено и можно не ждать повторения атак до следующего утра. Он поговорил по телефону с ротами и лег, приказав разбудить его в пять, перед началом темноты.

XIII

Он проснулся не от шума, а от пристального взгляда. Перед ним стояла Аня. Она смотрела на него своими большими спокойными детскими глазами. Он поднялся и молча сел, тоже глядя на нее.

— Я просила вашего ординарца вас разбудить,— сказала Аня,— а он не хотел. А я уже давно здесь. Мне уже надо было уходить. А видеть вас очень хотелось.— Она протянула Сабурову руку.— Здравствуйте.

— Садитесь,— сказал Сабуров, подвигаясь на койке.

Аня села.

— Вижу, вы совсем поправились.

— Да, совсем,— сказала Аня.— Я ведь была легко ранена. Только много крови потеряла. Вы знаете,— быстро добавила она, не дав ему ничего сказать,— я встретила маму. Мы теперь с ней вместе.

— Вместе?

— Ну, не совсем вместе. Она там же в деревне, в избе, живет, где наш медсанбат стоит; я там ночую с нею вместе. То есть не ночую, а по утрам сплю, когда возвращаюсь с переправы.

— Вы уже давно опять ездите сюда?

— К вам первый раз, а вообще четвертый день. Я маме про вас рассказывала.

— Что же вы рассказывали?

— Все, что знаю.

— А что же вы знаете про меня?

— Очень много,— сказала Аня.

— Ну, а все-таки?

— Много, много, почти все.

— Все?

— Я даже знаю, сколько вам лет. Вы тогда говорили правду. Вам двадцать девять лет. Мне ваш ординарец сказал.

— А вот я привлеку его к ответственности за разглашение военной тайны,— с шутливой строгостью сказал Сабуров.— Что же он вам еще рассказывал?

— Рассказывал, что вас сегодня чуть не убили.

— Еще?

— Еще? Больше ничего. Мне у него некогда было спрашивать. Мы раненых сейчас сносили в одно место. У вас много раненых.

— Да, много,— помрачнев, сказал Сабуров.— Много. Значит, некогда было, а? А если бы было время, еще бы спрашивали?

— Да, непременно.

— Ну, тогда спрашивайте у меня самого.— Он посмотрел на часы.— У меня есть время.

— Вы лучше спите. Я вас разбудила.

— Почему разбудили, я сам проснулся.

— Нет, это я вас разбудила. Я на вас так долго смотрела, что вы проснулись. Нарочно. Я хотела, чтобы вы проснулись.

— Выходит, у вас магнетическая сила взгляда,— сказал Сабуров, чувствуя, что он говорит совсем не то, что хочет, и сразу добавил другим тоном: — Я очень рад вас видеть.

— Я тоже,— сказала Аня и посмотрела ему в глаза.

Он понял, что тот неожиданный поцелуй ночью, когда она лежала на носилках, ею не забыт, и вообще ничего не забыто, и что все то немногое, что было между ними, на самом деле очень важно. Он почувствовал это сейчас, когда взглянул на нее.

— Я тут совсем замотался,— сказал он.— Я даже редко вспоминал о вас, так тут все было...

— Я знаю...— сказала Аня.— У нас в медсанбате несколько раз были ваши бойцы. Я у них спрашивала, как у вас тут.

Аня теребила пальцами краешек гимнастерки. Сабуров понял, что это не от смущения, а оттого, что она хотела сказать что-то важное и подбирала слова.

— Ну? — выжидающе спросил он.

Она молчала.

— Ну, что? — повторил он.

— Я много думала о вас, очень много,— сказала она с обычной, отличавшейся ее серьезной прямотой.

— И что надумали?

— Я ничего не надумала. Я просто думала о вас. Мне очень хотелось еще раз с вами поговорить.

Она вопросительно посмотрела на него, ожидая, что он ей ответит, и он почувствовал, что она ждет, чтобы он сказал что-то хорошее, умное и успокоительное: что все будет хорошо, что они оба будут живы, и еще что-нибудь такое же, взрослое, от чего она почувствовала бы себя девочкой, находящейся под его защитой. Но ему ничего не хотелось говорить, ему просто хотелось придвинуться к ней и обнять ее. Он положил руку ей на плечо, как тогда на пароходе, чуть придвинул ее к себе и сказал:

— Я так и думал, что вы придете.

И за этими словами она почувствовала, что он тоже хорошо помнит этот поцелуй на носилках и что именно поэтому говорит: «Я так и думал».

— Вы знаете,— сказала она,— наверное, у всех так бывает в жизни, как у меня сейчас. Приходит день, и чего-то в этот день очень ждешь. Вот сегодня я с утра весь день ждала, что увижу вас, и ничего кругом не замечала. Днем очень стреляли, а я почти не замечала. Так я, если к вам ездить буду, пожалуй, и храброй стану, а?

— Вы и так храбрая.

— Нет, так не храбрая, а вот сегодня храбрая.

Он посмотрел на часы.

— На улице уже начинает темнеть?

— Да,— сказала она,— наверное. Я не заметила. Наверное, наверное,— встрепенулась она.— Надо уже вывозить раненых. Я пойду.

Он был рад этим ее словам: «я пойду», потому что по часам следовало уже начать готовиться к атаке, он был рад, что она уходит первой.

— Вы ведь в один раз не заберете всех? — спросил он.

— Нет,— сказала она.— Я еще раза два буду сегодня. До утра бы всех успеть, и то хорошо...

Сабуров встал и сказал:

— У нас командир полка убит сегодня. Вы знаете?

— Да, знаю. Рядом с вами, мне сказали. Вас контузило сегодня?

— Немножко.

Он посмотрел на нее и только теперь догадался, что она сегодня говорила громче, чем обычно, наверное, потому, что знала о его контузии.

— Тоже Петя рассказал?

— Да... Я вас еще увижу сегодня?

— Да, да, конечно,— заторопился Сабуров.— Конечно, увидите. А как же. Только...

— Что?

Он хотел сказать, чтобы она была осторожнее, и остановился. Как она могла быть осторожнее? Всегда один и тот же, обычный, путь, по которому надо нести раненых в одно и то же время дня. Как она могла быть осторожнее? Просто глупо было бы говорить ей об этом.

— Нет, ничего,— сказал он.— Конечно, увидимся. Непременно.

Когда она вышла, Сабуров с минуту посидел молча. Потом встал и быстро надел шинель. Ему захотелось поскорей покончить с атакой склада и на этот раз не только потому, что это было нужно вообще, но еще и потому, что только после этого он мог увидеть Аню. Он подумал об этом и сам испугался, удивился этой мысли, потому что не мог скрывать от себя того, что это была мысль о любви.

Однако мысль все-таки возникла и не исчезала. Она оставалась с ним и тогда, когда он давал последние распоряжения перед атакой, и тогда, когда они пошли в эту атаку и сначала ползли среди развалин, а потом перебегали под огнем, и тогда, когда, бросив две гранаты, он ворвался с остальными в сарай и там началась та неразбериха с выстрелами, криками и стонами, которая называется рукопашной.

На этот раз он взял склад обратно, имея всего одного убитого и пятерых раненых. И хотя у него было, как у многих русских людей, не показное, а действительное душевное правило не думать и не говорить плохо о мертвых, но он еще раз с раздражением подумал о Бабченко.

Ванин, вернувшийся днем из второй роты, участвовал в атаке вместе с ним. Хотя это и было неблагоразумно, но он настоял на этом и Сабуров не нашел в себе сил отказать ему. Вообще он сейчас испытывал такое душевное состояние, при котором ему трудно было отказать человеку в чем-нибудь хорошем. Они все время были рядом и вместе вернулись в блиндаж.

— Этот сарай, между прочим,— признаваясь, сказал Ванин,— был для декораций. Вот тот дом, что впереди, это ведь театр строился, а при нем сарай был для декораций. И двор. Там рельсы были положены, чтобы на вагонетке декорации прямо со сцены увозить. Здорово, верно?

— Верно,— сказал Сабуров и невольно улыбнулся.

— Ты что? — спросил Ванин.

— Я улыбаюсь потому, что подумал,— кажется, нет ни одного дома кругом, о котором бы ты не знал самых интимных подробностей.

— А как же? Я же все это строил. И не только дома, я почти всех людей тут знаю. Тут девушка-сестра была у тебя, да?

— Да,— сказал Сабуров настороженно. Он подумал, что сейчас Ванин позволит себе какую-нибудь шутку на этот счет, и приготовился дать отпор.

— Ну, вот,— сказал Ванин,— я ведь ее тоже знаю. Она на тракторном работала... в инструментальном цехе, нормировщи-

цей. Мы ее хотели комсоргом цеха назначить,— я ее хорошо помню.

Оказалось, это было все, что он хотел сказать о девушке.

— Всех помню,— сказал он, уже забыв о ней.— Тракторный себе представляю не таким, как он есть, а каким он раньше был. А за станками люди. Представляю себе даже их лица... Ты чего угрюмый сегодня? Устал?

— Нет,— сказал Сабуров.— Я уже отдохнул, спал днем.

— А все-таки угрюмый.

— Нет, я не угрюмый. Просто думаю.

— О чем думаешь? О Бабченко?

— И о Бабченко.

— Да,— сказал Ванин,— убили. Интересно, кого теперь назначат. Может, тебя?

— Нет,— сказал Сабуров,— наверное, Власова из первого батальона назначат. Он майор.

— Да... Бабченко убили,— повторил Ванин.— Ты поругался с ним сегодня?

— Да.

Зазвонил телефон.

— Вас спрашивают,— сказал связист.

Он подошел. У телефона был Проценко. Сабуров обрадовался его голосу.

— Как живешь? — спросил Проценко.

— Хорошо.

— Что же хозяина своего не уберег, а?

— Не мог,— сказал Сабуров.— Хотел и не мог.

— А легко отбили склад? — спросил Проценко.

— Легко, с малыми потерями.

— Вот так с самого начала и надо было — отсечь подход подкреплений и отбивать ночью. Так и на будущее себе заведи.

Это звучало упреком, правда, мягким, но упреком. Сабуров хотел было сказать, что не он устраивал эту дневную атаку, а Бабченко, но потом вспомнил, что Бабченко уже убит и плох он был или хорош, но тоже погиб за Сталинград, и промолчал.

Аня сдержала свое слово и поздно вечером забежала еще раз. Она очень торопилась, так торопилась, что забежала только на минуту. И все-таки, как ни кратко было это свидание, Сабуров понял, что отныне они будут видеться столько, сколько можно, и, даже когда они встретятся на минуту, все равно это будет хорошо.

Когда она опять убежала, он почувствовал тревогу за нее и впервые в Сталинграде испытал ощущение, что все окружающие их опасности совсем разные,— одни из них, сами собою подразумевающиеся,— для него, и другие, очень страшные и неожиданные,— для нее. И он ощутил с полной ясностью, что теперь, наверное, навсегда будет бояться за Аню.

Все дневные и вечерние дела были закончены. Оставалось ожидать одиннадцати часов,— того времени, когда Сабуров приказал Юсупову притти, чтобы двинуться на рекогносцировку. Возможность сегодня разведать, а завтра ночью попробовать перебить немецкую роту сейчас казалась ему особенно заманчивой, и он подумал о предстоящем с радостью и верой

в удачу. Он прилег опять на койку. Ему хотелось поскорей покончить с последним сегодняшним делом и остаться хотя бы на полчаса одному со своими мыслями. Он крикнул Пете, здесь ли Юсупов.

— Нет еще,— ответил Петя.

— Позови его. И главное, чтобы поскорее.

Юсупов явился через пять минут. Все у него было уже готово: на шее висел автомат, две гранаты в аккуратном холщевом мешочке были прикреплены к поясу. Он был без шинели, налегке, в одном наглухо застегнутом ватнике. Так он всегда ходил в разведку.

— Сейчас пойдем,— сказал Сабуров, вставая.— Петя, скажи Петрову, что он со мной пойдет.

Петров был автоматчиком, сопровождавшим Сабурова в тех случаях, когда Петя оставался в штабе. Сабуров снял со стены свой автомат, надел, так же, как и Юсупов, ватник, стянул его потуже ремнем и, положив в карманы две гранаты-лимонки, которые он предпочитал за их малый размер и сильное действие, повесил на шею автомат.

Они вышли: впереди Юсупов, потом Сабуров, последним Петров. Стояла сырая и темная — хоть глаз выколи — октябрьская ночь. Моросил дождик. В первую секунду им показалось, что они вышли не на улицу, а только в тамбур между двумя дверьми, так было темно. Контуры стен сливались с небом, и казалось, что ввысь над развалинами поднимаются тоже дома, только выкрашенные в более светлую краску.

Выйдя из блиндажа, Сабуров подумал, что в сущности не было бы большого греха, если бы он отложил эту рекогносцировку до завтра. И так слишком много всего было в этот день, а день этот был не последним. Но ночная свежесть, тихий дождик и черное низкое небо — все это заставило его встряхнуться.

— Хорошая ночь,— сказал Сабуров.— Верно?

— Так точно, товарищ капитан,— подтвердил Юсупов.

Сабуров вспомнил, что та станция под Миллерово, где жили его мать и сестры, была примерно на этой же параллели, и, должно быть, там сейчас такая же или почти такая же ночь — длинная, темная и дождливая.

— У вас где семья, Юсупов? — спросил он.— Далеко?

— Далеко,— сказал Юсупов.

— Что, в Казани?— спросил Сабуров, вспомнив, что Юсупов казанский татарин.

— Нет, в Иркутске. Мы уже пятнадцать лет в Иркутске живем.

— Далеко,— задумчиво сказал Сабуров и подумал об Иркутске и о том, что там, наверное, нет затемнения, на улицах горят фонари. И тут он на секунду представил себе, что было бы, если бы весь этот свет перенести сюда, в Сталинград. Вот сюда, где они идут. На всех углах стоят фонари и горят полным накалом. И окна освещены.

Он взглянул на светящийся циферблат часов: было половина одиннадцатого. Да, все было бы еще освещено. Он невольно усмехнулся своей мысли.

Через пять минут они добрались до второй роты, где их встретили у развалин дома Потапов и Масленников.

О том, что Сабуров отправляется на рекогносцировку, Масленников знал, но не одобрял этого, считая, что рекогносцировку должен производить не Сабуров, а именно он. Масленников. Но поскольку Сабуров так решил и его трудно было отклонить от раз принятого решения, Масленников заранее под каким-то предлогом отправился во вторую роту к Потапову для того, чтобы на всякий случай оказаться именно там, откуда Сабуров пойдет дальше. То, что Масленников встретил его, было для Сабурова неожиданностью, однако он не выразил удивления, а только улыбнулся в темноте.

— Ты уже здесь, Миша?

— Да, товарищ капитан, я...

Масленников начал объяснять, почему именно он оказался во второй роте, но Сабуров прервал его движением руки.

— Знаю,— сказал он все с той же, невидимой в темноте, улыбкой.— Все знаю.

Ему было приятно, что Масленников тревожился за него и вот прибежал сюда, чтобы на всякий случай быть к нему поближе.

Когда они уже двинулись, Масленников еще раз подошел к Сабурову, задержал его руку в своей и сказал тихо:

— Алексей Иванович.

— Ну?

— Алексей Иванович,— повторил Масленников.

— Ну, что?

Но вдруг Сабуров понял: Масленников потянулся к нему, чтобы обнять его. Почувствовав это, Сабуров обнял его сам, первый, потом быстро повернулся и пошел. Масленников смотрел ему вслед. Не то что предчувствие и даже, пожалуй, не опасение, а какая-то безотчетная тоска, так часто оправдывающаяся на фронте, щемила сердце Масленникова с самого утра, когда он узнал о предстоящей рекогносцировке.

Сначала шли не прячась,— темнота ночи позволяла это. Потом Петров неосторожно брякнул дулом автомата о стену. Все трое замерли и притаились, ожидая посланной наугад, в направлении шума, пули. Но никто не стрелял. Тогда они пошли дальше.

Дождь все еще накрапывал. Стало холоднее. Ночь уже не казалась такой мягкой и спокойной, как вначале. Далеко за домами, левее, то и дело возникала ночная перестрелка.

Когда прошли шагов полтораста, пришлось продвигаться ползком между развалин, по переулку, который был весь такой, словно здесь произошло землетрясение. Кроме обрушившихся вкось стен, превративших переулок почти в овраг, на земле, среди кирпичей, валялись самые разнообразные, иногда странные наощупь вещи — обломки мебели, осколки посуды, разбитая ванна, исковерканный самовар, о задранные края которого Сабуров оцарапал руку.

Так они ползли минут пять, может быть, восемь. Хотя расстояние между русской и немецкой линией было очень небольшое,— кое-где раздвигалось до двухсот метров, а кое-где

сближалось на пятьдесят,— но добираться приходилось извилистыми проходами, среди обломков, и в каждую отдельную секунду трудно было точно разобраться, от кого они сейчас ближе находятся — от своих или от немцев.

Сабуров шел и полз привычно и, пожалуй, даже немного рассеянно,— с рассеянностью человека, которому все известно заранее и остается почти автоматически сделать то, что нужно, а именно доползти, осмотреться, принять решение на завтра и снова также спокойно ползти обратно.

Так они шли и ползли до тех пор, пока с ними не произошла одна из тех нелепостей войны, которую не могли предвидеть ни немцы, ни русские, ни Юсупов, ни Сабуров — никто и которая, тем не менее, все-таки произошла. Когда, по расчетам Юсупова, они подползли уже на полсотни шагов к цели, над головами их вдруг раздалось знакомое, похожее на шум мотоцикла, стрекотание мотора ночного «У-2». Несколько, как из горшка высыпанных, мелких бомб, со свистом прорезав воздух, разорвались кругом них. В этом не было ничего удивительного: они находились на «ничьей» земле, и летчик не добросил бомбы всего на пустяк.

В тот момент, когда рядом с ним разорвались бомбы, Юсупов полз впереди, Петров рядом с ним, а Сабуров, готовясь вслед за ними опуститься на колени, чтобы ползти, стоял у полуобвалившейся стены. Ближайшая бомба упала рядом со стеной, в угол, под корень ее. Обломок стены качнулся и рухнул на землю, накрыв кирпичами Сабурова. Кирпичи упали на Сабурова сбоку, как обвалившиеся детские кубики. Падая, Сабуров закрыл глаза. От этого удара, от силы взрыва и рванувшегося на него воздуха ему показалось, что все кончено, что он убит. Но, когда он упал и сразу же открыл глаза, он почувствовал не смерть и не слабость, а только тяжесть навалившихся на него кирпичей, а в носу и во рту вкус кирпичной пыли.

— Юсупов,— шепотом сказал он.— Юсупов.

Юсупов не откликнулся.

— Петров,— позвал Сабуров.

Никто опять не откликнулся. Ему почудилось, что впереди кто-то шелохнулся, но, придавленный кирпичами, он не мог двинуться. Он прислушался — нет, показалось. В теле было непривычное чувство страшной связанности, как будто его всего обкрутили канатом, оставив свободными только левую руку и голову. Кусок кирпича попал в лицо, и на глаза натекала кровь. Он дотянулся рукой и стер кровь с глаз, размазав ее по лицу. Потом пошарил рукой вокруг себя и всеми пятью пальцами наткнулся на окровавленную мертвую голову Петрова. Он тихо, сквозь зубы, вскрикнул и сделал судорожное движение, чтобы отодвинуться от мертвеца. Но его тело, зажатое камнями, было неподвижно, и он мог только убрать руку.

Небо над его головой было такое черное, словно он ослеп. Дождь,— он только сейчас это заметил,— все еще шел. Рука онемела. Он придвинул ее к телу и пальцами нащупал завалившие его кирпичи. Несмотря на боль, он невольно подумал

о том, что нельзя ни кричать, ни стонать. Сейчас, ночью, он никак не мог сообразить, где он находится. Только примерно он представлял себе, что это где-то около развалин клуба. Но теперь, после того, как его завалило кирпичами, он даже не мог себе представить, куда он лежит головой и с какой стороны находятся сейчас немцы и с какой свои. Над головой было только небо, одинаковое и темное. Он ясно поймет, где находится, только когда рассветет. Рассветет... Он подумал и вдруг ужаснулся этой мысли. Когда рассветет, будет поздно о чем бы то ни было думать: он окажется на виду, и его заметят, непременно заметят. Никогда за всю войну, хотя он два раза был уже в окружении, мысль о плене не приходила ему в голову с такой ужасной ясностью. Днем его заметят, если он ближе к немцам, чем к своим, возьмут в плен, и он ничем не в состоянии будет помешать. Он должен, должен, должен,— он однообразно повторял это слово шопотом,— должен что-то сделать.

Он закрыл глаза и так, то теряя сознание, то снова приходя в себя, лежал еще пять, а может быть, десять минут. Потом, стиснув зубы, он подтянул онемевшую руку до верхнего обломка кирпича и тихо оттащил его в сторону. Опять стиснул зубы от боли, опять подтащил руку к телу, взял ею другой обломок и снова оттащил его в сторону.

Капли дождя все падали и падали ему на лицо. Хотелось стереть их, но не стоило поднимать для этого руку. Она нужна была для одного: брать кусок кирпича и тихо отодвигать его в сторону, и снова брать, снова отодвигать, и так до конца,— до смерти, до потери сознания,— он не знал, до чего, но чувствовал только, что, пока в его теле сохраняется хоть проблеск жизни, он будет делать одно и то же движение — брать обломок кирпича и оттаскивать его в сторону.

Это была холодная дождливая ночь 12 октября,— ровно тридцатая ночь с той самой, первой, когда он со своим батальоном, переправившись через Волгу, вылез на этот берег.

XIV

Стояла тишина. Это было первое, что он заметил. Ни шопот раненых, лежавших на соседних койках, ни прерывистое дыхание умирающих, ни звон аптечных пузырьков — ничто не могло нарушить ощущения тишины. Может быть, оттого, что это был госпиталь и в нем было много белых простынь и халатов, самая тишина казалась Сабурову белой.

Тишина длилась уже восемь дней, казалось, ей не будет конца и ничто не может ее нарушить. За окнами падал мокрый, первый, осенний снег, и он тоже был, как тишина, белый.

Тело продолжало еще болеть, но оно тоже болело тихо,— не скрежещущей, острой болью как рваная рана, а тихой, щемящей. В госпитале, в сущности, было не так уж тихо: приносили и уносили раненых, иногда кто-то кричал, но после Сталинграда все это казалось Сабурову тишиной.

Его лечили, кормили, обмывали, но, в сущности, он был только одним из многих и никто им тут особенно не интересовался. Он был привезен сюда с того берега весь в синяках и кровоподтеках. Теперь он выздоравливал. Это было записано в истории его болезни. Но как все произошло, как его спасли, как он остался жив, как он очнулся на этом берегу, никто не знал. Одни санитары передали его с рук на руки другим, эти другие принесли в госпиталь, и когда он спросил врача, как он тут оказался, тот только развел руками:

— Вернетесь в часть, узнаете. Что же я вам могу сказать?

Напрасно Сабуров силился вспомнить, как все произошло. Он помнил только, как начал откладывать в сторону обломки кирпичей, а дальше уже ничего не помнил.

Тишина, стоявшая в госпитале, была, пожалуй, лучшим лекарством, которое требовалось сейчас Сабурову. Но хотя он чувствовал себя все лучше и лучше, ему все еще ничем не хотелось нарушать этой тишины, среди которой было так спокойно и хорошо. Последние недели в Сталинграде он столько приказывал, кричал, убеждал, спорил, что ему приятно было молчать, и он прослыл самым молчаливым больным в палате. Он лежал и молчал. Ему не хотелось говорить.

И даже на восьмой день, утром, когда в их палату своей легкой, неслышной походкой вбежала Аня и, пройдя между рядами коек, села у его ног, ему не захотелось говорить. Он смотрел на ее милое, ставшее таким усталым, лицо, на ее руки, тихо лежавшие на коленях, на ее глаза, так глядевшие на него, как будто она все время прямо, прямо шла к нему целую тысячу верст,— и ему не хотелось говорить. Она в первую минуту тоже ничего не сказала. Потом заговорила вдруг, сразу и обо всем. Прежде всего она рассказала о том, как, беспокоясь долгим его отсутствием, Масленников пошел вслед за ним и нашел его лежавшим без сознания на полдороге между нашими позициями и тем местом, где остались мертвые Петров и Юсупов.

И все же Сабуров не вспомнил, как он полз, даже сейчас, когда Аня рассказала ему это. Должно быть, он все-таки стащил с себя обломки и пополз. Как странно, что он ничего не помнит

Потом Аня рассказала, как его принесли в батальон и как она увидала его на носилках и подошла к нему.

Сейчас, рассказывая об этом, она посмотрела на него таким прямым взглядом, каким смотрят, когда уже ничего не выбирают и ничего не боятся.

— Я увидела, как вы лежите,— сказала она.— Мне стало страшно, что вы умерли. Я вас стала целовать. Потом вы открыли глаза и сразу же закрыли. И я вас еще поцеловала, но вы уже не открывали больше глаза.

Потом Аня рассказала, как она вместе с санитарами несла его к берегу и как они переплывали на барже и в них стреляли, потому что было уже почти совсем светло.

— Совсем как тогда стреляли. Помните? — спросила она.

— Помню.

— И я очень боялась,— сказала она.— В первый раз за все

последнее время. И потом, когда переправились, я санитарам сказала, чтобы они вас доставили непременно в этот госпиталь, потому что я здесь потом буду, и чтобы они о вас заботились. Но это они, наверное, забыли, потому что они должны обо всех заботиться.

— Почему вас так долго не было? — спросил Сабуров.

— Знаете, я не могла,— сказала она виноватым тоном.— Я переправилась обратно и думала, что на следующую ночь буду здесь, но переправу разбили. А потом там набралось столько раненых, что, пока их всех не переправили, меня оставили с ними там. Целых шесть дней. А вы лучше себя чувствуете?

— Да,— сказал Сабуров.— Я уже сегодня сидел и даже пробовал ходить.

Они помолчали. Потом она сказала:

— Вы знаете, мама тоже здесь.

— Вы мне говорили тогда еще... — как о чем-то очень далеком, сказал Сабуров. — Здесь, в этой деревне?

— Да. Я рассказала ей о вас. Она хотела тоже притти сюда, но я пошла одна.

— А что же вы про меня ей рассказали?

— Все.

Она сказала это «все» так, что Сабуров почувствовал, что это и в самом деле очень много.

— А у меня,— сказала Аня,— вы знаете, у меня теперь тоже орден.

— Ну? — сказал Сабуров.— Где же он? Уже выдали?

— Да.

— Покажите.

Она приоткрыла халат, и он увидел у нее на гимнастерке орден Красного знамени, только не запыленный, не с потрескавшейся эмалью, как у него, а совсем новенький, блестящий.

Аня, скосив глаза, тоже посмотрела на орден. У нее был очень довольный вид. Сабуров улыбнулся. Она увидела его улыбку и тоже улыбнулась.

Он приподнялся на подушке, на локтях.

— Милый,— сказала Аня, ласково дотянувшись до его плеч обеими руками и в то же время отстраняясь.— Милый,— повторила она.

Он снял ее руку со своего плеча и поцеловал долгим поцелуем, от которого она покраснела, но руку не отняла и даже не потянула к себе, а продолжала смотреть на него внимательным, счастливым взглядом.

— Аня,— сказал он, чувствуя, что в душе его накопилось так много, что если он не скажет ей о своей любви сейчас же, то через несколько минут, когда она уйдет, он не выдержит и расскажет об этом сестре, доктору,— первому, кто подойдет к нему.— Аня, если бы не война...

Он хотел сказать, что если бы не война, то он сейчас же увез бы ее далеко отсюда и никогда бы больше не отпустил.

— Если бы не война, мы не встретились бы, да? Ведь да? — настойчиво повторила она, словно боясь, что он будет спорить.

— Да,— сказал он.— Я это и хотел сказать, ты угадала мою мысль.

Он первый раз сказал ей «ты».

— Я знаю, что я сделаю,— сказала Аня, попрежнему не отрывая от него взгляда.— Мне сегодня дали отпуск на целые сутки. Я вас...— Она запнулась. Она расслышала, как он вместо «вы» сказал ей «ты», и поняла значение этой перемены, и ей, в свою очередь, тоже хотелось сказать ему «ты», но его небритое, усталое, похудевшее в дни болезни лицо было такое взрослое, почти старое, что она не решилась.

— Я вас отсюда возьму,— сказала она.

— Возьмешь? Куда?

— К маме. Вы будете дальше лечиться у мамы... у нас,— поправилась она.— Вам уже, наверное, можно переехать. Мама будет за вами ухаживать. И я, когда буду дома. Я буду уезжать вечером и ночью возить раненых, как всегда, а с утра ухаживать за вами.

— Когда же ты будешь спать? — улыбнулся Сабуров.

— Потом, когда вы выздоровеете.

Ей хотелось сказать ему — неужели он не понимает, что она просто не сможет спать, когда он будет тут, рядом, и вообще, неужели он не понимает, какое это счастье, что он рядом и, кажется, тоже ее любит.

Но она ничего этого не сказала, только сорвалась с койки, сделала шаг к двери, потом вернулась, быстро поцеловала его в губы неумелым, детским поцелуем и выбежала.

Сабуров, ожидая услышать какое-нибудь замечание или увидеть усмешку на лицах людей, лежавших с ним в одной палате, угрюмо и выжидающе огляделся по сторонам. Но никто не заговорил и не усмехнулся. Только немолодой лейтенант с ампутированной ногой, лежавший рядом с Сабуровым, повернулся к нему и встретил его хмурый взгляд такой доброй, лучезарной улыбкой, что Сабуров невольно улыбнулся ему в ответ. Тогда лейтенант совсем повернулся к Сабурову и сказал:

— Вы знаете, очень тяжело потерять все на свете. Больше всех потерять,— столько, сколько никто не потерял. Очень тяжело...

— Да,— сказал Сабуров и подумал, что сейчас, наверное, сосед заговорит о том, что ему ампутировали ногу, и нужно будет сказать в ответ что-то хорошее, утешительное. А что хорошее он мог ему сказать?

— Нет, я не об этом,— сказал лейтенант, дотронувшись рукой до одеяла, там, где под складками торчал обрубок ампутированной ноги.— Я переводчик, так что при моей профессии с этим можно жить, и даже, может быть, еще воевать, где-нибудь в штабе. Я о другом... В Минске у меня погибли и жена, и дочь,— все. Но это тоже у многих... слишком у многих. Я даже не об этом. У меня они отняли еще и то, над чем я возился всю жизнь. Вы знаете, чем я занимался последние пятнадцать лет, как вы думаете? — сказал он с усмешкой.

Сабуров молча ждал, что он скажет дальше.

— Я всю сознательную жизнь занимался новой и новейшей историей Германии. Нет, я даже не хочу сейчас говорить, что я там писал в своих работах, что там было правильно, что неправильно,— чорт его знает. Я знаю только одно, что я больше этим никогда не буду заниматься, никогда. Я не могу заниматься их историей, не могу, после всего, что я видел, и всего, что я потерял. Не могу, не хочу. Я скорее поступлю в артель инвалидов, буду после войны продавать пиво в ларьке, чем вспомню о том, что я когда-то занимался их историей. К чорту! Может быть, этим будут заниматься другие, даже наверное, а я не буду. Понимаете вы меня?

— Понимаю,— сказал Сабуров.

— А у вас все еще будет хорошо,— вдруг вздохнув и успокоенно откинувшись на подушку, тихо сказал лейтенант.— Очень хорошо. Она сейчас придет обратно. И не сердитесь на меня за это вмешательство, за то, что я так внимательно смотрел на вас, когда она сидела здесь. Теперь мне это позволено.

Он с раздражением, сильно ударил рукой по одеялу, там, где лежала бы его нога, если бы она не была ампутирована, и неожиданно грубо выругался. Потом он закрыл глаза, отвернулся и так продолжал лежать молча, с плотно стиснутыми веками.

Сабуров тоже закрыл глаза. Ему показалось, что так, с закрытыми глазами, ему легче будет дождаться возвращения Ани. Он лежал и думал об этом настойчиво, упрямо, бесконечно. И одновременно он думал о человеке, лежавшем рядом с ним. Может быть, впервые за всю войну, он с такой остротой почувствовал сейчас сострадание счастливого человека к несчастному, и хотя чужое горе в эту минуту было далеко от него, как никогда, но щемящая жалость вдруг переполнила его душу. Однако что он мог сказать? Ничего. Если бы он и сказал сейчас что-нибудь сочувственное, то этот лежавший рядом с ним человек все равно не поверил бы ему,— такое выражение счастья,— он чувствовал это,— было написано сейчас на его лице.

В то время, как Сабуров лежал с закрытыми глазами и думал об Ане, она стояла в том же здании школы, в маленькой комнате нижнего этажа, перед главным врачом.

Главный врач принадлежал к распространенной среди хирургов категории циников. Он был небольшой, плотный, почти толстый, с румяным лицом и словно нарисованными черными усами и бровями. Он был хорошим хирургом и спас на своем веку немало людей, но тем не менее считал своим долгом заявлять, что относится к медицине скептически, делал операции с подчеркнутым хладнокровием, говорил об ампутированных руках и ногах с усмешкой и любил отпускать двусмысленные шутки, не стесняясь присутствием женщин. На самом же деле он был человек нежной души и очень застенчивый. Но Аня этого не знала, и главный врач, с которым она была знакома по госпиталю уже давно и не раз так же, как и другие, слышала его шутки, представлялся ей человеком менее всего способным выслушать и понять то, что она ему хотела сказать.

Поэтому, войдя к нему решительной походкой, она вся напряглась и сжалась в комок, с твердой решимостью все равно сказать то, что она хотела, и не дать ему обидеть ни себя, ни Сабурова, ни, больше всего, то новое, что вошло и наполнило ее жизнь радостью.

— Николай Петрович,— сказала она, входя, еще с порога.— У меня к вам просьба.

— Надеюсь, вам ничего не нужно ампутировать,— сказал он с привычной улыбкой.— К сожалению, этим обычно ограничиваются все обращаемые ко мне просьбы. А?

— Нет,— сказала она.— Здесь лежит... один капитан, капитан Сабуров...

— Сабуров? Ага, помню. С ушибами. Ну?

— Он выздоравливает.

— Возможно. Очень приятно. Так что же из этого?

— У меня здесь мама живет в деревне...

— Тоже очень приятно. Но какое это имеет отношение одно к другому?

— Я прошу,— сказала Аня, подняв на него глаза,— я хочу, пока он выздоравливает, взять его к нам.

У нее были такие ясные, обрекающие на молчание глаза, что главный врач, у которого с языка уже готова была сорваться обычная шутка, промолчал.

— Я его хочу взять к нам. Я вас очень прошу...

— Зачем? — уже серьезно спросил он.

— Ему там будет лучше.

— Почему?

— Ему там будет лучше,— упрямо повторила Аня.—Я знаю, ему там будет лучше. Я вас очень прошу.

— Он что, ваш родственник?

— Нет, но... мне это очень нужно. Я иначе не могу. Я хочу быть с ним вместе,— отчаянно сказала она, решившись с этой минуты на любые слова, к каким бы он ее ни вынудил, и на любые признания, даже ложные.

Главный врач считал в порядке вещей то, что у его сестер и санитарок подчас бывали романы с ранеными и выздоравливающими, и не преследовал этого, присвоив себе лишь право беззлобно, но подчас грубовато шутить над этими маленькими тайнами. Но с такой прямой, откровенной, бесстрашной просьбой к нему обращались впервые.

Он вспомнил вдруг то, что было так далеко и давно оставлено в Иркутске,— свой дом, детей и со студенческих лет нежно любимую жену,— все, о чем он предпочитал никогда и ни с кем не говорить. Он растерялся от тона разговора, от неожиданности и, главное, от взгляда Ани, которая глядела на него с такой свирепой надеждой, что он почувствовал себя почти как за операционным столом во время трудной операции.

Он должен был решать судьбу чужой жизни,— это было ясно. Здесь нельзя было говорить: «Посмотрим, как он себя чувствует», или: «Это не положено по правилам», или: «Надо подумать», и, к чести его, ему и не пришло в голову сказать

ни одну из этих фраз. Здесь можно было только сказать: «да» или «нет», и он сказал:

— Да, хорошо.

Разговор оказался неожиданно коротким. Ни он, ни Аня, в сущности, не знали, что дальше говорить, особенно Аня, приготовившаяся к отпору. Она растерянно, в полном молчании, постояла полминуты против него и, даже не поблагодарив, тихо вышла.

Через час Сабурова в маленьком докторском газике перевезли на другой конец деревни,— на выселки, в один из стоявших у самой воды домиков. Ниже домика протекала вода — спокойная, медленная и зеленая. Это был один из бесчисленных рукавов волжской Ахтубы. От воды к дому маленькой аллейкой поднималось несколько низкорослых ив. И вода, и оголенные деревья, и вросший в землю маленький домик показались Сабурову почти такими же тихими, как госпиталь.

В комнате, разгороженной на две половины — чистую и черную,— тоже было тихо. Тихо жужжали последние мухи, тихо посторонился у дверей встретивший их мальчик, тихо сидели за столом две, покрытые черными платками, немолодые женщины — хозяйка избы и мать Ани. Это начавшееся в госпитале ощущение тишины неизменно оставалось у Сабурова все десять дней, которые он здесь прожил.

Когда он, вслед за Аней, вошел в избу, хозяйка, степенно поклонившись ему, сказала: «Милости просим», а мать Ани сначала всплеснула руками, потом сказала: «Господи», потом: «Ой, до чего же вы переменились» и только после этого: «Здравствуйте».

Санитары посадили Сабурова на широкую крестьянскую лавку у стола и остановились в сомнении.

— Ничего,— сказал Сабуров,— я до кровати сам дойду. Идите.

Они вышли. За ними на свою половину ушла хозяйка, и тут Сабурову впервые за много лет показалось, что он попал в семью, которую давно знает и в которой ему очень хорошо. Он сидел на лавке у открытого окна, за окном были свежесть воды и запах прелых осенних листьев.

— Вы не простудитесь? — спросила Аня.— Может, закрыть?

— Нет, не простужусь, что ты? — сказал он, упрямо цепляясь за это родное слово «ты».

Аня подошла к большой кровати, стоявшей у огромной русской печи, разделявшей избу на две половины, открыла одеяла и стала взбивать подушки, то есть сделала то, что сестры каждый день делали в госпитале, но Сабурову казалось, что все это у нее выходит как-то особенно хорошо. Он любовался ею, и ему было почти жаль, когда она сказала:

— Ну, вот и готово.

— Сейчас я перейду, подожди,— сказал он.

Мать сидела тут же, за столом, наискось, и по тому, как она на него смотрела, он понимал, что с дочерью был уже разговор о нем. Мать Ани выглядела сейчас совсем не так, как тогда в Эльтоне. Она сидела молчаливо, казалось, большое горе гнетет ее, но в то же время в ее глазах была спокойная

ясность. Она все видела, все измерила в своей душе и теперь только ждала, когда все это кончится.

— Да, здесь лучше, чем в Эльтоне,— сказал Сабуров после молчания.

— Лучше,— подтвердила она.— Мы тогда без памяти были. Я родню — и то забыла. Так до самого Эльтона и промахнула. А ведь тут у меня золовка. Конечно, хорошо. Разве сравнишь? Кабы под эту крышу да всю семью. Похудели как,— добавила она, поглядев в лицо Сабурову. (Он почувствовал, что она хотела сказать «постарели».) Похудели,— повторила она и сразу перевела взгляд на Аню, молча сидевшую против него за столом.

Сабуров понял, что мать этим взглядом прикидывает, как они будут вместе: он — такой старый, и Аня — такая молодая, и ему второй раз за этот день захотелось сказать, что он не такой уж старый. Но он промолчал.

— Все ездит она,—сказала мать и кивнула в сторону Ани.— Все ездит, все ездит, по пять раз на дню. И когда это только кончится?

Она встала, подвязала углы платка и пошла к дверям.

— Мама, мама, подожди,— кинулась к ней Аня.— Подожди. Помоги мне Алексея Ивановича уложить.

— Да я сам,— храбрясь, попробовал возразить Сабуров.

Он хотел встать, но Аня уже подошла к нему с одной стороны, мать с другой, и он, опираясь на их плечи, доковылял до кровати. Ноги еще страшно ныли, на одну он уже мог ступать, но другая подламывалась от боли. Когда он лег и вытянулся на кровати, пришлось несколько раз подряд вытереть со лба испарину.

Мать вышла. Аня пододвинула скамейку и села рядом с ним.

— Ну? — сказал он.

— Хорошо? — ответила Аня вопросом на вопрос.

Сабуров протянул Ане руки, она взяла их в свои и долго сидела, глядя на него, чуть-чуть раскачиваясь на скамейке, то ближе к нему, то дальше от него. Вдруг она испуганно остановилась.

— А руку совсем не больно?

— Нет, совсем не больно.

И она снова начала раскачиваться, все время пытливо глядя ему в лицо, разглядывая на нем каждую морщинку. Это был ее человек, совсем ее. Вот он лежал здесь, в ее доме, и пусть дом был на самом деле не ее, и завтра опять нужно будет ехать в Сталинград ей, а через несколько дней, наверное, и ему, но сейчас она держала его за руки и смотрела ему в глаза, и это было так неожиданно и в то же время так долгожданно, так нестерпимо радостно, что на глазах ее выступили слезы.

— Что ты? — спросил он.

— Ничего.— Не отпуская его рук, она вытерла глаза о его плечо.— Ничего. Просто я ужасно рада.

Она отодвинула скамейку, пересела к нему на кровать, уткнулась лицом ему в грудь и заплакала. Она плакала долго, поднимала заплаканное лицо, улыбалась и снова утыкалась

ему в грудь. Она плакала, вспоминая переправы через Волгу и то, как ее ранили, и как ей было больно, и как он поцеловал ее тогда, и как она волновалась, и как долго она его не видела, и какой он страшный был, когда его нашли, как потом шесть дней она снова не могла попасть к нему.

Он смотрел на ее волосы и медленно проводил по ним пальцами. Потом крепко и безмолвно прижал ее к груди обеими руками. Услышав шаги, он чуть повернул голову и, увидев, что вошла мать, невольно сделал движение, чтобы немного отстраниться, но Аня, наоборот, только крепче прижалась к нему. Потом она подняла голову, посмотрела на мать, улыбнулась и снова, еще крепче, прижалась к нему. И тогда его осенило чувство, которое потом уже не исчезало у него,— что это навеки.

Весь день прошел, как во сне. Мать Ани входила и выходила, готовя обед. Она хлопотала, всем видом своим стараясь показать, что дети могут не стесняться ее присутствия. Сабуров так и видел на ее губах это слово «дети», и ему было странно, что оно может быть отнесено к нему какой-то другой женщиной, кроме его матери.

Аня, несмотря на то, что он ее всячески удерживал, убежала в госпиталь за водкой. Она непременно хотела, чтобы он хоть немножко, чуточку, выпил за обедом. Ей хотелось, чтобы все было по-настоящему. Она принесла аптечный пузырек со спиртом и, щурясь, осторожно переливала из него спирт в бутылку и разбавляла водой. Все эти мелочи,— как она вбегала и выбегала, как разбавляла спирт, как щурилась,—были бесконечно милы Сабурову. Потом, когда к его кровати придвинули стол, Аня побежала за хозяйкой избы и притащила ее. Та, не садясь, церемонно чокнулась с Сабуровым и чинно выпила, не поморщившись,— так, как обычно пьют все пожилые деревенские женщины. Потом она ушла.

Аня за обедом, сидя рядом с матерью, быстро рассказывала Сабурову разные подробности о том, как они раньше жили, о себе, об отце, о братьях,— словом, все то, что раз в жизни лихорадочно говорится вдруг, разом, и только очень любимому человеку. Он полулежал, опираясь на здоровую руку, и наслаждался ее болтовней. Он думал о том, что придет время и она уже не будет ходить в скрипучих сапогах и не будет таскать носилок и возить через Волгу раненых. И они вместе уедут. Куда? Разве он мог знать,— куда? Он знал только, что, наверное, это будет очень хорошо. О том же, что будет через несколько дней, когда он вернется в Сталинград, Сабуров думал вскользь; ему казалось, что все это как-то устроится. Может быть, даже удастся сделать так, чтобы Аня была с ним вместе, в его батальоне, надо только сказать Проценко. Он вспомнил хитрое, добродушное лицо Проценко и подумал, что, будь другое время, Проценко, наверное, приехал бы на свадьбу. «Свадьба»... Сабуров улыбнулся.

— Что ты улыбаешься? — спросила Аня, чуть запнувшись на слове «ты».— Чему?

— Так, одной мысли,— сказал он.

— Какой?

— Потом скажу. Ты не сердись. Хорошо?

— Хорошо.

Он подумал «свадьба» и вспомнил свой блиндаж и на минуту почти ясно увидел, как он, вернувшись, сидит там за столом с Аней и рядом те, кого бы он мог позвать в этот день: Масленников, Ванин, может быть, Потапов... Он представил себе их лица и невольно опять подумал, цел ли блиндаж и как они там все без него.

Когда кончили обедать и мать стала убирать со стола, Аня снова села рядом с Сабуровым на кровати. Хозяйка принесла им большое антоновское яблоко, и они поступили так, как десятки тысяч раз до них поступали другие: стали есть яблоко вдвоем, поочередно откусывая и стараясь откусить меньше, чтобы оставить больше другому.

Потом Аня вдруг вскочила и закричала:

— Мама, погадай.

Мать отнекивалась.

— Нет, погадай.

Стол, который был уже отодвинут от кровати, опять придвинули, и мать, сказав, как водится в таких случаях, что она уже давно не гадала, да и что же гадать, раз они все равно люди неверящие, наконец разложила карты.

Сабуров никогда не понимал, почему черная шестерка означает длинную дорогу, а трефовый туз — казенный дом и почему, если пиковая дама ложится к черной десятке, то это не к добру, а если выходят четыре валета, то это к счастью, но ему всегда нравились уверенность и серьезность, с которыми гадалки объясняют значение разложенных карт.

Аня тоже внимательно следила за руками матери, раскладывавшей карты. И так как в этот день ей и Сабурову их будущее казалось ясным, то всему, о чем говорила мать, они находили объяснение. Дальнюю дорогу они объясняли — как переправу через Волгу, казенный дом — как сабуровский блиндаж; когда же мать вытащила на видное место крестовую даму, которая в сочетании с бубновым королем обозначала, что у Сабурова есть крестовый интерес, то, хотя по всем правилам Аня была не крестовая, а червонная дама, они все равно решили, что крестовая дама это безусловно Аня, потому что она же медичка,— следовательно с крестом. Это объяснение показалось им забавным, и они долго смеялись, пока мать не обиделась, а может быть, ей просто надоело гадать, и не стала собирать карты.

Мать, как это уже стало обычаем во время войны в деревнях, завесила окна мешками и вышла.

Сабуров, утомленный и долгим сиденьем и разговором, откинулся на подушку и лежал неподвижно. Аня вытащила из-под тюфяка полушубок, взяла подушку и стала стелить себе на лавке, у стены. Сабуров молча наблюдал за ней. Мать вошла еще два или три раза по хозяйственным надобностям и потом совсем ушла. Тогда Аня подошла к Сабурову, встала на колени около кровати, приникла к нему, послушала сердце и шопотом сказала «стучит» как будто в этом было что-то особенное. Но особенное было в тишине, стоявшей вокруг, в том, что

мать ушла, а они остались, и, главное, в том, что им предстояло долго быть вместе: и сегодня, и завтра — всегда.

Аня стояла на коленях и целовала его. Она совсем его не стыдилась, тянулась к нему, и он чувствовал, что она полюбила в первый раз и вся ее любовь сейчас в нем, и любовь эта такая большая, что в ней тонет все остальное — и чувство страха, и чувство стыда, и смятение. Она подвинулась и села рядом с ним, потом обняла его и прижалась к нему. Он тоже крепко обнял ее и почувствовал, как у него болят руки и грудь от того, что он крепко обнял ее, но ему было радостно: от этой боли он чувствовал ее еще ближе к себе.

— А знаешь,— сказала Аня,— у меня тоже так сильно стучит сердце.— Вот послушай.

И она потянулась к нему так, чтобы он мог послушать, как стучит ее сердце. Только такая чистая и сильная в своей прямоте и наивности девочка, не думая ни о чем остальном, могла так сказать эти слова: «Послушай, как у меня стучит сердце». Она и, правда, просто хотела сейчас, чтобы он послушал, как у нее стучит сердце. А когда пришло остальное, она прошептала ему на ухо такие же прямые единственные слова, и он опять почувствовал, как он ее любит и что он скорее дал бы отрубить себе руку, чем обидел бы ее. Но сейчас он не обижал ее — он это знал — ни тем, что целовал, ни тем, что обнимал все крепче и крепче.

XV

Он проснулся утром от шума самовара, и было странно, что он видит эту же комнату и что так же мать суетится у стола, как будто все не должно было перемениться.

Аня вбежала из сеней, откуда до этого слышался плеск воды.

— Ты проснулся? — сказала она.— Я сейчас.— Она выжала свои длинные мокрые волосы, накручивая их на кулаки, совсем, как тогда, на пароходе, когда он увидел ее в первый раз.

Потом она снова ушла в сени. Сабуров закрыл глаза и отдался воспоминаниям. Он вспомнил все подряд, минута за минутой, со вчерашнего утра — и утро, и день, и ночь — и чувствовал, что, кроме слов о любви, которые были ему сказаны, кроме поступков, которые свидетельствовали об этой любви, было еще что-то, из-за чего он сейчас безгранично верил в ее любовь к нему. Это было то подсознательное чувство, с которым она касалась его избитого, больного тела. Никто не мог ей сказать, ни один врач, но она каким-то чутьем знала, где у него болит и где нет, как его можно обнять и как нельзя. В ее ласковых руках было заключено столько любви и нежности, что он, вспоминая об этом, никак не мог притти в себя.

В четыре часа дня Аня должна была уходить. Она натянула сапоги, надела шинель, аккуратно заштопанную в трех местах, где ее пробило осколками мины, надвинула на голову пилотку

й, быстрым шагом подойдя к постели, решительно, сурово поджав губы, крепко поцеловала Сабурова, и также решительно вышла.

Теперь до завтрашнего дня он ничего не будет знать о ней. За войну он привык, казалось бы, к самому страшному,— к тому, что люди здоровые, разговаривавшие, шутившие с ним только что, через десять минут переставали существовать. Но то, что творилось с ним сейчас, не имело ничего общего с этим привычным. Впервые в жизни он испытывал в этот день и в эту ночь трепет ожидания, тревогу, суеверный страх, что вот именно сейчас, когда, кажется, все так хорошо, с нею что-нибудь случится. Он вспоминал тысячи опасных вещей, которых он обычно не замечал. Он вспоминал переправу и берег, на котором рвутся мины, и ходы сообщения, такие мелкие, что если в них не нагибаться, то всегда видна голова, а Аня, наверное, не нагибается. Он рассчитывал по часам, когда, примерно, она будет на берегу, когда пойдет баржа, сколько она пройдет, сколько времени займет выгрузка, сколько времени понадобится, чтобы добраться до батальона, сколько минут нужно для того, чтобы положить на носилки раненых, сколько займет дорога обратно. Но эти праздные вычисления (праздные, ибо он лучше, чем кто бы то ни был, знал, как нельзя на войне угадать, что и сколько займет времени) не успокаивали его.

До Сталинграда отсюда было километров восемнадцать. Всю ночь он слышал то удалявшуюся, то приближавшуюся канонаду. Она была, как неумолчный стук часов, ею отмеривалось время. И хотя он знал, что канонада то слышнее, то глуше из-за ветра, это не помогало ему освободиться от тревоги. Когда канонада становилась громче, ему было тревожнее, как будто грохот ее мог быть действительно мерилом опасности для Ани.

Мать Ани вечером долго строчила на швейной машине на другой половине избы. Потом она вошла с огарком, поставила его на стол и взглянула на Сабурова.

— Не спите? — спросила она.

— Нет, не сплю.

— Я тоже первое время, когда она уходила, не спала, а теперь сплю. Ведь у меня трое на фронте, и если за всех не спать, то умрешь в неделю. А у вас есть родные-то?

— Есть. Мать.

— Где?

— Там.

Сабуров сделал тот жест рукой, который делали многие и по которому все сразу понимали, что там — значит у немцев.

— А здесь кто?

— Никого. Одна она... Что вы шили?

— Я-то? Да тут золовка ситчику дала, я и шью Аньке. Девчонка ведь все-таки. Платьице хочет одеть хоть раз в месяц, вот и шью. Но босой придется,— у нее ничего нет. Или вот эти ей дать?

Она села на стул, положила ногу на ногу и задумчиво посмотрела на свои старые, стоптанные, на низких каблуках,

туфли. Потом подняла голову на Сабурова и, должно быть, вспомнив их встречу, сказала:

— Тоже не свои. Добрые люди дали. Раньше у меня нога меньше была, чем у нее, а после, как сожгла, у меня ноги опухшие стали, наверное, ей туфли впору будут. Как думаете?

Она спросила это так, как будто Сабуров знает об ее дочери больше, чем она, мать, и в этом маленьком, смешном, может быть, вопросе было признание всего, о чем он теперь думал.

Не отвечая прямо, Сабуров сказал:

— Я встану, и мы свадьбу сделаем,— и сам улыбнулся этому слову.— Вы не рассердитесь на то, что мы там сделаем свадьбу?

— На той стороне? — спросила она просто.

— Да.

— Где вам жить, там и делайте,— сказала она примирительно. Слова «на той стороне» не удивили ее, потому что для нее «та сторона» была Сталинградом, городом, в котором она жила и полной истины о котором, какие бы слухи сейчас ни доходили оттуда, она все-таки, в силу привычки, не могла себе представить.

— Главное, чтобы переправы этой не было каждый день, по три раза на дню,— сказала она.— Пусть уже лучше там, с вами.

Она долго сидела рядом с Сабуровым и разговаривала о том, о чем любят говорить матери с мужьями своих дочерей,— как Аня росла, как болела скарлатиной и корью, как она отрезала себе косы и потом опять отпустила, как мать за ней ходила всю жизнь, потому что дочь-то ведь одна, и о многих иных мелочах, о которых ей было приятно рассказывать.

Сабуров слушал ее, и ему было и сладостно и грустно,— сладостно от того, что он узнавал эти милые подробности, и грустно потому, что он всего этого не видел сам, а ему, как и всем сильно любящим людям, хотелось быть вечным свидетелем всех ее поступков, всего, что у нее было в жизни до него.

Мать разговаривала с ним, и он чувствовал, что сейчас он был не сильнее, а слабее этой старой женщины, сидевшей против него. Она умела лучше ждать и быть спокойнее, чем он. И даже, пожалуй, она нарочно утешала его этим разговором.

Наконец она ушла. Сабуров не спал всю ночь и лишь часов в одиннадцать утра, когда солнце заглянуло в окна и желтой полосой легло на кровать, он неожиданно для себя задремал. Он проснулся так же, как когда-то в блиндаже, от пристального взгляда. Аня сидела на кровати у его ног и смотрела на него. Он открыл глаза, увидел ее, сел на кровати и протянул к ней руки. Она обняла его и силой уложила обратно.

— Лежи, милый, лежи. Как ты спал?

Ему было стыдно за эти пятнадцать минут, которые он продремал, не дождавшись ее, но говорить, что он не спал всю ночь, он не хотел,— это, наверное, огорчило бы ее больше, чем обрадовало.

— Ничего, спал,— сказал он.— Ну, как там?

— Хорошо,— сказала Аня.— Очень хорошо.

Она говорила весело, но на ее оживленном лице он всё-таки заметил следы страшной усталости. Веки у нее были чуть опущены, как у человека, который долго не спал и хотя совсем не думает о сне, но может заснуть в любую секунду. Он посмотрел на часы: было около двенадцати, а в четыре ей надо было снова уходить.

— Сейчас же ложись спать,— сказал он.— Сейчас же.

— А поговорить? — улыбнулась она.— Мне так хочется поговорить. Я ехала на пароме и все вспоминала, что я тебе еще не сказала. Я столько еще тебе не сказала.

Она наскоро выпила чашку чая, прилегла рядом с ним, свернувшись калачиком, и через минуту заснула сразу, на середине недосказанного слова. Он лежал на спине, подложив согнутый локоть под ее голову, и думал. Скосив глаза, от времени до времени он поглядывал на нее, и ему казалось, что случилось невозможное — время остановилось.

Это же ощущение остановившегося времени продолжалось у него все десять дней, что он прожил здесь до своего возвращения в Сталинград. Он не старался казаться себе более больным или слабым, чем был на самом деле, для того, чтобы подольше остаться среди этого счастья, и в то же время не пытался раньше времени встать. Как человек, привыкший смирять природную порывистость, он пытался заставить себя не думать о том, что сейчас происходило там, в его батальоне. Он помнил, но не хотел мучиться этим,— все равно он не мог там быть сейчас, и что пользы было ежеминутно думать об этом. Оставалось только то, с чем он ничего не мог поделать,— все возраставшее подсознательное ощущение огромности происходящей там битвы. И чем дольше он отсутствовал, тем больше нарастало и становилось тревожнее это ощущение. Он вдруг понял, какой тревогой в человеческих сердцах звучало издали слово «Сталинград».

Вести невольно доходили до него через Аню, через хозяйку, через заходивших иногда из госпиталя раненых, и вести эти были нерадостные. Почти каждый день он узнавал о новых, взятых немцами, улицах. Каждый день расстояние до Волги измерялось все меньшим количеством сотен метров. Все чаще он удерживал себя от того, чтобы расспросить Аню подробней. Он не хотел отсюда, издали, узнавать эти подробности, а откладывал все сразу до того дня, когда он поедет туда сам. Но когда Аня появлялась, по ее глазам, по походке, по усталости он молча делал свои собственные и, как он был уверен, правильные заключения о том, что там происходило в этот день.

Однажды,— это было на шестые или седьмые сутки, часа через три после того, как Аня ушла,— он услышал, как на крыльце кто-то называет его фамилию, потом быстрые шаги, и в комнату вошел Масленников.

— Алексей Иванович, дорогой! — торопливо закричал Масленников с порога и скорее подбежал, чем подошел к нему, остановился на минуту, решительно обнял его, расцеловал,

снял шинель, подвинул скамейку, сел против него, волнуясь вытащил папиросу, предложил ему, чиркнул спичкой, закурил,— все это быстро, в полминуты,— и наконец уставился на него своими любопытствующими, ласковыми черными глазами.

— Ты что же батальон бросил, а? — улыбнулся Сабуров.

— Проценко приказал,— сказал Масленников.— Пришел в полк, потом в батальон и приказал мне на ночь к вам съездить. Как вы, Алексей Иванович?

— Ничего,— сказал Сабуров и, встретив внимательный взгляд Масленникова, спросил: — Что, я сильно похудел?

— Похудели.

Масленников вскочил, полез в карманы шинели, вытащил пачку печенья, пакет с сахаром, три банки американских консервов, быстро положил все это на стол и опять сел.

— Подкармливаешь начальство?

— У нас много всего сейчас. Снабжают хорошо.

— А по дороге топят?

— Иногда топят. Все как при вас, Алексей Иванович.

— Ну, какие же ты геройские подвиги там без меня совершил?

— Какие же? Все так же, как при вас,— сказал Масленников. Ему хотелось рассказать, что и он, и вообще все ждут Сабурова, но, поглядев на похудевшее, усталое лицо капитана, он удержался.

— Как, ждете меня? — спросил сам Сабуров.

— Ждем.

— Дня через три приду.

— А не рано?

— Нет, как раз,— спокойно сказал Сабуров.—Где вы сейчас? Все там же?

— Все там же,— сказал Масленников.— Только левее нас они совсем к берегу подошли, так что проход до полка теперь узкий, только ночью ходим.

— Ну, что же, придется до вас ночью добираться. Ночью приду с ревизией. Как Ванин воюет?

— Хорошо. Мы с ним Конюкова командиром взвода назначили.

— Справляется?

— Ничего.

— Кто жив, кто нет?

— Почти все живы. Раненых только много. Гордиенко ранили.

— Сюда привезли?

— Нет, остался там. Его легко, но зато в четырех местах сразу ткнули. А меня все не ранят и не ранят,— оживленно закончил Масленников.— Я иногда даже думаю, наверное, меня или так никогда и не ранят, или уж сразу убьют.

— А ты не думай,— сказал Сабуров.— Ты раз навсегда подумай, что это вполне возможно, а потом уже каждый день не думай.

— Я так и стараюсь.

Они целый день проговорили о батальоне, о том, кто где расположен, что переместилось и что осталось попрежнему.

— Как блиндаж? — спросил Сабуров.— Все на том же месте?

— На том же,— сказал Масленников.

Сабурову было приятно, что его блиндаж все там же, на старом месте В этом была какая-то незыблемость. и, кроме того, он подумал об Ане и о своих словах про свадьбу в блиндаже.

— Слушай, Миша,— неожиданно обратился он к Масленникову:— Ты не удивился, что я не в госпитале, а здесь?

— Нет. Мне сказали.

— Что тебе сказали?

— Все.

— Да... Я очень счастлив...— помолчав, сказал Сабуров.— Очень, очень. А помнишь, как она сидела на барже и волосы выжимала, а я сказал тебе, чтобы ее шинелью накрыли? Помнишь?

— Помню.

— А потом мы пошли, а ее уже не было.

— Нет, этого не помню.

— Ну, а я помню. Я все помню... Я тут думал просить,— добавил он после паузы,— чтобы ее сестрой в наш батальон взяли, а потом как-то сердце защемило.

— Почему?

— Не знаю. Боюсь испытывать судьбу. Вот так она ездит каждый день и цела, а там... не знаю. Страшно самому что-то менять.

Сабурову очень хотелось продолжать до бесконечности говорить об Ане, но, удержавшись, он оборвал разговор и спросил:

— А Проценко, как он выглядит?

— Ничего,— сказал Масленников.— Смеется, как всегда, даже чаще.

— Это плохо,— сказал Сабуров.— Значит, нервничает.

— Почему нервничает?

— Когда ему тяжело, он смеется чаще, чем обычно. Да, главного-то и не спросил. Кто командир полка?

— Совсем новый, майор Попов.

— Ну, как?

— Ничего, пожалуй, даже хорошо. Лучше Бабченко.

— Тоже храбрый?

— Тоже храбрый. Да к тому же и спокойный. И не угрюмый,— веселый, подстать генералу. Они, кстати, раньше, кажется, где-то вместе служили.

— Даже наверное. Генерал никогда не забывает своих старых сослуживцев. Это вообще-то хорошо. Этого у нас иногда нехватает.

— Чего?

— Памяти.

Так они поговорили еще минут десять, после чего Масленников вдруг заторопился, и Сабуров прочел на его лице новое выражение взрослой ответственности. Масленникову было не

по себе, что его долго нет в батальоне. Он заторопился и сразу стал отсутствующим: он был уже там, на той стороне.

— К вечеру,— сказал Сабуров,— через три дня. Чаю вскипяти. Я тут самовар сватал,— кивнул он на стоявший в углу самовар.— Хотел вам в блиндаж подарок привезти. Не отдают. Ну, иди, иди. Передай всем привет. Она сегодня в дивизию поехала. Может, и у вас там будет.

— Ну, что же передать?

— Что передать? Чаем напои, а то она сама не догадается. Иди. Не прощаюсь.

Через день после прихода Масленникова Сабуров в первый раз встал и попробовал ходить. Ноги ныли и подламывались. Чувствуя слабость и головокружение, он вышел на улицу и немного постоял у калитки, прислушиваясь к далекому артиллерийскому гулу.

Аня с каждым днем приезжала все позднее и уезжала все раньше. По ее усталому лицу он видел, как было ей трудно, но они не говорили об этом. К чему?

Доктор, по просьбе Ани забежавший к Сабурову на минуту из госпиталя, не стал осматривать его, только профессиональным движением пощупал ноги у колен и лодыжек, глядя ему в лицо и спрашивая, больно ли. Хотя на самом деле было больно, но Сабуров к этому приготовился и сказал, что не больно. Потом он спросил, когда завтра уходят грузовики к переправе. Доктор сказал, что, как обычно, в пять вечера.

— Что, уже удирать от нас собираетесь?

— Да,— сказал Сабуров.

Доктор не удивился, не стал спорить и возражать: он привык,— здесь, под Сталинградом, это было в порядке вещей.

— Грузовики уходят в пять часов. Но вы все-таки помните, что не совсем здоровы.

— Я помню.

— Ну, ладно, пока,— сказал доктор, вставая и пожимая Сабурову руку.

Сабурову вдруг захотелось созорничать: задержав на секунду руку доктора в своей, он пожал ее не изо всей силы, но все-таки достаточно крепко.

— Ну вас к чорту! — сказал доктор.— Я же говорю, поезжайте. Что вы мне доказываете? — и потирая пальцы, он повернулся и пошел к двери.

Когда Аня приехала, Сабуров сказал, что завтра он возвращается в Сталинград. Аня промолчала. Она даже не заспорила — не рано ли, и не просила его остаться еще на день. Все эти слова были бы лишними между ними.

— Только вместе,— сказала она.— Хорошо?

— Я так и думал.

Весь день она была тиха и задумчива и хотя очень устала, но на этот раз ее не клонило ко сну. Она молча сидела рядом с ним, гладила его по волосам и внимательно рассматривала его лицо, словно старалась лучше запомнить.

Она так и не заснула, а он задремал на полчаса, и она его разбудила тогда, когда ей нужно было уходить, еще раз грустно погладила его по волосам и сказала: «Пора мне». Он встал,

проводил ее до ворот и долго смотрел, как она торопливо шла по улице.

Утром Сабуров сложил в свой вещевой мешок свои немногочисленные вещи. Ани не было особенно долго. Он несколько раз выходил на дорогу, а она все не шла. Было уже два часа — ее не было, потом три, потом четыре... В половине пятого он уже должен был отправляться, чтобы не опоздать на попутный санитарный грузовик. Он вышел еще раз на дорогу, долго там стоял, потом вернулся в избу и, присев к столу, написал короткую записку о том, что едет, не дождавшись ее. Сначала он хотел подписаться «Сабуров», но это было как-то официально, потом «Алеша», но это было непривычно, тогда он написал только букву «А» и поставил точку.

Потом он простился с матерью Ани. Она не всплеснула руками, не сетовала, а приняла его отъезд спокойно. Наверное, это спокойствие было их семейным качеством.

— Не дождетесь?

— Нет, уже ехать надо.

— Ну, поезжайте.

Она на секунду прижалась к нему и поцеловала в щеку. Только в этом и выразилась ее тревога и волнение за него и за дочь.

Без десяти пять, вглядываясь в каждого встречного, он пошел по направлению к госпиталю. Накануне мальчишки срезали ему толстую вишневую палку, и он шел, прихрамывая и тяжело опираясь на нее.

Грузовики двинулись в начале шестого. Его хотели посадить с шофером в кабину, но он сел в кузов, надеясь, что оттуда скорее увидит Аню, если она встретится по дороге. Он ехал, лежа в кузове, и выглядывал с левого борта, рассматривая все встречные машины. Но Ани на них не было. К вечеру стало совсем свежо; он надвинул поглубже фуражку и поднял воротник шинели.

Через три километра они свернули на главную магистраль, шедшую из Эльтона к переправам. Дорога была много раз разбита и столько же раз снова починена. Она изобиловала ухабами, и грузовик сильно трясло. Ноги больно ударялись о днище кузова. В воздухе на большой высоте шли последние, вечерние, воздушные бои. Немецких самолетов было много. Наши появлялись только изредка, двойками и в одиночку. В воздухе, видимо, было так же тяжело, как и на земле. Пока Сабуров ехал, немцы два раза бомбили колонну. К переправе шли грузовики, доверху набитые ящиками со снарядами, коровьими тушами и мешками.

В прибрежной слободе, у переправы, он увидел прямо на улице еще дымившиеся обломки «Мессершмитта». Обогнув их, грузовик выехал к самой переправе. Немцы вели по слободе методический, хотя и довольно редкий огонь из тяжелых минометов. Все, пожалуй, внешне было так же, как и раньше, когда Сабуров переправлялся здесь в первый раз, только стало холоднее. Волга так же стремила свои воды, но они были уже словно скованные, тяжелые, и чувствовалось, что не сегодня — завтра по реке пойдет сало.

Когда, оставив грузовики, все спустились пешком к самой переправе, к которой в это время подходил маленький пароходик с баржой, Сабуров подумал, что на этом берегу встречи с Аней уже не будет. Он сел на песок и, перестав оглядываться по сторонам, с удовольствием закурил. Ему всегда казалось, что делается теплее, когда закуришь.

Пароход привалил к пристани. Метрах в ста сзади, на берегу, разорвалось несколько мин. С парохода и баржи вереницей тащили носилки с ранеными. Сабуров безучастно сидел и ждал. С разгрузкой и погрузкой торопились, но кругом стояло куда меньше шума, чем тогда, когда он переплывал в первый раз. «Привыкли»,— подумал он. Все кругом делалось быстро и привычно. И город на той стороне, когда он посмотрел на него, показался ему тоже привычным, и он удивился, что так долго там не был — целых восемнадцать дней.

Предъявив документ коменданту по погрузке, он уже двинулся по сходням, ведущим на полуразбитую баржу, служившую пристанью. В эту минуту его окликнула Аня.

— Я знала, что увижу тебя здесь,— сказала она.— Я знала, что ты не будешь меня ждать, что ты все равно уедешь в пять. Верно ведь?

— Верно.

— Я приехала еще с той баржой и размещала раненых, а потом стала ждать тебя. Мы вместе сейчас поедем туда.

— Хорошо. Смотри,— сказал Сабуров, взяв ее под локоть и указывая на тот берег,— меньше ведь стало дымиться, верно?

— Верно, меньше.

— А грохот больше.

— Да, больше,— согласилась она.— Ты отвык от него.

— Ничего, привыкну.

Они пошли по шатким сходням на баржу, а с нее перелезли на пароход. Аня первая перескочила на борт парохода и подала Сабурову руку, чтобы помочь влезть. Он принял ее руку и тоже перескочил с неожиданной для себя ловкостью. Нет, он был прав, что поехал: он был здоров, почти здоров.

Пароходик отчалил. Они сидели на борту, спустив ноги за борт и придерживаясь за поручни. Внизу колыхалась, кое-где поблескивая первыми льдинками, по-осеннему сердитая Волга.

— Холоднее стало,— сказала Аня.

— Да.

Им обоим не хотелось говорить. Они сидели, прижавшись друг к другу, и молчали.

Пароход приближался к берегу. Все внешне было, как прежде, и город отсюда был почти тот же. Казалось, ничего не переменилось в его пейзаже и вообще ничего не переменилось, если не считать, что в их жизнь вошло то, чего не было тогда ни у него, ни у нее: они оба знали это про себя и молчали.

— Хорошо,— вполголоса сказал он.

И она, так же вполголоса, ответила:

— Хорошо.

Берег все приближался.

— Готовь чалку! — крикнул пропитой, хриплый волжский бас, точно такой же, как и тогда, полтора месяца назад.

Пароход причалил к пристани, еще более разбитой, чем там, на другом берегу. Сабуров и Аня сошли одни из последних, и хотя им до полка предстояло добираться вместе, но Сабурову показалось, что ему долго не придется теперь сделать того, что ему так хотелось сделать сейчас! Он притянул Аню, сначала погладил ее по волосам, потом поцеловал. Они пошли рядом. Пришлось взбираться вверх, по темному, изрытому воронками, откосу. Он иногда оступался, но шел быстро, почти не отставая от нее. Под ногами его опять была земля Сталинграда — та же самая, холодная, твердая, не изменившаяся за этот месяц, не отданная немцам земля.

XVI

Стояли первые дни ноября. Снега выпало мало, и от бесснежья ветер, свистевший среди развалин домов, казался особенно леденящим. Летчикам с воздуха земля казалась пятнистой, черной с белым.

По Волге шло сало. Переправа сделалась почти невозможной. Все с нетерпением ждали, когда Волга наконец совсем станет. Хотя в армии сделали некоторые запасы провианта, патронов и снарядов, но немцы атаковали непрерывно и ожесточенно и запасы таяли с каждым часом.

От штаба армии теперь была отрезана еще одна дивизия, кроме дивизии Проценко. Немцы вышли к Волге не только севернее Сталинграда, но и в трех местах в самом городе. Сказать, что бои шли в Сталинграде, значило бы сказать слишком мало: почти повсюду бои шли у самого побережья, редко где от Волги до немцев оставалось полтора километра, а иногда это расстояние измерялось несколькими сотнями метров. Понятие какой бы то ни было безопасности исчезло: все пространство, без исключения, простреливалось.

Во многих местах целые кварталы можно было видеть насквозь. Они были целиком снесены бомбежкой и методическим артиллерийским огнем с обеих сторон. Неизвестно, чего больше лежало теперь на этой земле — камня или металла, и только тот, кто знал, какие в сущности незначительные повреждения наносит большому дому один, даже тяжелый, артиллерийский снаряд, мог понять, какое количество железа было обрушено на город.

На штабных картах пространство измерялось уже не километрами и не улицами, а домами. Бои шли за отдельные дома, и дома эти фигурировали не только в полковых и дивизионных сводках, но и в армейских, представляемых во фронт.

Телефонная связь штаба армии с отрезанными дивизиями шла с левого берега на правый и опять с правого на левый. Некоторые дивизии снабжались каждая сама по себе, со своих собственных, находившихся на левом берегу, против нее, пристаней.

Работники штаба армии уже два или три раза сами защищали штаб с оружием в руках, а о штабах дивизий не приходилось и говорить,— там это стало обыденным явлением, бытом.

Через три или четыре дня после того как Сабуров вернулся из госпиталя, Проценко вызвали в штаб армии. Несмотря на то, что Проценко в общем реально представлял себе обстановку, все же он был удивлен близостью штаба к немцам,— расстояние это, пожалуй, не превышало сейчас четырехсот метров.

Когда в ответ на вопрос, сколько у него штыков, Проценко доложил, что полторы тысячи, и умоляющим тоном спросил, нельзя ли малость подкинуть, командующий, не дав ему договорить, сказал, что он, Проценко, пожалуй, самый богатый человек в Сталинграде и что если где-нибудь понадобятся люди для подкрепления, то их возьмут именно у него. Проценко, схитривший при подсчете и умолчавший о том, что в последние дни он переправил с того берега и сделал бойцами еще сто человек своих тыловиков, замолчал и больше не возвращался к этому вопросу.

После официальной части разговора, за ужином, Матвеев включил радиоприемник, и они долго слушали немецкое радио. К удивлению Проценко, Матвеев, никогда раньше не говоривший об этом, порядочно знал немецкий язык,— во всяком случае, настолько, чтобы переводить почти все, что передавали немцы.

— Ты чувствуешь, Александр Иванович,— говорил Матвеев,— какие они все-таки стали осторожные в словах. Ведь вот раньше: ворвутся где-нибудь на окраину города,—помню, так с Днепропетровском было,— и уже кричат на весь мир: «Взяли». Или даже больше, к Москве когда подходили, за тридцать километров были и уже заявляли: «Завтра парад». А теперь и на самом деле в городе, и больше половины взяли,— что правда, то правда,—и все-таки не говорят, что забрали Сталинград. И точных сроков не дают. А в чем, по-твоему, причина?

— В нас,— сказал Проценко.

— Вот именно, в нас. И в тебе, в частности, и в твоей дивизии, хотя в ней сейчас всего тысяча шестьсот штыков.

Проценко был неприятно поражен этой истинной цифрой и изобразил на лице деланное удивление.

— Тысяча шестьсот,— повторил Матвеев.— Я уже при командующем не разоблачал тебя, что ты сто человек спрятал. Крик был бы. Но на самом-то деле все-таки тысяча шестьсот, и не спорь, пожалуйста.

И он рассмеялся, довольный тем, что поймал хитрого Проценко. Проценко тоже рассмеялся.

— Так вот,— продолжал Матвеев,—боятся заявлять сроки. Это хорошо... Сеня,— крикнул он адъютанту,— дай коньяку! Когда еще ко мне Проценко приедет. Как, по Волге-то сало пошло, а?

— Да, понемногу начинает леденеть,— сказал Проценко,—

По веслам льдинки царапают. Завтра, наверное, переправы совсем не будет.

— Ну, это мы предвидели,— сказал Матвеев.— Только бы скорей стала Волга. Одна к ней, единственная теперь от всей России просьба,— чтобы скорей стала.

— Может не послушать,— сказал Проценко.

— Может,— согласился Матвеев.— Тогда будет трудно. Но...— он поднял палец.— Вот за это «но» и выпьем.

Он налил коньяку себе и Проценко и, чокнувшись с ним, залпом выпил. Проценко последовал его примеру.

— Это «но»,—сказал Матвеев,—опять-таки мы с тобой. Послушает или не послушает Волга, а стоять нам надо.

Проценко возвращался в дивизию в хорошем и даже немножко приподнятом настроении. То, что ему сегодня окончательно отказали в пополнении людьми, как это ни странно, вселило в его душу неожиданное спокойствие. До этого он каждый день с тревогой подсчитывал свои потери и с нетерпением ждал, когда придет пополнение. Теперь ждать было нечего: он должен был воевать с тем, что есть, и надеяться только на это. Ну, что же, так, по крайней мере, все ясно: именно те люди, что уже переправились через Волгу и сидят вот сегодня вместе с ним на этом берегу, именно они и должны умереть, но не отдать тех пяти кварталов, что достались на их долю. И хотя Проценко вполне отчетливо представил себе, что если так, то и он сам и большинство тех, кого он знал в дивизии, очевидно, умрут здесь, на сталинградском берегу, но даже и об этом он подумал сейчас без содрогания и скорби. «Ну и будет так. Ну и что? Ну и убьют меня и многих других. Все равно, у немцев ничего не выйдет».

— Ничего не выйдет! — повторил он вслух, так громко, что шедший сзади него адъютант подскочил к нему.

— Что прикажете, товарищ генерал?

— Ничего не выйдет,— еще раз повторил Проценко.— Ничего у них не выйдет, понял?

— Так точно,— сказал адъютант.

Они сели в лодку. Когда гребцы опускали весла в воду, за весла все чаще цеплялись льдинки.

— Становится,— сказал Проценко.

— Да, сало идет,— ответил красноармеец, сидевший на веслах.

В этот предутренний час Сабуров только что вышел из блиндажа на воздух, подышать.

У входа в блиндаж сидел Петя. Людей в батальоне было теперь так мало, что в последние дни он выполнял одновременно обязанности и ординарца, и повара, и часового. Петя сделал порывистое движение, собираясь при виде капитана вскочить.

— Сиди,— сказал Сабуров и, прислонившись к бревнам, которыми был обшит вход в блиндаж, несколько минут стоял молча и прислушиваясь. Стреляли мало, только изредка, провизжав над головой, где-то далеко ударялась в самый берег или плюхалась в воду одинокая немецкая мина.

— Долго меня не было, Петя?

— Долго, товарищ капитан.
Петя поежился.
— Что, холодно?
— Есть немножко.
— Иди в блиндаж, погрейся. Я тут пока постою.
Оставшись один, Сабуров повернулся сначала налево, потом направо. Среди сразу нахлынувшей на него сутолоки он в эти дни так и не успел оглядеться, и сейчас его поразил ночной сталинградский пейзаж.
За то время, что его не было здесь, Сталинград неузнаваемо переменился. Раньше все поле зрения было загромождено пусть полуразбитыми, но все-таки домами. Сейчас местами глазу открывался почти простор. Тех трех домов, которые защищал батальон Сабурова, в сущности уже не было: были только фундаменты, на которых кое-где сохранились остатки стен и нижние части пролетов окон. Все это выглядело как распиленная пополам детская игрушка. Слева и справа от домов тянулись сплошные развалины. Кое-где торчали трубы. Остальное сейчас, ночью, сливалось в темноте и выглядело холмистой каменной равниной. Казалось, что дома ушли под землю и над ними насыпаны могильные холмы из кирпича.
Сабуров удивился: неужели все это произошло за те восемнадцать дней, что он отсутствовал, и впервые он почувствовал, как огромно было все, что творилось вокруг него и в чем он участвовал.
Вернувшись в блиндаж, Сабуров на минуту, не раздеваясь, прилег на койку и неожиданно для себя заснул. Он проснулся только тогда, когда с удивлением обнаружил, что через дверь блиндажа пробивается свет. Судя по времени, он проспал никак не меньше четырех часов. Очевидно, Ванин и Масленников, все еще считая его больным, ушли, решив не будить его. Он прислушался,— как будто было тихо, почти не стреляли. Ну, что же, в конце концов, это естественно: после всех этих дней беспрерывных атак должна же была наступить когда-нибудь, хоть на некоторое время, тишина. Он еще раз прислушался: да, как ни странно,— тихо.
Дверь открылась, и, как всегда быстро сбежав по ступенькам, в блиндаж вошел Ванин.
— Проснулся?
— Что ж не разбудили?
— А зачем? Когда еще в другой раз тихо будет...
— Что, в ротах был?
— Да, в третью ходил.
— Ну, как там, наверху? Никаких особых происшествий?
— Пока никаких,— усмехнулся Ванин.— Как пишут газеты: «Бои в районе Сталинграда».
— Какие потери сегодня? — спросил Сабуров.
— Пока — один убитый и пять раненых.
— Много.
— Да. На прежнюю мерку немного, а сейчас много. Но из пятерых раненых только одного в тыл отправляем, а четверо остаются.
— А могут остаться?

— Как тебе сказать? В общем, не могут, а по нынешнему положению могут... Ты-то как сам — лучше себя чувствуешь?

— Лучше. Где Масленников?

— Ушел в первую роту.

Ванин усмехнулся.

— Все никак не можем привыкнуть, капитан, что батальон уже не батальон. Все называем: «роты, взводы, отделения». Сами уже, все вместе взятые, давно ротой стали, а привыкнуть не можем.

— И не надо,— сказал Сабуров.— Когда мы, милый, привыкнем к тому, что мы не батальон, а рота, то нам придется два дома из трех оставить, потому что ротой мы не можем три дома оборонять, мы их можем оборонять только батальоном. А стоит нам представить себе, что мы — рота, и уже сил нехватит.

— И так иногда нехватает.

— Ты, по-моему, в пессимизм ударился.

— Немного. Смотрю на этот бывший город, и душа болит. А что, нельзя?

— Нельзя.

— Ну, что ж, нельзя, так нельзя... Мне Масленников сказал, ты вроде как жениться собрался,— добавил Ванин после паузы.

Ванин знал это еще до приезда Сабурова, но до сих пор не обмолвился ни словом.

— Да,— сказал Сабуров.

— А свадьба?

— Свадьба когда-нибудь.

— Когда?

— После войны.

— Нет,— сказал Ванин, улыбаясь,— не пойдет.

— Почему?

— А потому, что ты меня после войны на свадьбу не пригласишь.

— Приглашу.

— Нет. Это всегда на войне говорится: «Вот после войны встретимся». Не встретимся. Ты будешь в одном месте, я в другом. А я на твоей свадьбе погулять хочу. Ты не знаешь, как я тут без тебя, чорт, соскучился. И с чего бы это? Говорили мы с тобой пять раз в жизни, а соскучился. Так что давай не откладывай в долгий ящик.

На лице Ванина было выражение затаенной грусти. Этот человек самой своей профессией призван был к тому, чтобы думать о других, опекать других и сочувствовать другим. Но редко кому в голову приходило, что его самого иногда надо опекать, что ему самому иногда надо сочувствовать, что у него самого могут быть те же, что и у других, беды и несчастья. На лице Ванина было написано сочувствие человека, которому самому горько и трудно и которому от этого,— потому что он хороший человек,— особенно хочется, чтобы у другого было счастье.

— Хорошо,— сказал Сабуров.— Как прикажешь, комиссар: здесь быть свадьбе, так здесь. День вместе выберем?

— Вместе.
— А немцев не спросим?
— Нет,— тряхнул головой Ванин.— Что их спрашивать? Их спрашивать, так до свадьбы не доживешь.
— А где твои? — спросил Сабуров, внутренне упрекнув себя за то, что он до сих пор, уподобившись Бабченко, воюя рядом с Ваниным, не удосужился спросить, есть ли у него семья и где она.
— Что — мои? — переспросил Ванин, и лицо его сразу стало холодным, как будто запертым на замок.
— Ну, твои — семья, где они, как?
— Не будем об этом,— сказал Ванин.
— Почему?
— Не будем. Ничего о них не знаю, и нечего об этом говорить, это тут ни при чем.
Он отвернулся и стал копаться в бумагах. Сабуров замолчал, поудобнее сел на койке, прислонился к стене и, свернув самокрутку, закурил.
Слова Ванина о свадьбе невольно заставили его, уже в который раз за эти дни, вспомнить об Ане. С тех пор, как они расстались на берегу, он видел ее всего один раз. Уже через три или четыре часа своего пребывания здесь, почувствовав, какого напряжения достигли бои, Сабуров понял, что все, о чем они с Аней думали, произойдет совсем не так и их решение быть вместе не играет никакой роли в происходящем кругом. То, что ему казалось таким простым там, в медсанбате,— попросить Проценко, чтобы Аня была сестрой именно в его батальоне,— эта простая, казалось, просьба до такой степени была не ко времени сейчас, здесь, что у него не повернулся бы язык заговорить об этом с Проценко.
Аня появилась лишь на третьи сутки, под вечер. Хотя у них и было пятнадцать минут на то, чтобы поговорить, они не сказали друг другу ни слова о решениях, которые были приняты на том берегу. Он был бесконечно благодарен Ане за то, что она здесь не возобновила этого разговора. Как и все мужчины, больше всего на свете он не любил ощущения собственной беспомощности. Какие бы слова он ни сказал ей на том берегу, здесь он не был пока в состоянии ничего переменить и все должно было итти так, как шло.
Аня пришла, когда он только что вернулся после отражения очередной немецкой атаки и сидел у себя в блиндаже вдвоем с Масленниковым. Войдя в блиндаж, она быстро подошла к Сабурову и, не дав ему встать, крепко обняла его, несколько раз поцеловала прямо в губы сухими горячими губами, потом повернулась и, подойдя к Масленникову, поздоровалась с ним за руку. По всем ее движениям, по ее взгляду Сабуров сразу понял, что она не возобновит того старого разговора, но что тем не менее она его жена и тем, как она пришла, она дает ему понять, что ничего не забыто и не изменилось.
Масленников вышел. Ни Сабуров, ни Аня не удерживали его. Сабуров знал, что он сам на месте Масленникова сделал бы так же. Десять минут они просидели рядом на койке, обнявшись и откинувшись к стене. Им ни о чем не хотелось

говорить,— наверное, потому, что все, что бы они ни сказали, было неважно по сравнению с тем, что они все-таки среди всего окружающего сидели рядом. Это были десять минут счастья, не омраченного мыслями о будущем. Он не спросил ее о том, куда она пойдет (он знал, что за ранеными), не сказал ей, сколько у него в батальоне сегодня раненых (она это узнает и без него), он даже не спросил, ела она или нет. Он чувствовал, что эти десять минут у них лишь для того, чтобы вот сидеть так и молчать. И когда Аня встала, он не удерживал ее.

Она поднялась, взяла его за обе руки, чуть-чуть потянула к себе, потом отпустила, опять крепко прижалась к нему губами и молча вышла.

Больше она не приходила. Вчера за ранеными пришла другая сестра и принесла Сабурову записку, нацарапанную карандашом на обрывке бумаги. Там стояло: «Я в полку у Ремизова. Аня». Сабурова не обидело то, что записка была такой короткой. Он понимал, что никакие слова не могли выразить того большого, что было между ними. Аня просто говорила этой запиской, что она жива и где она сейчас. Она, наверное, и теперь, в эту минуту, была там, у Ремизова, всего в каких-нибудь пятистах, таких коротких и таких непреодолимых, шагах от него.

Целая серия снарядов одновременно рухнула где-то над самым блиндажом и вслед за ней вторая и третья, потрясшие землю Сабуров посмотрел на часы и, усмехнувшись, подумал, что немцы, как всегда, пристрастны к точному времени. Они редко начинали с минутами, а почти всегда в ноль-ноль. Так и сейчас. Залпы следовали один за другим.

Сабуров, не надевая шинели, вылез из блиндажа в ход сообщения. Кругом все ревело от канонады.

— Ванин, очевидно, что-то начинается. Позвони в полк! — крикнул он, наклоняясь ко входу в блиндаж.

— Звоню. Связь прервана,— донесся до него голос Ванина.

— Петя, пошли связистов.

Петя выскочил из окопа, перебежал десять метров пространства, отделявшего его от блиндажа связистов, задержался там полминуты, и вслед за ним из блиндажа появились два связиста, которые, быстро перебегая от развалин к развалинам, направились вдоль линии к штабу полка. Сабуров наблюдал за ними. Минуту они шли быстро, не прячась. Потом серия разрывов обрушилась неподалеку от них, и они легли, снова поднялись, снова легли и снова поднялись. Он еще несколько минут следил за их маленькими фигурками, пока они не скрылись из виду за развалинами.

— Связь восстановлена! — крикнул из блиндажа Ванин.

— Что говорят? — спросил Сабуров, входя в блиндаж.

— Говорят, что по всему фронту дивизии огневой налет. Наверное, будет общая атака.

— Масленников в первой? — спросил Сабуров.

— Да.

— Ты оставайся тут,— сказал он Ванину,— а я пойду во вторую.

Ваник попробовал протестовать, но Сабуров, морщась от боли, уже натянул шинель и вышел.

То, что происходило после этого в течение четырех часов, Сабурову потом было бы даже трудно вспомнить во всех подробностях. На счастье, позиции батальона лежали так близко от немецких, что немцы не решались использовать авиацию. Но зато все остальное обрушивалось на батальон в таких размерах, как никогда.

Немцы так загромоздили улицы обломками разрушенных зданий, что танкам уже негде было пройти, но они все-таки дошли до последнего предела и подобрались почти к самым домам, где сидели люди Сабурова. Из-за уступов разломанных стен с коротким шлепающим звуком били их 55-миллиметровые пушки. Все это сливалось с непрерывной трескотней пулеметов и автоматов.

Несколько раз за эти четыре часа Сабурова осыпало землей от близких разрывов. Чувство опасности, которое, как и у всех людей, обычно у него сохранялось даже в трудные минуты, на этот раз исчезло, настолько беспрерывна была опасность. Очевидно, исчезло это чувство опасности и у солдат, которыми он командовал. Пожалуй, сказать в эти минуты, что он ими командовал, было бы не совсем верно. Он был рядом с ними, а они и без команды делали все, что было нужно. А нужно было лишь оставаться на месте и при малейшей возможности поднимать голову,— стрелять, без конца стрелять по ползущим, бегущим, перепрыгивающим с обломков на обломки немцам.

Сначала у Сабурова было ощущение, что бой движется прямо на него и все, что сыплется, валится, идет и бежит, направлено туда, где он стоял. Но постепенно он начинал скорее чувствовать, чем понимать, что удар направлен правее и что немцы, очевидно, хотят сегодня наконец отрезать их полк от соседнего и выйти к Волге. На исходе четвертого часа боя это стало совершенно очевидным.

Уходя из второй роты на правый фланг, в первую, стоявшую в самом пекле, на стыке с соседним полком, Сабуров приказал перетащить вслед за собою батарею батальонных минометов.

— Товарищ капитан,— недовольно протянул командир второй роты Потапов.

— Что?

— Последнее забираете,— развел Потапов руками, и в голосе его дрожала обида.

— Где тяжелее, туда и беру.

— Так сегодня же так: сейчас там тяжелее, через час у меня.

— Не только о себе надо думать, товарищ Потапов.

В другое время он бы, наверное, резко крикнул на Потапова, но сейчас он чувствовал, что Потапову действительно страшно остаться (не за себя, а за роту) без этих минометов.

— Понимаешь, Иван Ильич,— сказал он,— по-моему, там на полк Ремизова жмут. Могут к Волге выйти. Надо им во фланг ударить. Прикажи, чтобы быстрее тянули. Ну?

Он посмотрел в лицо Потапову, удостоверился, что тот понял, и протянул ему руку:

— Ну, держись. Ты без минометов удержишься, я тебя знаю.

В первой роте, когда он пришел туда, творился сущий ад. Масленников, потный, красный от возбуждения, несмотря на холод, без шинели, с расстегнутым воротом гимнастерки, сидел, прижавшись спиной к выступу стены, и, торопливо черпая ложкой, ел из банки мясные, покрытые застывшим жиром, консервы. Рядом с ним на земле лежали двое бойцов и стоял ручной пулемет.

— Ложку капитану,— сказал он, увидев Сабурова.— Садитесь, Алексей Иванович. Кушайте.

Сабуров сел, зачерпнул несколько раз из банки и закусил хлебом.

— Что это тут пулемет? Зачем?

— Вон, видите,— показал Масленников вперед, туда, где метрах в пятидесяти перед ними возвышался обломок стены с куском лестничной клетки и двумя окнами, обращенными в сторону немцев.— Приказал снять с позиции пулемет. Сейчас полезем туда втроем. Прямо из окошка будем бить. Отсюда все видно, как на ладони.

— Сшибут,— сказал Сабуров.

— Не сшибут.

— Первым же снарядом сшибут, как заметят.

— Не сшибут,— упрямо повторил Масленников.

Он не хуже Сабурова знал, что должны сшибить, но именно оттого, что сшибить непременно должны, а он все-таки туда полезет, у него было бессознательное чувство, что, вопреки всем вероятиям, его именно не сшибут и все это выйдет очень хорошо.

— Справа весь седьмой корпус заняли,— сказал он.— На Ремизова жмут.

— В седьмом уже не стреляют?— спросил Сабуров.

— Нет, наверное, всех побили. Разрезать могут сегодня, если так пойдет дальше.— Масленников кивнул на пулемет.— А мы выставим в окно и прямо оттуда чесать будем. Хоть немного да поможем, а?

— Хорошо,— сказал Сабуров.

— Могу итти? — спросил Масленников.

— Можешь.

Масленников повернулся к двум ожидавшим его бойцам, кивнул им, и они втроем вышли из-за укрытия и двинулись к обломкам дома, перебегая, ложась и снова перебегая.

Сабурову было хорошо видно, как они благополучно добрались до дома, как перелезли через обломки и, передавая из рук на руки пулемет, стали карабкаться по остаткам лестничной клетки. В это время несколько мин разорвалось рядом с окопом, в котором был Сабуров, и ему пришлось лечь.

Когда он поднялся, то увидел, что Масленников и бойцы уже устроились в окопе и ведут оттуда огонь. Через несколько минут около обломков стены стали рваться немецкие снаряды. Масленников продолжал стрелять. Потом стена окута-

лась дымом и пылью. Когда дым рассеялся, Сабуров увидел, что все трое попрежнему стреляют, но ниже их в стене немецким снарядом пробито большое сквозное отверстие. Еще один снаряд разорвался выше, и Сабуров увидел, как один из пулеметчиков, раскинув руки, словно ныряя, но только спиной, упал с выступа третьего этажа вниз, на камни. Если даже он был только ранен, то все равно теперь, наверное, разбился насмерть.

Сабуров видел, как Масленников лег плашмя на выступ, сложил руки в трубку и что-то крикнул вниз один раз, и еще раз, потом повернулся к пулемету и опять начал стрелять. Хотя немцы, заметив Масленникова, били в него с близкого расстояния, но попасть в амбразуру окна им пока не удавалось.

Еще один снаряд пробил стену ниже Масленникова — между вторым и третьим этажом. Потом через десять минут, неизвестно отчего, то ли от осколка, то ли от пули, второй номер оторвался от пулемета, покачнулся, чуть не упал вниз и, сбалансировав, остался сидеть на краю уступа. Масленников оставил пулемет, подтянулся к раненому и положил его плашмя вдоль стены, так, чтобы тот не упал. Несколько секунд он оставался так, нагнувшись над раненым, и опять вернулся к пулемету. Теперь он стрелял один.

Тем временем от Потапова подтащили три миномета,— четвертый разбило по дороге. Сабуров вылез вместе с минометчиками вперед и расположил их за обломками каменного забора. Они сейчас же открыли огонь по немецкой батарее, которая била по Масленникову. Едва минометы успели открыть огонь, как немцы сейчас же засекли их расположение и десятки снарядов обрушились на все пространство вокруг.

Одним из осколков ранило командира батареи. Сабуров стал командовать вместо него. Теперь он уже не следил за Масленниковым и только между командами иногда взглядывал в ту сторону. Немцы перенесли огонь на минометы, и Масленникову стало легче. Он все еще лежал и стрелял. Потом, когда Сабуров взглянул туда, он увидел один пулемет,— Масленникова не было. «Неужели убили?» — подумал он. Но через несколько минут Масленников снова появился на стене: у него, должно быть, просто вышли все диски, и он лазил за новыми.

Уже вечером, перед темнотой, Сабурова сильно засыпало землей. Он с трудом поднялся, в глазах мелькали частые золотые искорки. Он сел и обхватил руками голову. Искорки стали реже, и он словно сквозь туман начал замечать окружающее.

Подполз Петя и что-то спросил у него.

— Что? — переспросил Сабуров.

Петя опять неслышно что-то прошептал.

Сабуров повернулся к нему другим ухом.

— Не задело? — спросил Петя, и голос его был неожиданно громок.

Сабуров понял, что на то, другое, ухо он почти оглох.

— Не задело,— сказал он и, опустив голову, увидел, что

шинель его вдоль всей груди рассечена, а под ней рассечена гимнастерка. Осколок пролетел мимо, едва коснувшись его: стоявший рядом миномет был исковеркан, труба была начисто оторвана.

Немцы продолжали стрелять, но уже реже. Судя по их огню, они все-таки отрезали полк Ремизова, потому что стреляли теперь гораздо правее и ниже Сабурова, ближе к Волге. Он попробовал соединиться по телефону с Ваниным, но это оказалось безнадежным делом,— все телефонные провода были порваны в десятках мест.

Бой, кажется, начинал затихать.

— Где Масленников? — спросил Сабуров.

— Здесь.

Сабуров увидел Масленникова, еще более потного, разгоряченного и усталого, чем он был два часа назад.

— Я их там настрочил,— сказал он.

Только теперь Сабуров заметил, что через лоб и всю щеку Масленникова идет огромный синий кровоподтек.

— Контузило? — спросил он.

— Нет, сбросило. Вот ведь как: пулемет разбило, а со мной ничего.

«Представлю,—подумал Сабуров.—Непременно представлю. Лучше всего на Героя. А там пусть решают. Он и в самом деле герой». А вслух он сказал только:

— А бойцы?

— Один расшибся, а второго вытащил.

— Хорошо,— сказал Сабуров.— Затихает, а?

— Затихает,— согласился Масленников.— Только они, кажется, все-таки к Волге вышли.

— Да, кажется,— сказал Сабуров.

Они замолчали.

К ним подползла толстая курносая задыхающаяся сестра и спросила, нет ли еще раненых.

— Только там, впереди,— сказал Сабуров.— Совсем стемнеет, и тогда вытащите.

Он подумал, что, наверное, Аня вот так же сейчас подползает к кому-то там, в полку Ремизова, от которого они теперь отрезаны.

— Я сейчас вытащу,— сказала сестра.

— Не лезьте,— сказал Сабуров грубо.— Не лезьте.— И ему захотелось, чтобы сейчас какой-нибудь другой командир так же задержал Аню.— Через десять минут стемнеет, и полезете.

Сестра и двое санитаров прилегли за камнями. Если бы Сабуров не сказал «не лезьте», они бы сейчас поползли вперед, но поскольку им это запретили, они были довольны, что можно еще десять минут пролежать здесь.

Позади, одна за другой, почти сразу, разорвались десятка полтора мин.

— Последний налет перед ночью делает,— сказал Масленников.— Верно, Алексей Иванович?

— Да, — согласился Сабуров.

— Говорят, по Волге сплошное сало идет.

— Говорят.

Сабуров откинулся на камни, повернул лицо вверх и только сейчас заметил, что снег все не перестает итти. Мокрые хлопья его приятно холодили разгоряченное лицо.

— Повернись так, — сказал он Масленникову.

— Как?

— Как я. Хорошо!

Масленников тоже повернулся. Сабуров видел, как ему на лицо падают снежинки.

— Приятно?

— Очень, — сказал Масленников. — Как думаете, долго будет сало итти?

— Не знаю, — сказал Сабуров. — Связь еще не установлена с Ваниным?

— Нет, все еще порвана.

— Ну, оставайся пока тут, я пойду.

— Подождите, — сказал Масленников. — Сейчас стемнеет.

— Молчи. Я тебе не медсестра. За ними следи лучше, чтобы раньше чем стемнеет не лезли.

Сабуров вылез из окопа, перепрыгнул через обломки и, укрываясь вдоль стены дома, пошел назад, к командному пункту батальона.

XVII

— С полком восстановили связь, — сказал вместо приветствия Ванин, когда Сабуров вошел в блиндаж.

— Ну?

— Говорят, что от Ремизова отрезали.

— Похоже на то, — согласился Сабуров. — А что думают делать?

— Не говорили. Наверное, от Проценко приказания ждут.

Они помолчали.

— Может, выпьешь чаю? — спросил Ванин.

— А разве есть?

Сабурову бессознательно казалось, что после всего только что пережитого ничего обыкновенного, привычного, на свете уже нет.

— Есть, конечно, — сказал Ванин. — Только, наверное, уже остыл.

— Все равно.

Ванин поднял с пола чайник и налил обоим в кружки.

— А водки не хочешь?

— Водки? Налей водки.

Ванин вылил чай обратно в чайник и налил обоим по полкружки водки. Сабуров выпил залпом, почти равнодушно. Сейчас водка не имела для него никакого вкуса, а просто была лекарством от усталости. Потом Ванин опять полез за чайником. Они медленно пили остывший чай. Говорить не хотелось. Оба знали, что сегодня произошло то, о чем во фронтовых сводках потом, может быть, напишут: «За такое-то число положение значительно ухудшилось» или просто: «ухудшилось». Выпив чаю, они еще помолчали. Давать распоряжения на зав-

тра было рано, а о сегодняшнем дне, о том, что уже было и прошло, говорить обоим не хотелось.

— Хочешь радио послушать? — спросил Ванин.

— Хочу.

Ванин сел в углу и стал настраивать старенький приемник. Сначала вдалеке заиграла музыка, но через пять минут она кончилась. Ванин стал крутить регулятор приемника. В эфире стояло молчание. Потом они услышали обрывки не то болгарской, не то югославской передачи, слышались знакомые, похожие на русские, и в то же время непонятные слова.

— Да, ничего не получается, — сказал Ванин. — Молчит, как убитое.

— А ты на Москву поставь, — сказал Сабуров.

Ванин покрутил регулятор, довел его до черточки с надписью «Москва». Оба прислушались.

— Москва тоже молчит, — сказал Ванин.

— Не может быть.

— Молчит.

И вдруг из репродуктора послышался громкий голос человека, который, видимо, волновался.

— Заседание Московского Совета депутатов совместно с партийными и советскими организациями объявляю открытым. Слово для доклада имеет товарищ Сталин.

Минуты две слышались долгие аплодисменты.

— Разве сегодня шестое? — удивился Сабуров.

— Как видишь.

— Чорт его знает. У меня сегодня все перепуталось. Мне с утра казалось, что пятое.

— Откуда же пятое? — сказал Ванин. — Именно шестое и все, как всегда. Ни одного года не пропустили. В прошлом году тоже не пропустили.

— Я в прошлом году не слышал. В окопах лежал.

— А я слышал, — сказал Ванин. — Тогда же у нас здесь была мирная жизнь. Мы за москвичей тревожились. Стояли здесь у репродукторов и слушали.

— Да, тогда вы за москвичей, теперь они за нас, — задумчиво сказал Сабуров и вспомнил первую речь Сталина во время войны, — ту, которую в последний день перед отъездом на фронт он слышал в своей одинокой комнате в Москве.

« — К вам обращаюсь я, друзья мои» — сказал тогда, в июле, Сталин голосом, от которого Сабуров вздрогнул.

Кроме обычной твердости, была тогда в этом голосе какая-то интонация, по которой Сабуров почувствовал, что сердце говорящего обливается кровью. Это была речь, которую он потом на войне почти неизменно вспоминал в минуты самой смертельной опасности, причем вспоминал даже не по словам, не по фразам, а по голосу, каким она была сказана, по тому, как в длинных паузах между фразами булькала наливаемая в стакан вода. И хотя в то утро он был один-на-один со своим репродуктором, но ему неизменно казалось, что именно тогда, слушая эту речь, он дал клятву сделать на этой войне все, что в его силах. Он думал, что Сталину было тяжело и в то же

время, что он решил победить. И это соответствовало тому, что чувствовал тогда сам Сабуров, потому что и ему тогда тоже было тяжело и он тоже решил победить любой ценой.

Сабуров вдруг с неожиданной для себя ясностью в мельчайших подробностях вспомнил все, что он пережил в ту минуту и не мог забыть никогда потом.

Между тем аплодисменты продолжались. Сабуров придвинулся вплотную к самому радио. Сейчас ему было интересно не только то, что скажет Сталин, но и как скажет. Между тем аплодисменты все еще не прекращались. Они были так громки, что на секунду Сабурову показалось, что все это происходит тут, в блиндаже. Потом в репродукторе послышалось откашливание и голос Сталина, неторопливый и поэтому какой-то особенно отчетливый:

— Товарищи...

Сталин говорил о ходе войны, о причинах наших неудач, о числе немецких дивизий, брошенных на нас, но Сабуров в эту минуту все еще не вдумывался в смысл слов, а слушал интонации голоса. Ему вдруг очень захотелось знать, что сейчас на душе у Сталина, какое у него настроение, какой он сейчас вообще, как выглядит. Он искал в голосе интонации, знакомые ему по той речи, которую он слушал в июле 1941 года. Но интонации были другие. Сталин говорил медленнее, чем тогда, и более низким, спокойным голосом.

Перед концом речи, когда Сабуров уже душевно успокоился, когда он почувствовал, что и то, как Сталин говорит, и голос, которым он говорит, — все это, даже еще не совсем понятно почему, но вселяет в него, Сабурова, какое-то необыкновенное спокойствие, он особенно отчетливо услышал одну из последних фраз:

— Наша вторая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей, — медленно, не выделяя слов, сказал Сталин и сделал после этого паузу, прерванную аплодисментами.

Ванин и Сабуров долго молча сидели у приемника.

То, что Сабуров только что услышал, казалось ему необычайно важным. Он мысленно представил себе, что этот голос звучит здесь не сейчас, когда все затихло, а час назад, когда он был рядом с Масленниковым среди еще не прекратившегося адского грохота атаки. И когда он подумал об этом, спокойный голос, услышанный им в репродукторе, показался ему удивительным. Тот, кто говорил, ведь знал обо всем, что происходит здесь, и все-таки голос его был спокойным, совершенно спокойным. И если вот он, Сабуров, или Масленников, или Ванин в самую тяжелую минуту вдруг говорили: «Ни черта, отобьемся», то ведь они говорили о батальоне и, в конце концов, отвечали за эти слова только пятьюстами квадратными метрами пространства и двумя сотнями людских жизней. А он говорил о будущей победе, думая о миллионах квадратных километров и о миллионах людских жизней, и все-таки говорил спокойно и твердо, как человек, который ни минуты в этом не сомневается.

— И в самом деле, ведь победим же мы их в конце концов.

Сабуров сказал это неожиданно для себя вслух и, заметив, что Ванин услышал и смотрит на него, повторил: — Ведь будет же это? А, Ванин?

— Будет, — сказал Ванин.

— Когда я из госпиталя уезжал, мне один врач, который из Эльтона приехал, сказал, что на Эльтоне, и вообще по всей ветке, массу войск гонят, и пушек, и танков, и всего. Я тогда не поверил ему, а сейчас думаю: может, и правда, а?

— Возможно, — сказал Ванин — Возможно, что и правда.

— А нам не дают, — сказал Сабуров. — Меня вот не было восемнадцать дней, ведь тебе ничего без меня не дали?

— Дал Проценко человек тридцать.

— Но это из своих же тылов?

— Из своих же тылов.

— Это не в счет. А больше ведь ничего?

— Ничего.

— Вот именно. Я вспоминаю сейчас Москву, — сказал Сабуров. — Вспоминаю, как оттуда в конце ноября приезжали к нам люди, рассказывали по секрету, что войск за Москвой и около Москвы видимо-невидимо. А мы дрались с чем были, а нам из этих войск раньше времени, раньше пятого декабря, подкрепления не дали.

Ванин покрутил регулятор. Уже было девять часов, и на этот раз репродуктор был полон звуков. Из разных городов что-то кричали на иностранных языках, играла какая-то музыка, очень торжественная, не то гимн, не то марш, незнакомый ни Ванину, ни Сабурову. И огромность мира, заключенного в этом маленьком, затянутом простой материей, аппарате, казалось, наполнила блиндаж. От этого он показался еще более тесным, и Сабурова охватила грусть.

— Играют, — сказал он. — Странно, что есть еще что-то на свете. Города какие-то, страны, музыка, театры.

— Что же странного? — сказал Ванин.

— Нет, все-таки странно. Хотя, конечно, ничего странного нет. А все-таки странно...

В блиндаж влез Масленников, грязный, мокрый, наполовину обледеневший. Он почернел и похудел за этот день. Щеки у него ввалились, но глаза блестели и было в них что-то неистребимо юношеское, чего не могла погасить война. Еще не сняв пилотки, он попросил закурить, два раза затянулся, сел, откинулся к стене и, не вынув изо рта папиросы, мгновенно заснул.

— Устал, — сказал Сабуров и, сняв с головы Масленникова фуражку, бережно приподнял его ноги с пола и положил на койку. Масленников не просыпался. Сабуров, неожиданно для себя, погладил его рукой по волосам.

— Ты, что, спишь?

Масленников не отвечал.

— Спит. — сказал Сабуров, продолжая гладить его по голове. — Я его думаю к Герою представить. Как ты считаешь, Ванин?

— Не знаю, — пожал плечами Ванин. — Хлопец он хороший, но на Героя...

— На Героя, на Героя, — сказал Сабуров. — Непременно на Героя. Что, герой только тот, кто самолет сбивает? Ничего подобного. Он как раз и есть герой. Обязательно представлю, и ты подпишешь. Подпишешь, а?

— Конечно, подпишу, — сказал Ванин, пожав плечами. — Раз ты в этом уверен, значит, подпишу.

— Подпишем, — сказал Сабуров, — и чем скорее, тем лучше. При жизни все это надо. Очень хорошо это при жизни... После смерти тоже хорошо, но так, главным образом, для окружающих. А самому ведь тогда уже все равно.

— Да, самому, конечно, — согласился Ванин.

— Ему всего двадцать лет, — сказал Сабуров. — Если бы не война, учился бы еще на первом, может быть, на втором курсе института. А сейчас даже странно об этом подумать.

Зазвонил телефон.

— Да, товарищ Попов, — сказал Сабуров. — Что делаю? Спать собираюсь. Хорошо, сейчас иду... Попов говорит, что Проценко меня к себе вызывает. К чему бы это, не знаю. Во всяком случае, прими команду пока. Хорошо?

— Есть, — сказал Ванин.

— Прими. Я, наверное, скоро вернусь... Но все-таки на всякий случай.

Он тряхнул руку Ванина и вышел.

XVIII

Было уже темно. Совсем близко, полукольцом над передним краем немцев висели их сигнальные белые ракеты. Сабуров шел рядом с автоматчиком, спотыкаясь и чувствуя, что он страшно устал и засыпает на ходу.

— Погоди, — сказал он на середине пути. — Дай сяду.

Он присел на обломок кирпича и с горечью подумал, что, должно быть, стареет или начинает уставать не той усталостью, которая приходит каждый день к вечеру, а длинной, непроходящей, которой больны уже многие люди, провоевавшие полтора года. Они посидели несколько минут и пошли дальше.

Проценко они нашли не сразу. Их не предупредили, а он, оказывается, за эти четыре дня, что у него не был Сабуров, переместился. Теперь его командный пункт был, как и у Сабурова, в подземной трубе, но только в огромной, четырехметровой, которая служила главной городской магистралью, спускавшейся к Волге.

— Ну, как тебе нравится мое новое помещение, Алексей Иванович? — спросил Проценко у Сабурова. — Хорошо, правда?

— Не плохо, товарищ генерал. И, главное, пять метров над головой.

— Как бомба ударяет, только посуда в доме сыплется, больше ничего. Ну, садись.

Сабуров сел.

— Чаю, — сказал Проценко.

Ординарец быстро подал чай.

— Пей.

Сабуров выпил, обжигаясь, кружку горячего чаю. Он надеялся, что сон соскочит с него, но сон не пропадал. Он с трудом удерживался от того, чтобы не клевать носом при генерале.

— Ты все на прежнем месте? — спросил Проценко.

— Да.

— Значит, еще не разбомбили?

— Выходит так, товарищ генерал.

Сабуров заметил, что во время этой болтовни Проценко внимательно присматривается к нему, так, словно видит впервые.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил Проценко.

— Хорошо.

— Да я не про батальон, а про тебя. Как ты себя чувствуешь? Поправился?

— Поправился, — сказал Сабуров.

Проценко помолчал и снова внимательно посмотрел на Сабурова.

— Я хочу, Алексей Иванович, тебе дать одно задание, — сказал он вдруг строго, как бы удостоверившись, что задание это он может дать и что Сабуров его осилит. — Ремизова отрезали.

— Знаю, товарищ генерал, — сказал Сабуров.

— Знаю, что знаешь. Но мне от этого не легче. Я знаю, что его отрезали, но не знаю, как там у него: кто жив, кто убит, сколько осталось, что могут сделать, чего не могут, — ничего не знаю. А я должен знать, и сегодня же, понимаешь?

— Понимаю.

— Потом, может быть, легче будет, когда Волга станет, по льду можно будет обходить. А сегодня нужно итти туда по берегу. Я проверял. В принципе пройти там можно, потому что немцы до самого обрыва дошли, но вниз не спустились. Мы отсюда не дали огнем это сделать, а Ремизов, наверное, оттуда не дал. В общем с откоса они не спускаются. Придется тебе пройти под откосом, низом. И выполнить это... — Проценко сделал паузу, посмотрел на усталое лицо Сабурова и жестко добавил:— сегодня же ночью. Мне нужно, чтобы пошел человек не просто так, а чтобы мог мне все точно узнать и, если все выбиты, взять на себя команду. Так вот, в зависимости от обстановки, я или буду ждать тебя обратно сегодня ночью или, если ты останешься там, буду ждать того, кого ты пришлешь. Как — один пойдешь или автоматчика с собой возьмешь?

Сабуров на секунду задумался.

— Немцев на самом берегу нет?

— Маловероятно.

— Если нарвусь на немцев, так и два автоматчика меня все равно не выручат, — пожал плечами Сабуров. — А если просто обстрел — так одному незаметнее. По-моему, так.

— Ну, как знаешь.

Сабурову очень хотелось посидеть еще минут пять здесь, в тепле и безопасности, но он поймал глазами движение Проценко, готовившегося встать, что означало бы окончание разговора, и поспешил подняться первым.

— Разрешите итти?

— Иди, Алексей Иванович.

Проценко встал, пожал ему руку не крепче и не дольше обычного, словно хотел сказать этим, что все должно быть в порядке и незачем прощаться как-то по-особенному.

Сабуров вышел за перегородку, во второе отделение блиндажа, где сидел знакомый ему адъютант Проценко — Востриков, парень недалекий и вечно все путавший, но ценимый генералом за безграничную храбрость.

— Идете, товарищ капитан? — спросил Востриков.

— Да. Слушай. Востриков, я у тебя автомат оставлю.

— Хорошо, будет в сохранности.

Сабуров поставил в угол автомат.

— Теперь вот что еще. Дай мне две «лимонки», а лучше — штуки три или четыре. Есть?

— Есть.

Востриков порылся в углу и, не без некоторого душевного сожаления, дал Сабурову четыре маленьких гранаты «Ф-1»; они были у него уже с аккуратно привязанными веревочками, чтобы подвешивать к поясу. Сабуров, не торопясь, подвесил их по две с каждой стороны, предварительно попробовав, крепко ли сидят в них кольца.

— Тише, — сказал Востриков, — выдернете еще.

— Ничего.

Пристроив гранаты, Сабуров отстегнул неудобную треугольную немецкую кобуру, положил ее рядом с автоматом, а парабеллум засунул под ватник, за пазуху.

— Угощал на дорогу? — мигнул Востриков в сторону двери, за которой находился Проценко.

— Нет.

— Что же это он?

— Не знаю.

Сабуров пожал руку Вострикову и вышел.

— Востриков! — крикнул Проценко.

— Я слушаю вас.

— Что вы там копались?

— Ничего. Это капитан Сабуров собирался.

— Чего он собирался?

— Автомат оставил, гранаты у меня взял.

— Ну, ладно, иди.

Проценко задумался. В сущности говоря, он посылал Сабурова не потому, что ему больше некого было послать, а потому, что у него, может быть, оттого, что Сабуров уже раз наладил ему связь с армией, было чувство, что именно Сабуров должен дойти и сделать. И хотя было очевидно, что сделать это почти невозможно, но все-таки чувство это не исчезало у Проценко. Он сидел за столом и неторопливо и подробно обдумывал предстоящее. Вернется ли Сабуров или, оставшись там за командира полка, пришлет кого-нибудь сюда, все равно, так

или иначе, эти четыреста метров обрыва, на которые выскочили немцы, надо взять обратно. Проценко взял к себе начальника штаба, и они с карандашами в руках подсчитали, сколько у них осталось людей на сегодняшнюю ночь. Еще две недели назад цифра эта испугала бы Проценко, но сейчас он уже так привык к собственной бедности, что ему показалось после подсчета, что все еще не так плохо. Он не знал, как обстояло дело у Ремизова, но здесь в остальных двух полках сегодня были даже меньшие потери, чем следовало ожидать.

Чем же, какими же силами отбивать берег? О том, чтобы взять с позиций хотя бы один батальон, не могло быть и речи: надо было отовсюду, из каждого батальона, вытягивать по нескольку десятков людей и создавать к завтрашней ночи сборный штурмовой отряд. Только так, другого выхода не было.

— Ну, как же вы решили, товарищ генерал? — спросил начальник штаба.

Проценко взял листок бумаги и сам подсчитал состав отряда.

— Вот, — сказал он, — здесь написано, по скольку человек откуда взять. За ночь выведи людей сюда в овраг. Днем сколотим их, подготовим, а завтра ночью, будем живы, отберем берег.

Проценко был мрачен. Его лицо ни разу не осветила обычная хитрая улыбка.

— Подпишите донесение в штаб армии, — сказал начальник штаба, вынув из папки бумагу.

— О чем донесение?

— Как всегда, о событиях.

— О каких событиях?

— О сегодняшних.

— О каких?

— Как о каких? — с некоторым недоумением и раздражением переспросил начальник штаба. — О том, что немцы к Волге вышли, о том, что Ремизова отрезали.

— Не подпишу, — сказал Проценко, не поворачивая головы.

— Почему?

— Потому что не вышли и не отрезали. Задержи донесение.

— А что же доносить?

— Сегодня ничего.

Начальник штаба развел руками.

— Знаю,— сказал Проценко.—За задержку донесения на сутки беру ответственность на себя. Отобьем берег и донесем все сразу. Если отобьем, нам это молчание простят.

— А если не отобьем? — спросил начальник штаба.

— А если не отобьем,— сказал Проценко с мрачной серьезностью, вообще ему не присущей,— то некого будет прощать. Я сам поведу штурмовой отряд. Понятно? Что ты смотришь, Егор Петрович? — другим тоном сказал он начальнику штаба — Что ты на меня смотришь? Думаешь, я ответственности боюсь? Не боюсь. Не боялся и не боюсь. А не хочу, чтобы знали, что немцы еще и здесь на берег вышли. Да, не

хочу. Я в штаб армии сообщу, из штаба армии — в штаб фронта, из штаба фронта — в главную ставку. Не хочу. Это же для всей России огорчение. Понимаешь? Не хочу всю Россию огорчать. Все равно, если сообщу, скажут: «Отбивай, Проценко, обратно». И ни одного солдата не дадут. Так я лучше сам, без приказов, отобью. Я все огорчения на одного себя беру. Понимаешь?

Начальник штаба молчал.

— Ну, если понимаешь,— сказал Проценко,— так хорошо. А не понимаешь,— как знаешь. Все равно, будешь делать так, как я тебе приказал. Все. Иди выполняй.

Проценко вышел из блиндажа. Ночь была темная, свистел ветер, и шел крупный снег. Проценко посмотрел вниз. Там, в просвете между развалинами, видна была замерзавшая Волга. Отсюда, сверху, она казалась неподвижной и совсем белой. Пятна изморози лежали кругом на земле. Кое-где в ямках уже плотно лежал падавший весь день снег. Правее по берегу часто хлопали минометы и слышалась автоматная перестрелка.

Проценко подумал о Сабурове, который сейчас, наверное, уже полз там, и невольно поежился. Земля была холодная, мокрая, ползти по ней, конечно, было тяжело, а умереть, упав в эту скользкую холодную грязь, еще тяжелее и обиднее.

В той роте, которая стояла на берегу, Сабуров взял автоматчика и с ним вместе добрался до одиноко высившихся впереди развалин, где стояли последние пулеметы и откуда вниз надо было спускаться прямо по Волге и ползти мимо немцев.

Командир роты предложил ему взять автоматчика с собой до конца, до Ремизова, но он отказался, так же, как и у Проценко.

Цепляясь за торчавшие из земли кирпичи и застывшие комья грязи, он тихо спустился вдоль откоса и теперь был на самом берегу. Он хорошо помнил это место: когда-то, вначале, во время переправы они высаживались именно здесь. Узкая полоска берега была совсем отлогой, и сразу над ней, уступами, поднимались глинистые террасы. Кое-где высились остатки пристаней, на земле были разбросаны обгорелые бревна. С Волги дул холодный ветер. Едва Сабуров спустился вниз, как почувствовал, что его прохватывает насквозь.

Река была белая. Если бы он вздумал итти около самой воды, то его силуэт на белом фоне был бы заметен сверху. Поэтому он решил итти чуть выше и ближе к обрыву. Отправляясь, он договорился с командиром роты, что, как только немцы откроют по нему огонь, рота тоже откроет огонь из пулеметов по всему откосу. Это была, правда, ненадежная помощь, но все-таки помощь на всей первой половине пути. Дальше предстояло самое трудное. Ремизова нельзя было предупредить никакими способами, и, заметив человека, оттуда, несомненно, должны были открыть огонь. Оставалось полагаться только на собственное счастье.

Первые сто метров он прошел, не ложась на землю, стараясь двигаться как можно бесшумнее и в то же время быстрее. Никто не стрелял. На берегу было пустынно, один раз

он только споткнулся обо что-то и упал на руки. Приподнимаясь, он ощупал препятствие — это был окоченевший мертвец, и в темноте трудно было узнать — свой это или немец. Сабуров перешагнул через труп.

Но едва он сделал два шага, как впереди него прошла сверху косая очередь трассирующих пуль. Должно быть, он при падении все-таки произвел шум. Он быстро отполз в сторону и прилег за выкинутыми на берег обгорелыми бревнами. Немцы дали еще несколько очередей и на мгновение осветили кусок берега позади Сабурова, там, где лежал мертвец. Немцы принимали его за живого. Очереди ложились все ближе и, наконец, одна попала прямо в труп. Лежа за бревнами, Сабуров продолжал ждать. Видимо, считая, что нарушивший тишину убит, немцы прекратили огонь.

Сабуров пополз дальше. Теперь он полз, не отрываясь от земли и стараясь не производить ни малейшего шума. Еще два или три раза он натыкался на мертвые тела. Потом больно ударился о камень и тихо, про себя, выругался. Ему показалось, что впереди что-то шевелится. Он остановился и прислушался. Послышался плеск воды. Он тихо прополз еще несколько шагов. Плеск теперь был слышнее. Это был такой звук, словно черпали ведром воду. Он вдруг вспомнил, как в детстве, поспорив с товарищами, пошел ночью через все городское кладбище и в доказательство того, что он это сделал, принес фарфоровые цветочки из венка, висевшего на могиле в самом конце кладбища. Сейчас ему было жутко почти так же, как тогда.

Тишина, темнота, одиночество и этот странный шум.

Он прополз еще несколько шагов и увидел появившуюся из-за обломков лодки согнувшуюся фигуру. Человек пошел сначала как будто мимо, потом, огибая наваленные бревна, двинулся прямо к нему.

Сабуров ждал. У него не было никаких мыслей, было только ожидание: вот сейчас тот ступит еще раз, потом еще раз, и потом можно будет до него дотянуться. Когда человек сделал еще шаг, Сабуров протянул вперед руку, схватил его за ногу и дернул к себе.

Человек упал, страшно закричал, и в ту же секунду что-то ударило Сабурова по голове и холодная вода окатила его всего. Человек закричал не по-русски и не по-немецки, а просто отчаянно: «А-а-а..» Сабуров изо всей силы ударил его кулаком по лицу. Тогда, крикнув что-то по-немецки, человек схватил его руку и вцепился в нее зубами. Сабуров, чувствуя, что теперь уже все равно, тихо или нет, вытащил свободной рукой парабеллум и несколько раз подряд выстрелил, прямо упирая дуло револьвера в тело немца. Тот дернулся и затих.

Сверху раздались автоматные очереди, и пули осыпали землю кругом. Несколько пуль с грохотом ударилось в ведро. Сабуров ощупал это лежавшее рядом с ним ведро, к которому была привязана веревка, и понял, что немец, очевидно, ходил к Волге за водой.

Сверху стреляли все чаще.

«Спустятся или нет? — подумал Сабуров.— Нет, не спус-

тятся, побоятся». Он решил так, потому что стреляли сразу отовсюду, беспорядочно и наугад.

Он лег, подперев плечом труп, который таким образом полулежал на нем и закрывал его от пуль.

«Когда же кончится?» — подумал Сабуров. Он чувствовал, что коченеет, потому что немец, падая, вылил на него воду из ведра. Было невероятно холодно. Сверху продолжали стрелять, и так они могли стрелять всю ночь. Сабуров решительно сбросил с себя мертвеца и пополз. Пули ударялись в землю то впереди, то позади него, и когда он прополз шагов тридцать, а стрелять продолжали чуть ли не вдоль всего берега, к нему,— именно потому, что стреляли так много,— вернулось ощущение, что в него не попадут.

Он прополз пятьдесят, сто шагов. По берегу все еще стреляли. Еще пятьдесят шагов...

Руки его так окоченели, что уже не чувствовали земли. Были хорошо видны огоньки выстрелов там, на обрыве, откуда стреляли. Теперь и сзади, откуда он шел, и спереди, от Ремизова, виднелись трассы пуль, шедшие по направлению к стрелявшим немцам. Перестрелка разгоралась все сильнее, немцы стали все реже стрелять вниз и чаще отвечать влево и вправо. Тогда Сабуров вскочил и побежал,— он больше не мог ползти. Он бежал, спотыкаясь, перепрыгивая через бревна. У него мелькнула мысль: там, у Ремизова, должны понять, что немцы стреляют по кому-то из наших. Несмотря на грязь и темноту, он бежал отчаянно быстро. Он остановился, вернее, упал только тогда, когда кто-то подставил ему ногу. Он упал лицом в грязь, ушиб плечо, кто-то в это время сел ему на спину и стал крутить руки.

— Кто? — спросил хриплый голос.

— Свои, чорт побери,— почему-то все еще шопотом сказал Сабуров и, чувствуя, как ему выкручивают пальцы, толкнул свободной рукой одного из навалившихся на него так, что тот покатился.

— Чего пихаешься? — послышался голос.

— Говорю, свои. Ведите меня к Ремизову.

Немцы, должно быть, услышали возню и пустили сюда несколько очередей. Кто-то всхлипнул.

— Что, ранило? — спросил голос.

— В ногу, больно.

— Сюда,— сказал кто-то и, схватив Сабурова за руку, потащил его вперед.

Они пробежали несколько шагов и спрятались за остатками фундамента.

— Откуда? — спросил тот же голос.

— От генерала.

— Кто это, в темноте не вижу.

— Капитан Сабуров.

— А, Сабуров... Ну, а это Григорович,— и голос сразу стал знакомым Сабурову.— Это ты мне плюху заехал? Ну, ничего, от старого друга.

Григорович был одним из командиров штаба, которого Проценко месяц назад по его просьбе отправил командовать ротой.

— Пойдем к Ремизову,— сказал Григорович.
— Ремизов жив?
— Жив, только лежит.
— Что, тяжело ранили?
— Да не так, чтобы очень тяжело,— сказал Григорович с коротким смешком,— а неудобно ранили. Он сегодня весь день по матери ругается, без всякой передышки. Ему, по-научному говоря, в ягодицы из автомата всадили, так он или лежит на животе, или ходит, а сидеть не в состоянии.
Сабуров невольно рассмеялся.
— Чего ты смеешься? — спросил Григорович.
— Да так, смешно.
— Тебе смешно,— сказал Григорович,— а нам он тут на почве дурного настроения весь день такую баню задает. Нам не до смеха.
Сабуров нашел Ремизова в тесном блиндажике лежащим на койке плашмя, с подушками, подложенными под голову и грудь.
— От генерала, что ли? — нетерпеливо спросил Ремизов.
— От генерала,— сказал Сабуров.— Здравствуйте, товарищ полковник.
— Здравствуйте, Сабуров. Я так и думал, что кто-нибудь от генерала, и велел стрельбу не открывать. Ну, как там у вас?
— Все в порядке,— сказал Сабуров,— за исключением того, что от генерала Проценко до полковника Ремизова приходится ползать на животе.
— Хуже, когда приходится лежать на животе,— сказал Ремизов и длинно и затейливо выругался. Потом, хитро прищурившись, посмотрел из-под густых седых бровей на Сабурова и спросил: — Вам уже, наверное, говорили о моем ранении?
— Говорили,— сказал Сабуров.
— Ну, конечно, рады позлословить: «Командир полка ранен в интересное место...» Погодите, погодите,— вдруг перебил он самого себя,— да что вы весь в крови? Ранены, что ли?
— Нет,— сказал Сабуров,— немца убил.
— Ну, снимите хоть этот ватник, что ли. Эй, Шарапов, дай капитану умыться и ватник мой дай! Снимайте, снимайте.
Сабуров стал расстегиваться.
— Ну, что вам генерал приказал?
— Уточнить положение и сообщить,— сказал Сабуров, умалчивая о том, что Проценко предполагал худшее и приказал ему возглавить полк.
— Ну, что же положение,— сказал Ремизов,— положение не столько плохое, сколько постыдное. Отдали кусок берега. Комиссар полка убит. Два командира батальонов убиты. Я, как видите, жив. Надо восстанавливать положение. Как генерал, настроен восстанавливать положение?
— Думаю, в предвидении этого он меня и послал,— сказал Сабуров.
— Я тоже так предполагаю. Ну, с двух сторон восстанавливать надо, разумеется,— сказал Ремизов.— Значит, обогреетесь, придется вам двигаться обратно.

— Придется,— сказал Сабуров.

— А можете остаться у меня, командира туда пошлю. Как вам приказано?

— Нет, я вернусь,— сказал Сабуров.

— Семен Семенович! — крикнул Ремизов.

Вошел майор, начальник штаба.

— Схемочка нашего расположения сделана?

— Сейчас кончим,— сказал начальник штаба.— Уточняем.

— Ну, давайте скорее, скорее, батенька. Шевелитесь... Вы меня опередили,— обратился Ремизов к Сабурову,—я сам хотел командира посылать. Вот схемочку готовили, чтобы точно все было, из-за этого задержался. Сейчас подготовят, я с вами командира пошлю. Филипчука знаете?

— Нет, не знаю,— сказал Сабуров.

— Из моего полка. Хороший, смелый командир. Пойдет с вами. Вот схемку подготовят, и пойдете.

Ремизов попробовал приподняться и опять длинно выругался.

— Представляете, куда угодило. У меня такой характер скверный, что я бегать все время должен: и думать не могу, не бегая, и командовать не могу,— ничего не могу. Не знаю, откуда это у меня. Все-таки шестой десяток, пора бы уже отвыкнуть... Шарапов! — снова крикнул он.

Появился ординарец.

— Шарапов, помоги мне с койки слезть.

Шарапов взял его за плечи и помог встать. Ремизов кряхтел, стонал и ругался и все это успевал делать как-то сразу. Поднявшись, он, морщась от боли, пробежал несколько раз взад-вперед по блиндажу.

— Схемочка готова?

— Готова,— сказал майор, подавая бумагу.

— Вот тут при схемочке все записано,— взяв, скорее вырвав, у майора бумагу и продолжая бегать, сказал Ремизов.— Все написано, что у меня где стоит и что можно сделать с моей стороны. Знаете, как-то сразу вышло: обоих командиров батальонов убили, комиссара убили и меня ранили,— в течение получаса всех. Как раз в этот момент и вышла вся история.

— Потерь много? — спросил Сабуров.

— Одного батальона почти нет. Того, который берег занимал. А два почти так, как были. В общем сражаться еще можно, вполне можно.

— А как у вас с вывозкой раненых? — спросил Сабуров с некоторой запинкой. Он долго готовился к этому вопросу. Он знал, что Аня здесь, в полку Ремизова, и все не решался начать этот разговор, боясь наткнуться на страшное известие.

— Ну, какой же вывоз —на Волге сало. Держим в овраге. Подкопали землю и держим в пещерках.

— Далеко отсюда? — спросил Сабуров.

— Да, далеконько. На правом фланге тише, там и держим... Как, Филипчук, собрался? — крикнул Ремизов.

— Собрался,— ответили из другой половины землянки.

— Ну, сейчас пойдете. Боже ты мой, да как же я вам ничего выпить не предложил. Шарапов!

Шарапов подскочил к полковнику.
— Выпить. Я не вспомнил, старый стал, а ты что же?
— Есть,— сказал Шарапов и тут же, не сходя с места, отцепил от пояса немецкую флягу, отстегнул от нее стаканчик, налил и подал Сабурову.
Сабуров залпом выпил, у него перехватило горло, и он закашлялся,— это был спирт.
— Ах, я забыл вас предупредить. Водки, по возможности, не пью,— сказал Ремизов.— Я в финскую кампанию на так называемом Петсамском направлении был. К спирту там приучился. Удивительная теплота от него. Прямо проскакивает в желудок. Вот, в горле у вас еще першит, а в желудке уже хорошо?
— Хорошо,— с трудом продохнув, выговорил Сабуров.
— А ты сообщить должен,— сказал Ремизов Шарапову:— «Разрешите доложить, товарищ командир, это есть спирт». Понял?
— Понял,— сказал Шарапов.
— Помоги мне.
Шарапов подошел к Ремизову, и снова с кряхтеньем, стонами и ругательствами повторилась та же операция в обратном порядке.
— Не могу все-таки ходить,— сказал Ремизов, улегшись и отдышавшись.— А характер не позволяет лежать. Несколько раз был ранен, но такого идиотского, с позволения сказать, ранения... Честное слово, если бы я того немца-автоматчика поймал, который мне это сделал, то против всех воинских законов просто взял бы его и выпорол. Эдакое свинство. Ну, кому же приказ передать — вам или Филипчуку? Филипчук!
— Здесь.
В блиндаж вошел рослый человек в ватнике, с автоматом.
— Мне дайте,— сказал Сабуров.— Я сюда шел, авось и обратно дойду.
— Ну, берите. Доложите генералу, что полковник Ремизов сделает все, чтобы вернуть берег, искупит свою вину сам. И других заставит искупить,— добавил он сердито, кивнув на своих командиров штаба.— Доложите: настроение бодрое, к бою готовы. Про ранение мое сказал бы вам, чтобы не докладывали, но, знаю, все равно не удержитесь. К вам, Филипчук,— сказал Ремизов, обращаясь к ожидавшему командиру,— единственная просьба и приказание: добраться до штаба и вернуться сюда живым и здоровым.
— Есть,— сказал Филипчук.
— Ну, вот и все. Да, вот еще что...
Но, прервав себя на полуслове, Ремизов зажмурил глаза и стиснул зубы. Так он пролежал несколько секунд, и Сабуров понял, что старик говорит через силу, превозмогая боль.
— Так вот еще что,— открыв глаза, прежним тоном сказал Ремизов.— Мне кажется, что сегодня на рассвете и днем возвращать позиции не надо. Немцы будут ждать контратаки. Сегодня надо удержаться там, где находимся, подготовиться, а завтра ночью, когда они уже будут считать, что мы

примирились с положением, надо будет как раз и ударить. Доложите это мое мнение генералу. Готовы, Филипчук?

— Так точно, готов.

— Ну, подойдите сюда.

Филипчук подошел к его койке. Ремизов крепко стиснул руку сначала ему, потом Сабурову и одновременно окинул их обоих быстрым взглядом своих голубых, окруженных сетью старческих морщинок, глаз. В этом взгляде были и тревога, и молчаливое пожелание доброго пути, и Сабуров почувствовал, что этот маленький свирепый полковник, несмотря на свою сердитую манеру разговаривать, был, наверное, человеком хорошей и веселой души.

— Идите, идите,— сказал им вдогонку Ремизов.— Буду ждать с нетерпением.

Когда они, карабкаясь по скользким уступам, стали пробираться вниз, к берегу, Сабуров вновь спросил, на этот раз Филипчука:

— Ну, как у вас тут с ранеными? Вывозите?

— Где же вывозить? Сало,— теми же словами, что и полковник, ответил Филипчук.— А, что?

— Ничего, так,— сказал Сабуров.— И вдруг он вспомнил, с какой откровенностью Аня в последний раз подошла и обняла его при Масленникове, и, устыдившись своего смущения, из-за которого он мог так и не узнать того, что хотел сейчас знать больше всего на свете, сказал: — Дело в том, что тут у вас в полку моя жена.

— Жена? — удивленно переспросил Филипчук.— Где?

— Она медсестра, в медсанбате. Но я не знаю, она сейчас у вас здесь, в полку.

— Какая она из себя? — спросил Филипчук.

— Как вам сказать? — в темноте невольно улыбнулся Сабуров и подумал, что ему было бы трудно описать внешность Ани.— Такая, среднего роста, худенькая. Ну, что еще... Ну, волосы у нее назад зачесаны. Ее фамилия Клименко.

— Клименко, — повторил Филипчук, — Клименко... Не знаю.

— Аня,— сказал Сабуров.

— Аня,— вы бы сразу так и сказали: Аня. Ну, конечно, знаю.

— С ней все в порядке? — спросил Сабуров.

— По-моему, да,— сказал Филипчук.— Я ее днем, часов в шесть, видел. Я был там на правом фланге как раз, когда командира батальона вытаскивали. По-моему, все в порядке,— сказал он с некоторым сомнением в голосе, потому что с тех пор, как он видел Аню, прошло уже семь или восемь часов, а семь-восемь часов в Сталинграде было слишком долгим временем.

— Если ее увидите, когда вернетесь,— сказал Сабуров,— так скажите, что с Сабуровым все в порядке. Ну... и что я ей привет передал. Нет, этого даже не надо,— просто, что со мной все в порядке.

— Хорошо,— сказал Филипчук.— Аня... Я еще вчера ее видел у Ремизова. Старик ее ужасно ругал. Знаете, как он умеет.

— За что? — спросил Сабуров, уже догадываясь.

— За что? За то, что лезет, куда не надо. А старик до сих пор видеть не может, когда женщину ранят или убивают. У него слезы на глазах. Ну, он ее и разносил. Так кричал, даже ногами топал и выгнал. А потом вызвал своего Шарапова и велел наградной лист писать. У него же все сразу это делается.

Сабуров улыбнулся и почувствовал нежность к Ремизову не столько за наградной лист, сколько за то, что он ругал Аню и топал на нее ногами.

Они дошли до обломков дома, около которого Сабурова схватили полчаса назад. Там попрежнему сидел Григорович.

— Сабуров? — спросил он тихо.

— Да.

— Обратно идешь?

— Да, обратно.

— Ну, желаю счастья.

Григорович придвинулся ближе и пожал руки Сабурову и Филипчуку. На голове у нево белела повязка.

— Что это у тебя? — спросил Сабуров.

— Еще спрашиваешь. Рука-то у тебя, как кувалда. Разбил мне ухо.

— Ну прости,— сказал Сабуров.

— Ладно. Между прочим, немцы разволновались. Видишь, шарят по всему берегу. Туго вам придется.

Сабуров посмотрел вперед. На обрыве то там, то тут вспыхивали автоматные очереди.

— Придется всю дорогу ползти,— тихо сказал он Филипчуку.

— Хорошо,— ответил тот.

— Да, на всякий случай, я пакет прямо за пазуху, вот сюда кладу,— сказал Сабуров. Он взял руку Филипчука и дал ему пощупать пакет.— Чувствуете, где?

— Чувствую,— сказал Филипчук.

— Ну, ладно, поползли.

Для Сабурова, отличавшегося острой памятью, теперь берег был уже почти знаком. Он вспоминал одно за другим все бревна и нагромождения камней, за которыми можно было укрыться.

Филипчук полз за ним. От времени до времени, когда пули ударялись особенно близко, Сабуров, поворачиваясь, спрашивал: «Ты здесь?» и Филипчук тихо отвечал: «Здесь». Посредине пути немцы стреляли особенно яростно. Пули шлепались все ближе, и Сабуров каждую минуту спрашивал Филипчука: «Ты здесь?» — «Здесь», — отвечал Филипчук.

По расчетам Сабурова они уже приблизились к передовому посту с той стороны, когда вокруг них сразу ударило несколько очередей.

— Ты здесь? — спросил Сабуров.

Филипчук молчал. Сабуров, не поднимаясь, прополз два шага обратно и нащупал тело Филипчука.

— Ты здесь? — спросил он.

— Здесь,— чуть слышно сказал Филипчук.

— Что с тобой?

Но Филипчук уже не отвечал. Сабуров ощупал его. В двух местах — на шее и на боку — под ватником было мокро от крови. Он прижался к губам Филипчука. Филипчук дышал. Сабуров подхватил его одной рукой подмышки и, подтягиваясь на другой руке и отталкиваясь ногами, пополз дальше. Так продолжалось, еще шагов тридцать. Сабуров почувствовал, что изнемогает от усталости. Он отпустил Филипчука и лег рядом с ним.

— Филипчук, а Филипчук? — прошептал он.

Филипчук молчал.

Сабуров опять прильнул к его губам, и ему показалось, что Филипчук не дышит. Он залез руками под ватник, под гимнастерку и дотронулся до голого тела Филипчука. Тело заметно похолодело. Сабуров расстегнул карманы гимнастерки Филипчука, вынул пачку документов, потом вытащил из кобуры наган, засунул его к себе в карман брюк и пополз. Ему не хотелось оставлять здесь тело Филипчука, но пакет, лежавший у него за пазухой, не позволял долго раздумывать.

Когда он прополз еще пятьдесят шагов и был уже в полном изнеможении, впереди послышался свистящий шопот: «Кто?»

— Свои,— тоже шопотом ответил Сабуров, встал на онемевшие ноги и, не видя ничего перед собой, пошел вперед. Оказалось, что ему нужно было сделать всего три шага до выступа стены, где его ждали.— Командир роты где? — спросил он.

— Здесь.

— Там, шагах в пятидесяти, лежит командир, с которым я полз.

— Раненый? — спросил командир роты.

— Нет, убитый,— сказал Сабуров сердито, чувствуя за этими словами вопрос, вытаскивать или нет.— Убитый, но все равно надо вытащить. Понятно?

— Понятно, товарищ капитан,— сказал командир роты.— Вы документы взяли с него?

— Взял,— сказал Сабуров.

— Ну, так что же, товарищ капитан? Ему все равно... легче не будет. А двух человек мне посылать,— пропасть могут.

— Я вам уже приказал вытащить,— сказал Сабуров.

— Есть, товарищ капитан,— сказал командир роты,— но...

— Что «но»?

— В другое время я бы не сказал, а сейчас у меня каждый человек на счету.

— Вот что: если не вытащите,— с неожиданным для себя бешенством сказал Сабуров,— я отнесу пакет к генералу, потом сюда вернусь, сам вытащу, а вас за невыполнение приказания расстреляю. Дайте мне провожатого, чтобы я скорее дошел до штаба.

Он повернулся и нетвердой походкой, вслед за автоматчиком, двинулся к блиндажу Проценко. Сейчас он почувствовал, что еще секунда и он мог бы ударить командира роты. Может быть, тот был по-своему прав и люди у него были на счету, но в том, чтобы вытащить тело убитого командира, было что-то такое важное и святое для армии, что на взгляд

Сабурова оправдывало даже потери, если они были неизбежны.

Когда Сабуров ввалился в блиндаж, у него потемнело в глазах, и он сразу сел на лавку. Потом открыл глаза, хотел встать, но Проценко, который был уже рядом, положил руку ему на плечо и посадил его обратно.

— Водки выпьешь?

— Нет, товарищ генерал, не могу,— устал я, свалюсь от неё. Если бы чаю...

— А ну дайте ему скорей чаю! — крикнул Проценко.— Ремизов жив?

— Жив, только ранен. Вот от него пакет.— Сабуров полез под ватник и вынул пакет.

— Хорошо,— сказал Проценко, надевая очки.

Сабуров, увидев, что Проценко читает донесение, подумал, что сейчас есть минута, чтобы отдохнуть. Едва успев об этом подумать, он привалился в угол, к стене, и только когда Проценко, неизвестно через сколько времени, тряхнул его за плечо, он понял, что заснул.

— Проснулся? — спросил Проценко.

Сабуров попытался встать.

— Сиди, сиди.

— Я долго спал?

— Долго. Минут десять. Ремизов ранен, говоришь?

— Ранен.

— Куда?

Сабуров сказал, куда ранен Ремизов и как он мучается. Как и предвидел Ремизов, Проценко невольно рассмеялся.

— Небось, ругается старик? — спросил он у Сабурова.

— Еще как.

— Какое настроение у них?

— По-моему, хорошее,— сказал Сабуров.

— Он мне пишет, что может собраться с силами и со своей стороны по немцам ударить. Тоже с таким положением мириться не хочет,— и Проценко постучал пальцем по бумаге, которую он держал в руке.— Ты один пришел оттуда?

— Один.

— Что же он тебе командира не дал для связи, чтобы его обратно послать можно было? Вот старый, старый, а тоже маху дает.

— Он дал командира,— сказал Сабуров,— его убили по дороге.

Только теперь вспомнив, что у него документы и оружие Филипчука, Сабуров выложил все на стол.

— Так,—сказал Проценко и нахмурился.—Сильно по тебе стреляли?

— Сильно.

— Днем не пройти там?

— Днем совсем не пройти,— сказал Сабуров.

— Да...— опять протянул Проценко. Он, очевидно, хотел что-то сказать и не решался.— А мне завтрашней ночью штурм делать уже. Как же это его убили?

— Кого?

— Да вот его,— Проценко кивнул на лежавшие перед ним документы Филипчука.

— Смертельно ранили, потом я его тащил, и он умер у меня на руках.

— Да...— опять протянул Проценко.

У Сабурова смыкались глаза от усталости. Он смутно чувствовал, что Проценко хочет послать его обратно к Ремизову, но не решался об этом сказать.

— Слушай, Егор Петрович,— сказал Проценко сидевшему тут же начальнику штаба.— Давай садись, приказ пиши Ремизову. Но только там все предусмотри, как решили — и час точный, и ракету, все.

— Я уже пишу,— отрываясь от бумаг, сказал начальник штаба.

Проценко повернулся к Сабурову, посмотрел на его усталое лицо, и чуть ли не в пятый раз опять сказал:

— Да... Ну, ты чего сидишь-то? Ты приляг пока.— Он выговорил это слово «пока» осторожно, почти робко.— Приляг пока. Ну-ну, приляг. Приказываю.

Сабуров последним усилием вскинул ноги на скамейку и прямо в сапогах, приткнувшись лицом к холодной, мокрой стене блиндажа, мгновенно заснул. Последней блеснувшей у него мыслью была мысль о том, что, наверное, его все-таки пошлют, ну и пусть посылают, только бы дали сейчас поспать полчаса, а там все равно.

Проценко, медленно прохаживаясь по блиндажу, диктовал начальнику штаба текст приказа. Иногда, отрываясь, он взглядывал на Сабурова. Тот спал. Проценко снова диктовал и снова взглядывал на Сабурова.

— Слушай, Егор Петрович,— прервав диктовку, вдруг сказал он.— А если Вострикова послать?

— Можно Вострикова,— сказал начальник штаба.— Вы на словах ничего не будете передавать, только приказ?

— Плохой приказ, если к нему надо еще что-то на словах передавать.

— Ну, если на словах не передавать, можно Вострикова.

— Я бы его послал,— кивнул Проценко на Сабурова,— да трудно в третий раз за одну ночь итти.

— Итти труднее, а дойти легче,— сказал начальник штаба.— Он же на животе два раза полз, каждый бугорок, каждую ямку знает.

— Да...— уже в который раз протянул Проценко.— Придется. Должен быть там приказ.

Он посмотрел на спящего Сабурова и задумался.

— Да, вот что,— сказал он,— придумал.

— Что придумали? — спросил начальник штаба.

— Придумал, как точно узнать, что дошел и донес... Алексей Иванович,— растолкал он Сабурова.

— Да,— поднялся Сабуров с той готовностью, с какой спохватываются неожиданно для себя заснувшие люди.

— Вот приказ, возьми,— сказал Проценко.— Когда дойдешь до Ремизова, то сделай так, чтобы, как только дойдешь, дали нам сразу зеленую и красную ракету над Волгой. А если ракет у них нет, то чтобы в том же направлении в воздух

одновременно три очереди из автоматов дали, трассирующими. Отсюда будет видно?

— Да,— сказал Сабуров.

— Ну, вот, буду знать, что дошел и приказ донес. Ты по дороге-то не заснешь у меня? — сказал Проценко, похлопывая Сабурова по плечу.— Вдруг заснешь,— проснешься, а уже день?

— Не засну,— сказал Сабуров.— Немцы не дадут.

— Разве что немцы,— усмехнулся Проценко.— А сказать по чести, здорово устал?

— Ничего, не засну,— повторил Сабуров.

— Ну, ладно. Садись за стол.

Сабуров присел к столу, а Проценко, приоткрыв дверь, крикнул:

— Как там насчет чая?

Потом Проценко сам вышел за дверь и тихо отдал какое-то распоряжение. Через две минуты, когда Проценко, Сабуров и начальник штаба сидели рядом за столом, Востриков внес медный поднос, на котором, кроме трех кружек с чаем, была горстка печения и стояла только что вскрытая банка с неведомо откуда взявшимся вишневым вареньем.

— Вот,— сказал Проценко,— варениками я тебя угостить не могу, а украинской вишней — пожалуйста.— Он повертел в руках банку и подчеркнул ногтем надпись на этикетке: — «Держконсервтрест». Киев». Чуешь? С Киева вожу.

— Так все время с Киева и возили? — спросил Сабуров.

— Ну, нет, приврал, конечно. Где-то под Воронежем, наверное, выдали. Люблю вишни... Ну, давайте чай пить.

Теперь уже Проценко не возвращался к своим сомнениям — посылать Сабурова или не посылать. Он инстинктивно почувствовал, что выражать излишнее сочувствие — значило только подчеркивать, что думаешь о возможной смерти человека, которого посылаешь. Вместо этого Проценко неожиданно завел разговор о школе червоных старшин при ВУЦИКе, где он когда-то учился.

— Ничего учили,— говорил он.— Вид был хороший: форма, галифе. Между прочим, хотя тогда и не принято было, но даже танцам и хорошим манерам обучали.

— Ну и как, обучили? — улыбнулся начальник штаба.

— Это уже тебе судить, Егор Петрович, как: обучили или не обучили?

— Честно говоря, как когда,— сказал начальник штаба.

— Правильно. Когда у меня в штабе делают по-моему, то мои хорошие манеры сохраняются, а когда не по-моему что-нибудь делают, тогда забываю я, что учили меня хорошим манерам. Такой странный характер, забывчивый.

Сабуров выпил кружку горячего чаю, и ему опять безумно захотелось спать. После второй он как будто немного разгулялся. Варенье было вкусное, вишни такие, какие он любил с детства — без косточек. Проценко приказал подать по третьей кружке. Тут Сабуров почувствовал, что пора итти. Он сделал несколько глотков и поднялся.

— Что же не допил? — спросил Проценко.

— Пора, товарищ генерал. Разрешите итти?

— Иди. Значит, если ракет нет, три автоматных очереди.
— Ясно,— сказал Сабуров.
— В сторону Волги...
— Ясно.
Откозыряв, Сабуров повернулся и вышел. Проценко и начальник штаба помолчали.
— Ну, как,— обратился Проценко к вошедшему штабному командиру,— людей из батальонов вывели сюда?
— Кончают выводить.
— Поторапливайтесь, скоро рассвет. Тогда выводить будете — людей лишних потеряете... Значит, дойдет? — вспоминая о Сабурове, сказал Проценко начальнику штаба.
— По-моему, да.
— По-моему, тоже. Была у меня минута, когда отправлял его, знаешь, хотел сказать прямо: дойдешь в третий раз — орден Ленина тебе, генеральское слово. Не утвердят, свой сниму, отдам, пусть потом хоть судят.
Тем временем Сабуров полз по окончательно обледеневшей земле. То ли дело близилось к рассвету и немцы считали, что никто здесь больше не пойдет, то ли им просто надоело всю ночь стрелять по берегу, но он уже прополз половину пути, а сверху не грохнуло ни одного выстрела. Его даже начинало пугать это. Он взвел парабеллум и снял его с предохранителя, потом, отвязав от пояса одну «лимонку», взял ее в правую руку. Хотя так ему было труднее ползти, но он не выпускал гранаты, держа ее таким образом, чтобы метнуть в первое же опасное мгновение. Потом он вспомнил о приказе. Ну, что же, вторую гранату, в крайнем случае, он бросит себе под ноги. Впрочем, еще через полсотни шагов он начал отгонять эти мысли. Подсознательное чувство говорило ему, что и на этот раз все сойдет. И действительно, он дополз до развалин на той стороне и ни одного выстрела за всю дорогу не раздалось над его головой.
— Опять ты, Сабуров? — сказал Григорович.
— Опять я.
— А Филипчук где?
— Убит.
— Где убит?
— Там, близко к той стороне.
— Что, на берегу лежит?
— На берегу, но у наших.
Он вспомнил мертвое лицо Филипчука. Возвращаясь сюда, Сабуров спросил у командира роты, вытащен ли Филипчук. Узнав, что вытащен, он захотел посмотреть, где лежит тело, и посветил ручным фонарем в лицо Филипчуку. Лицо было бледно. Кто-то из красноармейцев стер с него грязь и кровь. И в сотый раз в жизни Сабурову странно было, что вот с этим человеком какой-нибудь час назад он перешоптывался: «Ты здесь?» — говорил он, «Я здесь»,— отвечал Филипчук.
Войдя к Ремизову, Сабуров вручил ему приказ. Ремизов прочел приказ, потом спросил о Филипчуке. Повторился тот же короткий разговор, что и с Григоровичем.
— А документы не принес? — спросил Ремизов.
— Нет, я их генералу отдал.

— Хорошо,— сказал Ремизов.

— Да,—вспомнил Сабуров,— надо сигналы дать, что я добрался. У вас зеленые и красные ракеты есть?

— Должны быть. Ну-ка, посмотри, Шарапов, есть ракеты?

— Нет, товарищ полковник, ракеты все.

— Нет ракет,— сказал Ремизов.

— Тогда надо будет дать три автоматных очереди трассирующими над Волгой.

— Это можно,— сказал Ремизов и снова крикнул: — Шарапов!

Появился Шарапов.

— Помоги мне встать.

Шарапов помог ему встать, и он, кряхтя и разминаясь, пошел по блиндажу.

— Дай мне автомат. Диск у тебя есть с трассирующими?

— Пожалуйста, вложен.

— Дай сюда. Пойдемте, Сабуров. Я сам нарадостях, что вы добрались, сигнал дам. Редко нашему брату-полковнику приходится самому оружие пускать в ход. То ли дело, когда я в ту германскую поручиком был, охотником ходил, немцев в траншеях резал. Я был маленький да увертливый. Вот как. А теперь нельзя, не по чину. Ну,—добавил он, поднимая автомат,—куда же? Сюда стрелять? Так договорились?

— Так,—сказал Сабуров.—Подождите, подождите, я же спутал. Вот усталость проклятая! Не три очереди, а из трех автоматов сразу.

— Значит, целый залп? Шарапов!—крикнул Ремизов назад, в землянку

— Да?—появился из землянки Шарапов.

— Возьми свой автомат, пусть еще кто-нибудь возьмет с трассирующими. Выходи.

Шарапов и еще один автоматчик вышли из блиндажа.

— Становись рядом со мной, по команде «раз, два, три» давай длинную очередь, все вместе. Я ниже, ты повыше, а он еще выше—совсем в луну. Будем считать, что это салют погибшему Филипчуку. Как, по-вашему, а, Сабуров?

— Конечно,—сказал Сабуров.

— Хороший был командир, жалко его,—сказал Ремизов и обратился к бойцу:—Ну-ка, дай свой автомат капитану. Возьмите, Сабуров. Помянем товарища.

Небо уже начинало сереть, когда по команде «три» они выпустили по автоматной очереди. Светящиеся трассы пуль, изгибаясь где-то в конце пути, взлетели высоко в темносером воздухе над Волгой. Ремизов и Сабуров посмотрели друг на друга.

— Ну,—сказал Сабуров, готовясь добавить, что ему пора итти обратно.

Но Ремизов угадал его мысль и сказал как-то особенно, по-отечески и твердо:

— Нет, не пущу вас, уже светает. И вообще не пущу. До трех раз судьбу испытывать можно, больше не надо. Пробьемся завтра ночью, вот и будете обратно.

— У меня там батальон без командира, — сказал Сабуров.

— А у меня тут два батальона без командиров, — ответил Ремизов. — Сейчас идите спать. Шарапов, устрой капитана на комиссарскую койку. Погиб у меня комиссар. Очень хороший был человек. Прекрасный человек. Только что месяц назад из райкома партии прислан. Воевать не умел, а бодрость душевную даже в меня, в старого волка, вселял. Очень жалею. Даже удивительно, как жалею,—и он вытер неожиданно показавшиеся в углах глаз слезинки.— Пойдемте в блиндаж.

XIX

Когда Сабуров проснулся, было уже три часа дня: он проспал ровно восемь часов. В углу блиндажа кто-то копошился.

— Кто там? — спросил Сабуров.

— Я.

Перед ним стояла толстая девушка, рукава у нее были засучены и поверх гимнастерки надет передник.

— А где полковник? — спросил Сабуров.

— На передовых.

— А где у вас передовые?

— Рядом.

Сабуров спустил ноги на пол и только теперь обнаружил, что во время сна кто-то снял с него сапоги и портянки.

— Сидите, — сказала девушка. — Ваши портянки сушатся у меня, я вам сейчас принесу.

— Кто же это с меня сапоги снял? — спросил Сабуров.

— Ясно кто — Шарапов. Неужто в сапогах спать?

Девушка вышла в соседнюю комнату и тут же вернулась, держа в одной руке покоробившиеся сухие сапоги Сабурова, а в другой портянки.

— Нате, надевайте.

— Как вас зовут? — спросил Сабуров.

— Паша.

— Что же вы, так тут одна за всех и остались? А?

— Одна, — сказала Паша, — все на передовые ушли, и телефон там.

Сабуров внимательно посмотрел на нее. Она была большая, не столько толстая, сколько уж очень прочно сложенная, с красным лицом и маленьким вздернутым носом.

— Стало быть, вся охрана штаба на вас возложена? — спросил Сабуров, подвертывая портянки.

— Стало быть, — сурово сказала Паша, не одобряя этого праздного вопроса.— Вы кушать хотите?

— Хочу.

— Мне полковник приказал о вас позаботиться, чтобы вы поспали и сыты были.

— Больше никаких приказаний он не передавал? — улыбнувшись, спросил Сабуров.

— Нет, — не поняв шутки, серьезно ответила Паша. — Он только сказал, чтобы вы, как проснетесь и покушаете, к нему шли. Вас автоматчик проводит.

— А чем же ты меня кормить будешь?

Паша огорченно пожала плечами: этот вопрос ей доставил страдание.

— Кицетратом, — так она произносила слово «концентрат». — Грешневым. Кушали?

— Случалось.

— Но я туда сала положила. Чего завтра буду готовить, не знаю.

— Все еще не стала Волга? — спросил Сабуров.

— А шут ее знает. То говорят — стала, то — не стала. А продуктов не везут. Вот и мучайся.

Она вышла и тут же вернулась со сковородкой каши.

— Вот, кушайте.

Потом Паша полезла в угол, достала флягу, хозяйственно встряхнула и, не спрашивая Сабурова, налила ему оттуда полстаканчика.

— Где Шарапов? — спросил Сабуров.

— С полковником. Он всегда с полковником, от полковника не отстает.

Паша, не дожидаясь приглашения, села против Сабурова на табуретку и, подперев рукой подбородок, внимательно и бесцеремонно стала его разглядывать. В полку она всех уже как следует разглядела, удовлетворила по отношению к ним свое любопытство, и лицезрение нового человека доставляло ей явное удовольствие.

— Ну, что ты смотришь? — сказал Сабуров.

— Ничего, так. Вы что, теперь у нас будете?

— Нет, не у вас.

— А чего же вы?

— С твоего разрешения, — улыбнулся Сабуров, — во временную командировку сюда прибыл. Завтра отбуду. Как, можно?

— А почему же нельзя? — опять не поняв шутки, сказала она. — Может, еще чего хотите покушать, так больше нет ничего. Может, чаю еще хотите, так чай есть.

— Нет, не хочу, — сказал Сабуров.

— А Сергей Васильевич всегда чай пьет — с некоторой укоризной сказала Паша.

— Кто это Сергей Васильевич?

— Да полковник.

— Ну, а я не хочу.

— Как ваше желание, — спокойно согласилась Паша. — Может, вам шоколаду дать?

— Нет.

— Сергей Васильевич сказал, чтобы вас всем, что есть, кормить. Так хотите шоколаду?

— Нет, не хочу.

— Ну, ладно, — сказала Паша с некоторым облегчением, — а то у него всего одна плитка осталась.

Закусив гречневой кашей, Сабуров вопросительно посмотрел на Пашу.

— Так где же автоматчик?

— Там, в окопе. Сергей Васильевич сказал ему, чтобы вас проводил.

Сабуров поднялся.

— Спасибо, — сказал он.

— Будьте здоровы, — сказала Паша. — Вы чего-то кушаете мало. Как Сергей Васильевич. У нас тут комиссар был, — вчера его убило, — тот покушать любил. Хороший был, добрый человек. Платон Иванович. Не знали?

— Не знал.

— Очень хороший человек, — убежденно сказала Паша. — Чего ни дашь ему, всегда покушает и похвалит, и добавки попросит. Ласковый был.

Сабуров вышел. В окопе около блиндажа его действительно ждал автоматчик.

— Ну, что же, пойдем до полковника, — сказал Сабуров.

— А что до него итти, товарищ капитан, — сказал автоматчик. — До него рукой подать.

В хозяйстве Ремизова чувствовалась аккуратность. Вперед от блиндажа, через развалины, шли ходы сообщения, прерывавшиеся только там, где можно было в явной безопасности от осколков пройти между камнями.

Через пять минут Сабуров был на наблюдательном пункте, устроенном довольно остроумно. На самом краю обрывистого оврага, отделявшего здесь позиции Ремизова от немцев, стоял разрушенный дом, по остаткам которого беспрерывно била немецкая артиллерия. Ремизов подкопался под фундамент и внизу, под ним, сделал довольно просторную землянку с двумя замаскированными глазками в сторону немцев.

Земля за ночь окончательно обледенела. На дне оврага лежал опрокинутый, сорвавшийся с откоса, танк и валялось много трупов.

— Как, позавтракали? — вместо приветствия, спросил у Сабурова Ремизов.

— Спасибо, товарищ полковник.

— Ну, это хорошо. Значит, Паша не подвела. Она у меня ведь кулачка: все для меня бережет, когда надо и когда не надо. Никак ее к гостеприимству не приучишь.

— Нет, наоборот, — сказал Сабуров, — даже шоколаду мне предлагала.

— Неужели? Ну, это прогресс, просто прогресс... Тихо сегодня у меня, даже подозрительно.

— Почему подозрительно?

— Слабо жмут на меня. Я, честно говоря, со вчерашнего дня ожидал, что будут жать сильнее. Ну, зато, кажется, там на генерала нажимают. Слышите?

Действительно, левее слышалась стрельба.

— По звукам судя, уже четыре раза до гранатного боя доходило. Так, так... Значит, выспались? Вы вчера, как дитя, заснули, и то все-таки мало спали. Я бы на вашем месте после этих пластунских занятий сутки спал. Я приказал вас не будить. Конечно, разбудили бы в крайнем случае, но пока ничего похожего нет. Шевелиться — шевелятся, это да. Вот извольте бинокль, если хотите.

Сабуров взял из рук Ремизова бинокль и долго просматривал ту сторону оврага. То здесь, то там перебегали люди. В

просветах между домами промелькнул один, потом другой танк.

— Бомбили уже? — спросил Сабуров.

— У нас нет. Тот, левый, берег бомбили. Все «катюш» ловят. «Катюши», как всегда, арии пели под утро. По-моему, сильно немцев потревожили... Вы отдохнули?

— Вполне.

— Сегодняшний день вы у меня прямо как прикомандированный офицер генерального штаба — можете наблюдать за общим ходом боя. Впрочем...

Ремизов отвел Сабурова в сторону, они вышли из блиндажа и сели на краю окопа.

— Впрочем,—повторил Ремизов,—хорошо, если бы вы пошли на правый фланг. У меня такое чувство, что они сегодня главным образом на генерала навалились, а я уже для них отрезанный ломоть. Они считают, что со мной всегда успеют разделаться. Но все-таки, на всякий случай, пойдите. У меня на правом фланге слабенько, — лейтенант Галышев, что батальоном командует, совсем мальчик. Всех поубивало вчера, что сделаешь? Вы у него до вечера понаблюдайте от моего имени. Если надо будет, команду примите. А ночью вместе пробиваться будем. Тут уже я вас от себя никуда... Хорошо?

— Хорошо, — сказал Сабуров, удивляясь той легкой, непринужденной мягкости, с какой разговаривал Ремизов, хотя совершенно несомненно было, что он приказывал.

— Ну-ка, ну-ка, пойдемте в блиндаж, — быстро сказал Ремизов, когда тяжелый снаряд разорвался наверху, в сотне шагов от них. — Пойдемте, пойдемте, — потащил он за рукав Сабурова.— Мне кажется, они очень хорошо знают, где мой наблюдательный пункт, но, видите ли, сверху меня не пробьешь, а чтобы в эти окошечки прямое попадание было, нужно пушечку выкатить прямо на ту сторону оврага, против меня. Вот тогда попадут. Они уже два раза выкатывали, но мы сшибали. А в третий раз боятся. Ночью, правда, попробовали, но ночью попасть не могут. Они ведь артиллеристы изрядно плохие. Вот, слышите, все по нас...

Так беседуя, минут пять они пересидели в блиндаже.

— Ну, теперь, наверное, на четверть часика передышку сделают. Идите, вас автоматчик проводит.

Землянка командира батальона была вырыта так же, как и наблюдательный пункт у Ремизова, под фундаментом разбитого дома, и из нее назад вел точно такой же глубокий ход сообщения.

Командир батальона Галышев, как и рекомендовал его Ремизов, оказался совсем молодым парнем, только что выпущенным из военного училища. Впрочем, за неделю пребывания здесь он приобрел уже все фронтовые привычки, и когда, познакомившись с Сабуровым, они присели у выхода из блиндажа, Галышев, вытащив из-за голенища кисет, скрутил таких чудовищных размеров самокрутку, что Сабуров невольно улыбнулся.

— Дайте и мне,— сказал он, вдруг вспомнив, что не курил со вчерашнего вечера.

— Где командир батальона? — послышался сзади них знакомый голос.

— Здесь, — сказал Галышев и радостно улыбнулся. — Здесь, Аничка, я теперь командир батальона.

Сабуров повернулся и встретился глазами с Аней.

Аня, которая, входя, рылась в своей санитарной сумке, сразу удивленно и устало опустила руки и теперь стояла, безмолвно глядя на Сабурова.

— Аня, — сказал он и шагнул к ней.

Она продолжала стоять неподвижно.

Он сделал еще шаг, обнял ее одной рукой и привлек к себе.

— Ну, что ты, Аня?

Она все еще молчала и, не двинув головой, только подняла на него глаза. В них стояли крупные слезы.

— Как, вы здесь? — наконец сказала она. — Когда вы пришли?

— Ночью.

— Это, значит, вы пришли от Проценко, да?

— Я, — сказал Сабуров.

— А мы все думали, кто бы мог притти. Но я не думала, что это вы. — Она была так удивлена, обрадована и взволнована, что впервые за все последнее время обращалась к нему на «вы». — Ну, как вы?

— Хорошо. Завтра опять будем все вместе, соединимся с Проценко.

— Я знаю, — сказала она, — я слышала. У вас раненые есть? — обратилась она к Галышеву.

— Есть, двое.

— Хорошо, — сказала она. — Сейчас мы их в овраг отнесем. Значит, вы здесь? — посмотрела она на Сабурова внимательным взглядом.

— Здесь.

Не меняя выражения лица, она потянулась, обняла его за шею обеими руками, коротко поцеловала в губы и снова опустила руки.

— Как хорошо, — сказала она, не меняя тона. — Я очень боялась.

— Я тоже, — сказал Сабуров.

Галышев молча наблюдал за этой сценой.

— Я сейчас пойду за ранеными, — повернувшись к нему, повторила Аня и опять подвинулась к Сабурову.

— Ты что, насовсем здесь? — Теперь, после поцелуя, она, словно оправившись от болезни, во время которой у нее исчезала память, стала ему говорить опять «ты».

— Нет, — сказал Сабуров. — Я ночью обратно.

— Пойдем, — сказала Аня. — Проводи меня немного по окопу. Там меня санитары ждут.

— Сейчас я приду, товарищ лейтенант, — сказал Сабуров Галышеву и пошел вслед за Аней.

На повороте, там, где Галышеву уже не было их видно, Аня взяла Сабурова за ремень и спросила:

— Ты ничего не говорил?

— Что не говорил?

— Чтобы вместе. Я очень хочу, чтобы вместе. Я тебе не говорила, но очень хочу...

— Пока не говорил, — сказал Сабуров.

— Мне показалось, когда мы с тобой сюда, на этот берег, переехали, что здесь не до того, чтобы говорить. И тебе так показалось?

— Да, — сказал Сабуров.

— Но ведь так теперь все время будет. А может быть, и хуже. У нас же там еще сильнее бои, чем здесь, да? — сказала она, прислушиваясь.

— Да.

— Ну, вот, значит, просить совсем не стыдно. Почему тебе стыдно попросить?

— Мне не стыдно, — сказал Сабуров. — Я попрошу сегодня ночью.

— Попроси... Очень страшно было, — сказала Аня, — когда вчера вечером нас совсем отрезали. Я подумала, что, может быть, больше тебя никогда не увижу. Я хочу вместе. Нет, нет, не слушай, как хочешь. Но я все-таки хочу вместе. Вот если бы сейчас сюда бомба попала, мне это не страшно, потому что вместе. Я храбрее буду, если мы вместе, понимаешь? И ты, наверное, тоже. Да?

— Наверное, — сказал Сабуров с некоторым колебанием, представляя себе, что если Аня будет рядом с ним, может быть, он меньше будет бояться за себя, но за нее, пожалуй, будет еще больше бояться.

— Наверное, — сказала Аня, — я знаю, у тебя так же, как у меня. А у меня так. Ну, я пойду раненых переносить. Тебе нельзя отсюда уйти?

— Нельзя.

— Я знаю. Я пойду раненых переносить. Ты знаешь, у нас столько их в овраге, никогда не было столько. Это потому, что через Волгу переправиться нельзя. Я пойду, — быстро добавила она, протянув Сабурову руку.

Только сейчас Сабуров заметил, что у нее другая шинель, — не та, в которой он видел ее раньше.

— Откуда у тебя эта шинель? — спросил он.

— Это не моя, мне с одного убитого дали. Вот видишь, — и она показала на маленькую дырочку на левой стороне груди. — А так совсем целая. В мою мина попала и изорвала в кусочки.

— Как мина?

— Мне жарко было, когда я вчера раненых выносила, я сняла ее и сложила аккуратненько, — знаешь, как на койке шинель складывают, — а в нее как раз мина угодила.

Сабуров задержал ее руку в своей руке. Он увидел, что шинель ей не по росту и край рукава подвернут. Грубое сукно натерло ей руку, и там, где был край рукава, на руке остались поперечные кровавые ссадины.

— Ну-ка, дай другую, — сказал он.

На другой руке было то же самое.

— Видишь, как натерла, — сказал Сабуров. — Ты скажи, чтобы тебе дали другую шинель.
— Хорошо.
— Непременно скажи.
Он крепко сжал ее руки в своих, поднес к губам и по несколько раз поцеловал каждую руку там, где были кровавые ссадины.
— Ну, иди, — сказал он. — Я увижу Проценко и попрошу, чтобы мы были вместе.
— Он не откажет, — сказала Аня. — Ни за что не откажет.
Она глубоко засунула руки в карманы, наверное, для того, чтобы Сабурову больше не было ее жалко, и зашагала по ходу сообщения.

Проведя у Галышева почти спокойный день, Сабуров, когда стемнело, возвратился на командный пункт к Ремизову. Ремизов курил, полулежа на койке. Против него сидел начальник штаба

В блиндаже была тишина, какая бывает, когда все уже решено и подготовлено, больше никаких распоряжений отдавать не нужно и остается только дожидаться назначенной минуты.
— Майора Анненского, — сказал Ремизов, — я оставляю командовать всем остальным участком, а сам пойду со штурмовой группой.
Начальник штаба за спиной Ремизова делал умоляющие знаки Сабурову, стремясь показать, что пойти со штурмовой группой должен именно он, Анненский, а полковник должен как раз остаться, потому что он ранен и итти ему бессмысленно. Так, по крайней мере, Сабуров понимал эти знаки Анненского.
— Что вы там жестикулируете? — не поворачиваясь, сказал Ремизов. — Не спорьте, не спорьте, — жестикулируете. Я не вижу, но чувствую. Вы меня не уговорите, напрасно капитану знаки делаете, он меня тоже не уговорит и, что самое приятное, уговаривать не будет. Да, капитан?
— Как вы считаете необходимым, — сказал Сабуров, зная по себе, что в таких случаях спорить бесполезно.
— Ну, вот, — облегченно сказал Ремизов, готовившийся еще к одной порции уговоров. — А что до вас, то я думаю, вы захотите пойти со мной. Если пойдете со мной, скорее до своих доберетесь. Во всяком случае, это будет в значительной мере зависеть от вас.
— Если разрешите итти с вами, я рад, — сказал Сабуров.
— А вы, Семен Семенович, — сказал Ремизов Анненскому, — хороший командир, но вам уже пора полк получать. Серьезно. Я так генералу и скажу при случае. У вас слишком много темперамента для начальника штаба. Начальник штаба должен быть расположен к некоторому уединению, к блиндажу в пять накатов... Да, да, я без иронии вам говорю. А вы, если вашего командира полка обстреляли за день три раза, а вас только два, уже считаете, что вы позорно окопались и что вам необходимо поскорее лично сходить в атаку, чтобы восстановить свое душевное равновесие. И не спорьте со мной: вам пора на другую командную должность. И если вам попадется

такой же начальник штаба, какой сейчас попался мне, и вам придется все время держать его за фалды, чтобы он не убежал на передовую, вот тогда вы меня поймете и посочувствуете мне, — и Ремизов рассмеялся.

Анненский стоял молча. Он был несколько обескуражен неожиданным оборотом разговора, но обижаться было не на что: старик говорил добродушно, с оттенком отеческой заботы. Подозвав Шарапова, Ремизов с его помощью надел поверх гимнастерки ватник, затянулся ремнем и нахлобучил фуражку.

— Не люблю пилоток, — сказал он, поймав взгляд Сабурова. — Может, и удобней, но лихости нет. — Потом, приложив руку тыльной стороной к козырьку, он проверил, правильно ли сидит фуражка, прицепил к поясу две гранаты и взял автомат. Сделав все эти приготовления, Ремизов посмотрел на часы. Сабуров, который знал из приказа Проценко о том, что атака должна начаться ровно в десять, тоже взглянул на свои часы: было без десяти минут десять.

— Ну, до свидания, Семен Семенович, — сказал Ремизов, пожимая руку начальника штаба. — Не скучайте. Пойдемте, капитан. Шарапов, за мной!

Через пять минут они уже сидели в узком, спускавшемся к Волге овражке с многочисленными нарытыми по краям окопами, — там, где по приказу Ремизова собирались штурмовые группы.

Люди сидели в окопах между развалинами, держа в руках оружие, поудобнее прислонившись к земляным стенкам, к камням, друг к другу. Разговоры велись шопотом. В одну сторону до немцев было довольно далеко, — метров двести, зато в другую, насколько позволяли судить дневные расчеты, всего полсотни метров. Разговаривали только тогда, когда над головой, вереща, проходил «У-2» и где-то в полукилометре сбрасывал над немецкими позициями белый шар осветительной ракеты и вслед за ним бомбы. В эти минуты можно было говорить громче.

— Опять королевская авиация полетела, — сказал кто-то рядом, когда еще один «У-2» прожужжал над оврагом.

— Кукурузник.

— А у нас на Северо-западном «лесником» звали.

— Ну, это как где. Где какая природа, — рассудительно сказал третий голос. — Где кукуруза — там кукурузник, где огородов много — там огородник, а где лес — там лесник. Главная причина, что летает низко, землю любит.

— Через минуту, если не будет опоздания, должна начаться артподготовка, — сказал Ремизов. — Гранат помногу взяли? — обратился он к сидевшим рядом с ним в окопе бойцам.

— По восемь штук, товарищ полковник, — отрапортовал молоденький сержант.

— Тише, не кричи, — сказал Ремизов. — По восемь? Это ничего. А ежели стена, а за стеной немцы, и не обойти ее?

— Тогда взорвем, товарищ полковник, — сказал сержант.

— А тол взяли?

— А как же, товарищ полковник?

— Сколько?

— Килограмм шесть взяли.
— А чего у тебя винтовка без штыка? — обратился Ремизов к одному из бойцов.
— У меня вот сестрица есть, — и боец хлопнул рукой по зазвеневшей на боку сабле.
— Что, казак, что ли?
— Из конного корпуса Героя Советского Союза генерал-майора Доватора.
— Что же ты, казак, а не на коне?—усмехнулся Ремизов.
— Я про коня забыл. Я коня уже полтора месяца в глаза не видел.
— Ну и что же, скучаешь? — спросил Ремизов.
— Здесь скучать нет возможности, товарищ полковник,— сказал боец, но в движении, каким он погладил саблю, чувствовалась тоска.
— Пора, — сказал Ремизов и, подозвав к себе командира роты, который непосредственно руководил атакой, спросил его, все ли готово.
— Все, — сказал тот.
— Значит, по первому артиллерийскому залпу с левого берега. Понятно?
— Да.
— Но на левый берег не надеяться, — сказал Ремизов. — Левый берег — левым берегом, а свои минометы пусть бьют.
— Будет исполнено, товарищ полковник.
— То-то... Ну, что же, пора, — второй раз повторил Ремизов, повернувшись лицом к Волге.
Сабуров тоже повернулся. И как раз в этот миг далеко, на левом берегу, загремело, вспыхнуло и что-то визжащее, гремящее, воющее пронеслось над головами.
— А вот и «катюши» запели,— сказал Сабуров Ремизову, но тот никак не реагировал на эти слова, и Сабуров понял, что за грохотом «катюш» его слова были неслышны.
Ниже и выше по левому берегу опять загрохотало, опять после коротких вспышек пролетели по небу огненные полосы минометного залпа. Они обрушились совсем недалеко, в полукилометре отсюда.
— Чувствую, что хорошо попали, — сказал Ремизов, когда смолк грохот залпа. — Очень хорошо. Честно говоря, побаиваюсь я этих «катюш». Дадут ошибку на один квадрат—и поминай, как звали. Сильное средство.
Вслед за «катюшами», с левого берега заговорила артиллерия. То там, то здесь виднелись далекие вспышки и тяжелые снаряды пролетали над головой. Впереди у немцев все небо было в красных вспышках. Когда снаряды рвались близко, эти вспышки вырывали из тьмы то угол дома, то обломок стены, то железные лохмотья изуродованных бензиновых цистерн. Штурмовые группы стали вылезать из оврага и выползать вперед. Один тяжелый снаряд разорвался совсем близко от оврага.
— Недолет, — сказал Ремизов. — Ну, что же, капитан, пойдемте.
Ремизов с неожиданной легкостью выскочил из окопа и, не-

оглядываясь, пошел вперед. Сабуров двинулся вслед за ним. Рядом пошли Шарапов и три или четыре автоматчика.

Наш артиллерийский налет продолжался. На немецких позициях и далеко в глубине все грохотало от разрывов тяжелых снарядов. Подожженные «катюшами», горели остатки бензина или нефти, красные языки пламени поднимались к небу. Вслед за разрывами там теперь начались разрывы и на этой стороне, — немцы отстреливались. Крупные мины несколько раз проносились над головой Сабурова и разрывались позади. Потом заговорили пушки. И, наконец, впереди послышались частые автоматные очереди.

Штурмовые группы быстро миновали промежуток от оврага до своих старых окопов, в которых сейчас сидели немцы. Этот участок, вчера отбитый немцами, был хорошо известен Сабурову. Он представлял собою квадрат примерно 400 на 400 метров. Все было изрыто окопами и ходами сообщения, и лишь кое-где на почти голом месте торчали развалины и обломки. Это объяснялось тем, что когда-то здесь стояли бензохранилища, от которых теперь остались только фундаменты и огромное количество раскиданного повсюду рваного листового железа.

Перебегая вслед за Ремизовым дистанцию, отделявшую его от первых окопов на той стороне, Сабуров несколько раз наступал на перегоревшие железные листы, которые со страшным грохотом коробились под ногами. Впереди были остатки каменной сторожки. Туда устремился Ремизов, а вслед за ним и Сабуров. Когда они подбегали, пулеметные очереди свистели слева, а у самих развалин кто-то из бежавших сзади Сабурова тяжело, со стуком, упал на землю. В развалинах несколько человек уже устанавливали два пулемета.

— Вот правильно, — сказал Ремизов. — Гаврилов?

— Я, товарищ полковник.

— Ну, как? Взяли?

— Выходит, взяли, товарищ полковник.

— А дальше двигаются?

— Двигаются.

— Иди вперед. Передай, что я все время буду здесь.

Около сторожки свистели и шлепались одинокие пули. Иногда рядом рассекала воздух пулеметная очередь. В воздухе перекрещивались разноцветные трассы пуль. Слева, совсем близко, слышались многократные взрывы гранат. Справа все еще продолжали стрелять, но взрывов не было: до гранатного боя там еще не дошло.

— Ах, негодяи! Ах, негодяи! — возмущался Ремизов. — Залегли ведь. Командира, что ли, убило. Сабуров, идите туда. Раз гранаты не рвутся, значит, залегли. Идите скорей. Любыми средствами поднимите.

Сабуров вылез из сторожки и пополз направо, в темноту. Действительно, командир там был убит. Стоявший среди развалин немецкий станковый пулемет не давал возможности подойти. Но заминка произошла не из-за того, что убили командира, а из-за того, что три сапера поползли в обход с толом, чтобы подложить заряд под развалины дома, на втором этаже которого находился пулемет. Остальные ждали взрыва,

чтобы двинуться дальше. Распоряжался всем какой-то старшина, который, когда Сабуров к нему подполз, деловито и спокойно объяснив ему суть происходящего, сказал:

— Если не доползут, не взорвут, и так пойдем, товарищ капитан, а то людей жалко — обождем пять минут.

Сабуров согласился и послал одного из автоматчиков к Ремизову сказать, что здесь скоро все будет в порядке. Несколько минут он лежал рядом со старшиной и ждал. Кругом шел ночной бой, как всякий ночной бой, похожий на уравнение со многими неизвестными.

«Что сейчас делается у Проценко?» — подумал Сабуров. Судя по грохоту артиллерии, далеким взрывам гранат и частой сетке трассирующих пуль над тем местом, где должен был наступать Проценко, Сабуров понимал, что там тоже шел бой. Наши снаряды с левого берега все еще проносились над головами, но разрывались они теперь далеко в немецком тылу. Разрывы гремели беспрестанно через каждые одну-две секунды, и Сабуров на мгновение представил себе, что творилось бы кругом, если бы такая канонада обрушилась сейчас не на немцев, а на него с его людьми. В сущности, этот огонь был ужасным, и, как все пехотные командиры, он от души благословил русскую артиллерию.

Когда впереди, там, где прятался немецкий пулемет, раздался оглушительный взрыв, Сабуров поднялся и, стреляя на бегу из автомата, повел красноармейцев в атаку.

Дважды за ночь Сабурова засыпало комьями земли от близко разрывавшейся мины. Рукав ватника ему пересекло автоматной очередью и слегка обожгло левую руку. Многие из тех, с кем он пошел в атаку, уже не отзывались на голоса товарищей. Многие были ранены, сестры и санитары вытаскивали их с поля боя. Сабуров так и не сумел в темноте и горячке разглядеть, была ли среди санитаров Аня.

В общем бой сложился легче, чем можно было предполагать. Те четыре штурмовые группы, которые были справа и которыми командовал сам Сабуров, довольно быстро заняли часть окопов, приходившуюся на их долю. Когда после нескольких часов боя Сабуров пошел вместе с другими прочищать траншеи, уходившие влево, в одной из них он столкнулся с шедшими навстречу автоматчиками. Это были бойцы одной из левых штурмовых групп. Таким образом оказалось, что весь этот участок был взят целиком, немцы убиты или бежали, а, может быть, частью еще прятались в блиндажах, что окончательно могло выясниться только утром, при свете.

— А как там, еще левей? — спросил Сабуров. — Соединились?

— Вроде как соединились, товарищ капитан, — сказал автоматчик, к которому он обращался, — дали там жару фрицам.

Сабуров подумал, что, вероятно, ночная задача выполнена и дивизия опять воссоединена, но, несомненно, что на этом не загроможденном строениями участке главные опасности предстояли утром. И даже то, что немцы ночью были сравнительно легко выбиты, не предвещало ничего хорошего на утро. Немцы едва ли примирились со своей неудачей. Не любя во-

обще ночных действий, они не ввели в бой крупные силы ночью, очевидно, лишь потому, что решили отложить это на утро.

Сабуров в темноте проверил оставшихся в живых людей, вместе со старшиной расположил пулеметы и кое-где приказал углубить окопы и восстановить амбразуры в обвалившихся от взрывов гранат блиндажах. Потом он послал двух связных с записками — одного к Ремизову, другого прямо на командный пункт, к начальнику штаба — с указанием на то, что с рассветом следует ожидать контратаки немцев, что он сам остается здесь и просит только скорее подтащить минометы и противотанковые ружья. «И если можно, — добавил он в конце обеих записок, — хотя бы два-три противотанковых орудия».

От Ремизова связной не вернулся: то ли он был убит по пути, то ли Ремизов не мог ничем помочь. От Анненского минут через пятьдесят, когда уже начинало сереть, прикатили вручную две 45-миллиметровых пушчонки на резиновом ходу и пришли пять бронебойщиков со своими длинными «дегтяревками» и десятка полтора автоматчиков. В записке, которую принес связной, Анненский писал: «Наскреб все, что мог. Держитесь».

XX

С восьми утра, когда рассвело и началась первая немецкая атака, и до семи вечера, когда стемнело и все кончилось, прошло одиннадцать томительных часов, в каждый из которых вряд ли выдавалось относительно тихих пять минут.

Когда на этом участке дивизию в последнюю неделю оттеснили к самому берегу, Проценко постарался укрепиться здесь особенно тщательно. Вся площадь была изрыта окопами, ходами сообщения, под остатками фундаментов были вырыты многочисленные норы и блиндажи, а впереди тянулся неширокий, но довольно глубокий овраг, через который немцам, чтобы достичь наших позиций, необходимо было так или иначе перебираться.

Если бы можно было начертить кривую нарастания звуков на поле боя, то в этот день она, как температура у малярийного больного, три раза стремительно лезла бы вверх и падала вниз.

Утром немцы начали обстрел из полковой артиллерии. Потом к ней прибавились полковые тяжелые минометы, потом дивизионная артиллерия, потом тяжелые штурмовые орудия, потом началась свирепая бомбежка. Когда грохот возрос до последнего предела, он вдруг оборвался и под неумолчную пулеметную трескотню немцы пошли в атаку. В эту минуту все, кто высидел, вытерпел, выжил в наших окопах, — все прильнули к пулеметам, автоматам и винтовкам. Овраг, который еще неделю назад, в дни первых немецких атак, был прозван «оврагом смерти», сейчас еще раз оправдал свое название: его склоны в течение нескольких минут покрылись телами мертвых и умирающих. Последние из них не добежали до окопов

двадцать, пятнадцать, десять метров. Казалось, еще секунда, полсекунды, и они проскочут это пространство. Но они не проскочили. Ужас смерти в последнюю секунду охватил тех, которые почти добежали, и заставил их повернуть обратно. Если бы ужас смерти их не повернул, они бы добежали до окопов. Но они повернули, и те, которые не были убиты, когда бежали вперед, были убиты на обратном пути.

Когда первая атака не удалась, все началось с начала. Но если в первый раз этот ад продолжался два часа, то во второй раз он продолжался уже пять с половиной часов. Немцы решили не оставить живого места на берегу. Весь берег был до такой степени изрыт воронками, что если бы снаряды разорвались одновременно, то действительно здесь не осталось бы в живых ни одного человека. Но снаряды рвались в разное время, и там, где только что разорвался один, в воронке уже лежали и стреляли люди, а там, где разрывался следующий, их не было, и эта смертельная игра в прятки, продолжавшаяся пять с половиной часов, кончилась тем, что, когда на исходе шестого часа немцы пошли во вторую атаку, оглохшие, полузасыпанные землей, черные от усталости бойцы поднялись в своих окопах и, ожесточенно, свирепо, в упор расстреливая все, что показывалось перед ними, отбили и эту атаку.

Немедленно кривая грохота опять полезла вверх. Самолеты заходили по пять, по десять, по двадцать, по тридцать и пикировали так низко, что волной взрыва их подбрасывало в воздухе. Не обращая внимания на зенитный огонь, они штурмовали окопы чуть ли не с двадцати метров. Фонтанчики пыли поднимались кругом так, словно шел дождь.

Бомбы, фугасные и осколочные, большие и маленькие, бомбы, вырывающие воронки глубиной в пять метров, и бомбы, которые рвались, едва коснувшись земли, с осколками, летящими так низко, что они брили бы траву, если бы она здесь была, бомбы, разрывающиеся на высоте двухсот метров и рассыпающиеся на десятки маленьких бомб, рвущихся в воздухе и падающих на землю шрапнелью,—все это ревело над головой в течение почти трех часов. Но когда ровно в семь часов вечера немцы пошли в третью атаку, они только еще раз заполнили «овраг смерти» своими телами.

Сабурову впервые пришлось видеть такое количество мертвецов на таком маленьком пространстве.

Утром, когда после прихода подкрепления Сабуров пересчитал своих людей, у него было, — он твердо запомнил эту цифру, — 83 человека. Сейчас, к семи часам вечера, у него осталось в строю 35, из них две трети легко раненных. Должно быть, то же самое было и слева и справа от него.

Окопы были разворочены, ходы сообщения в десятках мест прерваны прямыми попаданиями бомб и снарядов, многие блиндажи выломлены и вздыблены. Сабуров, контуженный еще третьего дня, сейчас почти ничего не слышал. Все уже кончилось, а в ушах его все еще стоял сплошной грохот.

Если бы его когда-нибудь потом попросили описать все, что с ним происходило в этот день, он мог бы рассказать это в нескольких словах: немцы стреляли, мы прятались в окопах,

потом они переставали стрелять, мы поднимались, стреляли по ним, потом они отступали, начинали снова стрелять, мы снова прятались в окопы, и когда они переставали стрелять и шли в атаку, мы снова стреляли по ним.

Вот, в сущности, все, что делал он и те, кто был с ним. Но, пожалуй, еще никогда в его жизни он не чувствовал такого упрямого желания остаться в живых. Это был не страх смерти и не боязнь, что оборвется жизнь, такая, какая она была, со всеми ее радостями и печалями, и не боязливая мысль о том, что придет завтра, а его, Сабурова, уже не будет на свете.

Нет, весь этот день он был одержим одним единственным желанием высидеть, дождаться той минуты, когда наступит тишина, когда поднимутся немцы, когда можно будет самому подняться и стрелять по ним. Он и все окружавшие его трижды за день ждали этого момента. Они не знали, что будет потом, но до этой минуты они каждый раз хотели дожить во что бы то ни стало. И когда в семь часов вечера была отбита последняя, третья, атака, наступила короткая тишина, и люди в первый раз за день сказали какие-то слова, кроме команд и страшных, нечеловеческих, хриплых ругательств, которые они кричали, стреляя в немцев. Эти слова оказались неожиданно тихими, и в воздухе чувствовалась торжественность, как будто произошло нечто необычайно важное, священное. Сабуров почувствовал, что они сегодня победили немцев, сделали не только то, о чем потом будет написано в сводке Информбюро: «Часть такая-то уничтожила до 700 (или 800) гитлеровцев», а что они вообще победили сегодня немцев, оказались сильнее их.

В половине восьмого, уже в темноте, в окоп к Сабурову пришел Анненский. Сабуров сидел на сложенной шинели, прислонившись спиной к стенке окопа, и лениво ковырял вилкой в банке с мясными консервами, пытаясь убедить себя в том, что он голоден и надо поесть, хотя есть ему совсем не хотелось.

— Ну, отбились, — сказал Анненский.

Лицо у него было такое же черное и усталое, как у всех окружающих — очевидно, там где был Анненский, сегодня происходило то же, что и здесь.

— Отбились, — сказал Сабуров. — А как вообще?

— И вообще отбились, — сказал Анненский, — Я пришел с лейтенантом, он вас заступит, — вас генерал вызывает.

— А там как? — спросил Сабуров.

— Там тоже отбились. Вы идите, срочно вызывает.

— А где Ремизов?

— Отнесли его в блиндаж.

— Что такое? Раненый?

— Нет, — сказал Анненский, — не раненый. Старик просто полчаса назад, когда все кончилось, хлопнулся в обморок. У него ведь ранение не только смешное, но и тяжелое. Сейчас его водой отпаивают. Так идите, идите к генералу, а то сердиться будет.

— Всего доброго,— Сабуров пожал руку Анненскому.

— Да, кстати, — сказал Анненский, — теперь его командный пункт не там, где был. Он перебираться приказал.

— Куда?

— Метров триста отсюда, на самом обрыве. Вы его, наверное, там и застанете.

Сабуров пошел по ходу сообщения назад. Два или три раза ему пришлось переступить через засыпанные землей, еще не убранные тела своих бойцов. Пройдя шагов триста, Сабуров почти в упор столкнулся с Проценко. Проценко стоял на краю обрыва. Он был в таком же, как и все, ватнике, но в генеральской, с красным околышком, фуражке, недавно привезенной ему из тыла, с того берега. Немного поодаль двое бойцов рыли блиндаж.

— Сабуров! — крикнул Проценко, узнав его еще за десять шагов. — Сабуров, это ты?

— Я, товарищ генерал, — сказал Сабуров.

Проценко сделал ему навстречу три шага, остановился, вытянулся и, против обыкновения, очень официально сказал:

— Товарищ Сабуров, от лица командования благодарю вас.

Сабуров тоже вытянулся и, стоя в позиции «смирно», растерянно пробормотал что-то.

— Я вас представил к награде — к ордену Ленина, — сказал Проценко. — Вы это заслужили, я хочу, чтобы вы знали об этом.

— Очень большое спасибо, — неожиданно для себя по-детски сказал Сабуров и улыбнулся.

Проценко тоже улыбнулся. Поглядев друг на друга, они поняли, что сегодня произошло что-то очень большое и праздничное для них обоих и для всех окружающих, и что представлен или не представлен Сабуров, и получит он или не получит орден, — все это, в конце концов, не так существенно по сравнению с тем, что произошло сегодня. А сегодня была победа — они оба это понимали. Сегодня была победа над немцами, которые по всем военным законам должны были взять берег обратно — и не взяли.

— Ну, как, живой, здоровый? — спросил Проценко, обняв Сабурова и тихо похлопывая его по плечу. — Живой?

Сабуров не ответил. Что можно было сказать на это?

— Когда-нибудь мы с тобой, Алексей Иванович, вспомним этот день, — сказал Проценко. — Вот помяни мое слово, именно этот день. Может быть, кто и другой день вспомнит, а мы именно этот. Чувство какое замечательное сегодня, а?

Сабуров молча кивнул.

— Вот командный пункт сменил, — сказал Проценко. — Тут раньше штаб батальона был, я приказал расширить для себя. Они завтра сюда будут главный удар направлять. А мы не отдадим это место. Сегодня все это почувствовали, — я знаю: и ты, и я, и все почувствовали. Так я это чувство у людей закрепить хочу и вот сюда со штабом переехал, чтобы не только чувствовали, но и знали, что не отдадим его. Понимаешь?

— Понимаю, — сказал Сабуров. — Только у вас там удобнее было.

— Там удобнее, но я и здесь ведь прочно устраиваюсь. Знаешь, смелость — смелостью, а хоть четыре наката над головой у командира дивизии все равно должно быть. Между прочим,

должен тебя огорчить: во-первых, убит Попов... С Ремизовым познакомился?

— Познакомился.

— Ну, как? Душа-человек, верно?

— Да, — сказал Сабуров.

— Будет теперь у тебя командиром полка, вместо Попова.

— А в ремизовском полку?

— Там думаю Анненского оставить. Так, значит, это во-первых. Во-вторых, ослабил я вчера оба полка для того, чтобы штурмовые группы собрать. Ну, и потеснили их. И твой батальон потеснили. Дивизии опять все вместе — это хорошо, а к берегу нас поплотней прижали, домов пять отдали.

— И у меня тоже? — спросил Сабуров с тревожным чувством человека, которому еще не сказали самых неприятных известий.

— Да. И твоих тоже потеснили. Я сам вчера там полдня был. Может быть, и мой грех — слишком много твоих людей взял, но не взял бы, и не соединились бы с Ремизовым. Полдня просидел у тебя там. В общем, там, где у тебя командный пункт, теперь почти самая передовая.

— Так, — сказал Сабуров.

— Из трех домов один забрали немцы,— тот, который буквой «Г». Знаешь?

— Знаю.

Проценко говорил подчеркнуто спокойным тоном, но в том, как он говорил, заметно было, что он чувствует за собой как бы некоторую вину перед Сабуровым,— что вот он взял у него из батальона и людей и его самого, и теперь Сабуров может быть на него в претензии, потому что Сабурову должно казаться, что если бы он сам был там, то этого бы не случилось, хотя это вполне могло произойти и при нем.

— В общем, отправляйся в батальон и зацепись там, где остановились, это главное. Не огорчайся, не огорчайся, — похлопал Проценко по плечу упорно молчавшего Сабурова,— важнее, что вся дивизия вместе, это подороже, чем твой дом. Да, кстати, старые мы сослуживцы с тобой, а не знал я, что ты такой скрытный.

— Почему скрытный? — удивился Сабуров.

— Конечно, скрытный. Я же говорю, что полдня у тебя в батальоне пробыл. Мне там все рассказали.

— Что рассказали? — все еще продолжая не понимать, спросил Сабуров.

— Женился, говорят.

— А, вот что.— Сабуров только сейчас сообразил, что́ имел в виду Проценко. При первых намеках ему это не пришло в голову, так далеко были сейчас его мысли. — Да, женился, — сказал он.

— Говорят, даже свадьбу хотел устраивать. Так бы и устроил, и меня не пригласил, а?

— Я не устроил бы, — сказал Сабуров. — Просто разговоры были. Хотелось, чтобы так было, но так не было бы.

— А почему? Вполне может быть. Я эту девушку знаю. Я ей даже орден выдавал. Хорошая девушка.

— Очень, — сказал Сабуров.
— Она фельдшер или сестра?
— Фельдшер.
— У тебя фельдшер-то в батальоне есть?
— Последнее время нет, — сказал Сабуров. — Его убили, когда я в госпитале был.
— Ну, что же, — сказал Проценко. — Могу ее фельдшером к тебе в батальон. Раз по штату положен, значит, можно.
— Мне даже врач по штату положен, — сказал Сабуров.
— Ну, мало ли что положено. Тебе в батальоне, например, положено восемьсот штыков иметь, а где они у тебя? А фельдшера могу дать, только с условием...
— С каким?
— Условие то, чтобы меня на свадьбу позвать. И вот еще что... Только ты, Алексей Иванович, не обижайся, если я тебе резко скажу. Для тебя она жена, а для батальона она фельдшер и никакого касательства к батальонным делам, кроме как по санитарной части, иметь не может. А то знаешь, бывает так, женщины иногда не от плохой души, а от чистого сердца советы подавать начинают... Так вот этого на войне быть не может.
— По-моему, тоже, — сказал Сабуров. — Впрочем, если вы сомневаетесь, то пусть она остается там, где сейчас.
— Нет, я не сомневаюсь, — сказал Проценко. — Я просто вообще подумал об этом и сказал тебе. Вот и все. Ну, — спохватившись, добавил он, — иди скорей к себе. Тебя там заждался Масленников твой. Влюблен он в тебя, что ли?
— Я же не девушка.
— Любит, очень любит. Такими глазами на меня смотрел, как будто я тебя съел. Пришлось ему сказать: «Вернется ваш Сабуров, вернется, не волнуйтесь».
— Кто же вам все-таки рассказал, товарищ генерал?
— Кто рассказал? Ванин рассказал. Ты как будто к нему сердито относишься. А?
— Нет, почему? — спросил Сабуров.
— Да, так, ничего не говорил мне о нем. Так, если сердито относишься, — напрасно. Хороший человек, и тебя уважает. Ну, иди, иди, — и Проценко протянул Сабурову руку. — Думаю, немцы завтра повторят все. Но если сегодня у них не вышло, то завтра тем более не выйдет. У меня на этот счет предчувствие. Но, — и Проценко поднял палец, — хорошие предчувствия — предчувствиями, а если Волга еще два дня не станет, то снаряды кончатся. Экономь. И паек экономь. До свидания.
— До свидания, товарищ генерал.

XXI

Ночь была темная. То справа, то слева в нескольких стах метрах шлепались случайные мины, и именно потому, что разрывы были редки и неожиданны, Сабуров несколько раз вздрогнул. Добравшись до своего батальона, он встретил бойца, который узнал его.

— Здравствуйте, товарищ капитан.

— Здравствуйте, — сказал Сабуров. — Проводите меня на командный пункт. Где он теперь, знаете?

— А где был, там и есть, — сказал боец.

Когда Сабуров подошел к блиндажу и увидел в окопе знакомую фигуру Пети, в сердце Сабурова что-то дрогнуло. Ему показалось, что он пришел домой.

— Товарищ капитан! — обрадовался Петя. — А мы-то уж вас ждали...

— Вы бы меньше ждали, да лучше воевали. Нечего сказать, хорошенький подарок мне к возвращению приготовили, — сказал Сабуров, стараясь скрыть радость встречи. — Дом отдали.

— Это верно, — сказал Петя. — Очень уж навалились, а то бы не отдали. Сил не было. У нас ведь сорок человек из батальона генерал забрал.

— Не только у вас забрал, и у других забрал.

— Так и других потеснили, — обиженно сказал Петя. — Не было человеческой возможности... А уж комиссар и Масленников вас ждали, ждали.

— Где они?

— Товарищ Ванин здесь.

— А Масленников?

— А Масленников, как темнеть стало, пошел в дом. Туда теперь днем не пройдешь.

— А до немцев отсюда сколько теперь?

— Слева далеко, как были, а с этой стороны, — Петя кивнул направо, — шестидесяти метров не будет. Все слышно.

— Много народу убило? — спросил Сабуров.

— Одиннадцать убитых, тридцать два раненых, — сказал Петя, любивший точные ответы. — А потом еще Марию Ивановну убило.

— А дети?

— И детей тоже. Всех вместе их. Прямо в их подвал бомба. Одна воронка — и кругом ничего не видать.

— Когда это?

— Вчера.

Сабуров вспомнил, как эта женщина давно, теперь казалось, целую вечность назад, сказала ему равнодушным голосом:

— А если бомба, так пусть — один конец всем вместе с детьми.

И вот ее случайное пророчество исполнилось.

— Да, много ты мне всего наговорил, — сказал Сабуров. — Лучше бы меньше, — и, подняв плащ-палатку, вошел в блиндаж.

Ванин дремал за столом. Он писал политдонесение и так и заснул, уронив голову на бумагу и разбросав по столу руки. «Отрицательных случаев морально-политического поведения нет» — была последняя фраза, которую успел дописать Ванин, засыпая.

— Ванин, — позвал Сабуров, постояв над ним. — Ванин.

Тот вскочил.

— Ванин, — повторил Сабуров, — это я.

Ванин долго тряс ему руку, глядя на него, как на выходца с того света.

— А мы уже за тебя тревожились, — сказал он.

— У вас, кажется, тут некогда было тревожиться.

— Нет, представь себе, нашли время. Чорт тебя знает, что-то такое в тебе есть, что скучно без тебя. То ли, что ты такой большой — без тебя будто из комнаты печку вынесли.

— Спасибо за сравнение, — сказал Сабуров.

— Сравнение-то, может, неподходящее, а по существу так. Между прочим, дело к холодам, и ты напрасно обижаешься: печка — теперь самое необходимое устройство.

— Да вы, гляжу, ее и поставили.

В блиндаже действительно стояла круглая железная печка.

— А как же? Поставили. Хорошо горит. Хочешь погреться?

Вместо ответа Сабуров сел на койку, стащил один за другим оба сапога и протянул ноги к огню.

— Хорошо,— сказал он.— Очень хорошо. Нажаловался на меня генералу?

Ванин рассмеялся:

— Нажаловался. Я же комиссар. Я же должен знать, что у людей на душе творится. Ну, вот, увидел, что у тебя душа не на месте, и пожалуйста.

— У всех душа не на месте, — сказал Сабуров, — и раньше, чем война не кончится, она на место не встанет... Что Масленников, в дом ушел?

— Да. Все не терпится.

— К утру вернется?

— Должен. Если к утру не вернется, значит, до следующего вечера. Туда и оттуда днем не пройдешь: и справа и слева все перекрестным огнем из пулеметов простреливают.

— Кто же там остался?

— Человек пятнадцать. Конюков там комендант. Ведь Потапов-то убит.

— Ну?

— Убит. Конюкова я уже в критическую минуту своей властью командиром роты назначил. Больше некого было. Когда нас вышибли, он с тем, что от роты осталось, засел в доме.

— Неужели пятнадцать человек всего во второй роте?

— Нет,— сказал Ванин,— еще человек десять здесь есть. Они с двух сторон от дома отошли, а он в доме остался. Человек двадцать пять во второй роте.

— А в остальных?

— В остальных немножечко больше. Вот на, смотри.

На листочке бумаги Ванин, с присущей ему аккуратностью, расписал наличие людей по всем ротам.

— Да, — сказал Сабуров,— много потеряли. Ну, а где передний край проходит теперь?

— А вот смотри, пожалуйста. — Ванин порылся в папке и вынул чертежик.— Масленников сделал к твоему возвращению.

На чертежике было нанесено расположение батальона. Батальон уже не выдавался уступом вперед, как это было рань-

ше, а стоял на одной линии с остальными батальонами, вдоль правой стороны разрушенной улицы, и только один дом, обведенный на чертежике пунктиром, языком выходил вперед.

— В сущности говоря, этот дом в окружении, — сказал Ванин. — Немцы днем нас туда не подпускают. Ползаем ночью.

— Да, когда всю улицу обратно придется брать, это будет хороший форпост для продвижения, — сказал Сабуров. — Надо его удерживать.

— Когда обратно брать будем...— протянул Ванин.— Боюсь, что далеко еще до этого.

— Почему?

— Пока дай бог удержаться там, где сидим.

— Конечно, — сказал Сабуров, — я об этом и говорю, что дай бог удержаться. А удержимся, так и обратно возьмем.

— Ты что-то веселый вернулся. Более оптимист, чем обычно, — сказал Ванин.

— Да, гораздо более оптимист, чем обычно, — сказал Сабуров. — Это ничего, что один дом отдали. То есть, это плохо, конечно, но ничего. То, что удержались сегодня на берегу и не пустили их к Волге, это главное. И дальше не пустим.

— Убежден? — спросил Ванин.

— Убежден, — сказал Сабуров.

— А почему убежден?

— Как тебе сказать? Могу привести некоторые логические доводы, но не в них дело. Чувствую, что будет так. Такое сегодня выдержали, чего раньше не выдержали бы. Сломалось у них что-то. Знаешь, как игрушка заводная. Вот заводили, заводили, а потом завод — крак — и больше не заводится.

— Ну, что же, — сказал Ванин. — Рад верить. А мы тут с этим домом так огорчились, что ни вчера, ни сегодня никаких чувств у нас, кроме горькой досады, не было.

Ванин поднялся и, прихрамывая, прошелся по блиндажу.

— Ты что хромаешь?

— Ранен. Ничего, до свадьбы заживет — до моей, конечно, а не до твоей, потому что твоя, говорят, не за горами.

— Кто это говорит?

— Проценко.

— Ну, что же,— сказал Сабуров.— Банкетный зал готов.— Он окинул взглядом блиндаж.— Музыка будет, даже иностранные музыканты примут участие. Жених здесь. Осталось только ждать, когда невеста с подругами явится под венец.

— А сегодня, как Масленников вернется, мальчишник устроим, — сказал Ванин. — Ты не думай, что так отделаешься. Без мальчишника мы все равно не дадим тебе жениться.

— Только вот у Пети с запасами, наверное, слабовато. А, Петя?

— Как-нибудь уж постараюсь, товарищ капитан, — сказал Петя. — Вы меня наконец правильно оценили, — и, открыв флягу, он налил водки в кружки, стоявшие перед Ваниным и Сабуровым.

Но не успели они поднести кружки к губам, как плащ-палатка поднялась и Масленников, веселый, шумный, растрепанный Масленников появился на пороге блиндажа.

— Подождите, — поднял он руку. — Что вы делаете? Без меня?

Бросившись к Сабурову, Масленников схватил его, приподнял с места, обнял, расцеловал, схватил за руки, отодвинул от себя, посмотрел, опять придвинул к себе, поцеловал и посадил обратно — все в одну минуту. Потом плюхнулся сам на третью, стоявшую у стола, табуретку и неожиданным лихим басом крикнул:

— Петя, водки мне!

Петя налил ему водки.

— За Сабурова, — сказал Масленников. — За то, чтобы он поскорее стал генералом.

Но Ванин, подняв кружку, улыбнулся своей грустной улыбкой и возразил:

— За Сабурова. За то, чтобы он поскорее стал учителем истории.

Ванин и Масленников одновременно посмотрели на Сабурова.

— Значит, учителем истории или генералом? — переспросил Сабуров. — Я готов быть поливальщиком улиц, если бы из-за этого война кончилась хоть на один день раньше. Разумеется, кончилась бы так, как нам этого хочется. Итак, выпьем за нее.

— За кого? — спросил Ванин, хотя Масленников в это время толкнул его коленом под столом, давая понять бестактность вопроса: «Ну, конечно, за Аню».

— За нее — за победу, — пояснил Сабуров и выпил залпом. — А что до учителей, — сказал он, переведя дух, — то после войны мы все понемножку, так или иначе, будем учителями истории... Ну, как в доме, а? — обратился он к Масленникову.

— Там царствует Конюков, — сказал Масленников. Из-за усталости, выпив всего одну порцию водки, он был уже в том повышенно-торжественном настроении, в котором непременно говорят длинными и настолько сложно построенными фразами, что их иногда так и не удается закончить. — Там царствует Конюков, который объявил себя начальником гарнизона и ведет себя с достоинством генерал-лейтенанта, а кроме того, нацепил свой старый «Георгий», который, как говорит, он носит в ожидании того, когда капитан Сабуров выдаст законно причитающийся ему, согласно приказу командующего армией, орден Красной Звезды. Петя, что ты смотришь? — крикнул Масленников. — Ведь кружки пустые.

Сабуров искоса посмотрел на Масленникова, но потом, решив, что тот все равно валится с ног от усталости и ему, так или иначе, надо спать, не стал возражать. Петя налил им еще по одной порции.

— Интересно вот что, — сказал Ванин. — Петя никогда не ошибается: он всегда наливает ровно по сто грамм.

— Точно, товарищ старший политрук.

— Я знаю, что точно. И если даже разная посуда — одному в кружку, другому в стаканчик, третьему в чайную чашку — все равно разливает точно. Может, объяснишь секрет, а?

— Я разливаю не на-глаз, товарищ старший политрук, а

на слух и на счет. Держу фляжку под определенным углом и тогда по звуку отсчитываю: раз, два, три, четыре, пять — готово, раз, два, три, четыре, пять — готово.

— Ну, этот, — сказал Масленников, — после войны будет работать в аптекоуправлении.

— Никогда, товарищ лейтенант, — сказал Петя. — Никогда.

— А что же ты будешь делать после войны? — спросил Сабуров.

— Я буду работать по снабжению, — сказал Петя. — Я удивительно буду работать по снабжению.

— Ты, по-моему, выпил, Петя? — спросил Сабуров.

— Да, товарищ капитан, когда вы пили за победу, я тоже выпил. Да, я немного выпил, — сказал Петя и сделал паузу. Он промолчал о том, что водка, против обыкновения, подействовала на него, потому что все съестные запасы были на исходе и он, экономя еду для командиров, за весь день сам съел лишь два черных сухаря. — После войны я буду работать по снабжению, так же, как я работал. И если кто-нибудь думает, что после войны это будет неинтересная работа, то он ошибается. Я хочу, чтобы настало такое время, когда то, что я делал в тысяча девятьсот тридцать третьем году, показалось бы людям смешным. Я был королем, потому что я мог достать пятьдесят мешков картошки или три мешка репчатого лука. Но когда-нибудь, после войны, мне скажут: «Петя, достаньте в рабочую столовую устриц, во-первых, и шабли, во-вторых». Я скажу: «Пожалуйста». И к обеду будут устрицы и шабли.

— А ты ел когда-нибудь устриц? — спросил Сабуров. — Вероятно, это изрядная гадость.

— Нет, я не ел, — сказал Петя. — Это я к примеру. Я просто хотел назвать что-то такое, о чем вы сейчас меньше всего думаете. Налить вам еще?

— Нет, — сказал Сабуров, — довольно. — Он опустил голову на руки и задумался.

Петя говорил сейчас от души, это были его мечты.

Закрыв глаза, Сабуров задумался над тем, сколько мечтаний, мыслей о будущем, поздних раскаяний и неосуществленных желаний погребено в русской земле за эти полтора года, сколько людей, мечтавших, желавших, мысливших, каявшихся, погребено в этой земле, и никогда уже они не осуществят ничего из того, о чем думали. И ему показалось, что все это исполнимое, но невыполненное, все задуманное, но не сделанное теми, кто теперь мертв, всей своей тяжестью ложится на плечи живых, и на его плечи. Он задумался над тем, как все будет после войны, и не мог себе этого представить, так же, как не мог бы себе представить до войны того, что происходило с ним сейчас.

— Чего загрустил? — обратился к нему Ванин. — Генерал говорил с тобой?

Сабуров поднял голову.

— Я не грущу, я просто думаю. — Он рассмеялся. — Почему у нас, если кто-нибудь задумается, считают, что он грустит? Петя!

— Да?

— Возьми мой автомат. Сейчас пойдем с тобой.
— Куда? — спросил Масленников.
— Обойдем позиции.
— Поспите, Алексей Иванович. Утром... Утро вечера мудренее.
— Нет, утром обходить их... мне жизнь дороже, — усмехнулся Сабуров. — Я сейчас пойду.
— Я с вами, — сказал Масленников.
— Нет, я один, — и Сабуров положил руку на плечо Масленникова. — Все, Мишенька. Сиди и помни, что когда командир возвращается в часть, его принимают как гостя первые полчаса, а потом хозяин снова он. Понял? Ложись спать. Когда я вернусь, я тебя разбужу и мы поговорим насчет планов на завтрашний день. Ты бы тоже вздремнул, — вставая, сказал Сабуров Ванину.
— Я уже, — улыбнулся Ванин. — Никак политдонесение не кончу, три раза засыпал.
— А ты их скучно пишешь, — сказал Сабуров, — так скучно, что сам в это время засыпаешь, а представь себе, как другие засыпают, когда их читают.
Они оба рассмеялись.
— Ты соберись сегодня с силами, — сказал Сабуров, — и напиши что-нибудь занимательное, чтобы читали, как Конан-Дойля. Ну, пока, всего доброго.
Сабуров и Петя вышли из блиндажа. После их ухода Масленников растянулся на койке и сразу же, по-детски посапывая носом, заснул. Ванин сел за стол и, положив перед собой незаконченный лист политдонесения, задумался. Потом полез под койку, достал оттуда потрепанный клеенчатый чемодан и вытащил из него толстую общую ученическую тетрадь. На первой странице ее было написано: «Дневник». Сюда в редкие свободные минуты он заносил разные привлекавшие его внимание события и обстоятельства.
Он положил дневник рядом с листком сегодняшнего политдонесения и подумал, что, может быть, именно то, что он записывает в эту заветную тетрадь, и нужно было писать в политдонесениях. Разговоры, мысли, чувства, события, показывающие людей с неожиданной стороны, — все, что он записывал, потому что это было интересно для него, — может быть, именно это и вообще интересно, а то, что он пишет каждый день по графам «положительные явления», «отрицательные явления», — не особенно интересное для него, может быть, так же неинтересно и для тех, кто будет читать.
В эту минуту, приподняв плащ-палатку, в блиндаж вошла Аня.
— Здравствуйте, товарищ старший политрук, — сказала Аня.
Ванин поднялся ей навстречу и пожал руку.
— А где капитан Сабуров? — спросила она.
— Ушел в роты, скоро вернется.
— Разрешите обратиться к вам? — спросила Аня.
— Пожалуйста.
— Назначенная в ваш батальон военфельдшер Клименко

по месту назначения явилась, — сказала Аня, козырнув. Потом, опустив руку, она спросила: — А Алексей Иванович скоро будет?

— Скоро.

— Я хочу его поскорее увидеть.

— Сочувствую вам, — сказал Ванин. — Он скоро будет. Садитесь.

Они сели и с минуту помолчали.

— Не смотрите на меня так, — сказала Аня. — Я не просила об этом.

— Знаю.

— И он не просил, — сказала она решительно.

— Знаю. Я просил.

— Вы?

— Я.

Ванин вспомнил свою пропавшую семью и с доброй завистью и сознанием невозвратимости своего счастья сказал:

— Прекрасно, что вы здесь. Вы сами не понимаете, как это прекрасно.

Аня молчала, ожидая, что он скажет дальше.

— Вы понимаете, — продолжал Ванин, — я рад был помочь тому, чтобы вы были вместе. Мы тут с Алексеем Ивановичем часто спорили. Мы с ним очень разные люди. Но, видите ли, какая история, как бы вам это объяснить... Стойте, вы же меня давно знаете, — вдруг прервал он самого себя.

— Конечно, товарищ Ванин, — сказала Аня. — Кто же из сталинградских комсомольцев вас не знает?

— Когда мы тут встретились с Сабуровым, то поспорили из-за зеленых насаждений. Помните, мы все тут зелеными насаждениями увлекались. Он мне доказывал, что, предвидя войну, мы меньше должны были заниматься этим и гораздо больше многим другим. И я с ним в общем даже согласился. Но вы помните, с каким увлечением мы это делали, как это было хорошо? Вы помните?

— Помню, — сказала Аня.

— Это же было такое счастье, — сказал Ванин убежденно, — такое счастье. Мне всегда хотелось, чтобы у всех было счастье, и все, что я делал, я делал для этого. Иногда ненужные мероприятия проводил — для этого, лишние директивы писал — все равно для этого. Так я, по крайней мере, всегда считал.

Хотя Ванин говорил путанно и сбиваясь, но Аня поняла, что он говорил о том, что мучило его все это время.

— А вот сейчас, — продолжал Ванин, — хотя мне всегда казалось, что я все правильно делал и для счастья людей, сейчас я чувствую, что, наверное, прав Сабуров: может быть, меньше нужно было зеленых насаждений, меньше вольных движений на физкультурных парадах, меньше красивых слов и речей, — больше надо было топать с винтовками и учиться стрелять. Но я же тогда так не думал, это же я теперь так считаю. Вы понимаете меня?

Ванин откинул падавшие на лоб пряди волос, и Аня вспомнила давнее комсомольское собрание, где Ванин выступал с

трибуны, горячился вот так же, как сейчас, и так же откидывал со лба назад мешавшие ему пряди. И хотя не все, что Ванин говорил сейчас, ей было понятно, потому что то, что он говорил, повидимому, было лишь продолжением его споров с Сабуровым, но она вдруг поняла, что перед ней сидит очень хороший, очень добрый человек.

— Да...— неожиданно прервал себя Ванин.— Вот и я говорю: особенно рад я, что вы будете с Алексеем Ивановичем вместе, когда кругом происходит все такое, чорт его знает, страшное или не страшное, в общем, трудное для человека. Хорошо, когда вместе... Вы что, прямо с вещами?

Аня улыбнулась:

— Вот вещи.

Она показала на большую, набитую доотказа, санитарную сумку.

— А еще?

— А еще — и все, — сказала Аня.

Она сняла шинель и присела к столу.

— А все-таки мы зеленые насаждения опять тут устроим,— сказал Ванин.— Как были, так и будут. И если молодежь примется за это не так горячо, как нам бы хотелось, мы, старые комсомольцы, тряхнем стариной и сами возьмемся.

— Конечно, возьмемся, — сказала Аня, невольно вспомнив ту картину, которую сегодня представлял собою Сталинград.

Масленников пошевелился под шинелью, потом быстро сел на койке, нащупал сапоги, надел их на босу ногу, встал и подошел к Ане поздороваться.

— Вот и вы,— сказал он.

Ане было приятно, что он сказал это так, как будто здесь давно ждали ее.

— Кушать хотите?

Аня отрицательно покачала головой.

— Спать хотите?

Аня опять покачала головой.

— Ничего не хочу,— сказала она.— Я рада вас видеть.

— Завтра у нас, наверное, будет тихо,— сказал Масленников, то ли чтобы успокоить ее, то ли чтобы просто продолжить разговор.

— Моя старая комсомолка,— сказал Ванин.— «Друзья встречаются вновь»,— кажется, была такая картина?

— Была,— сказала Аня.

— Давно не видел кино. Тут «Правду» получили как-то, я смотрел список картин, идущих в московских кинотеатрах. Даже «Три мушкетера» там идут.

— Я видела «Три мушкетера», — сказала Аня, — когда совсем маленькая была.

— Это, наверное, с Дугласом Фербенксом?— спросил Масленников.

— Да.

— Нет, говорят, теперь другие артисты играют. Дуглас Фербенкс умер.

— Неужели?— удивилась Аня.

— Умер, давно умер. И Мэри Пикфорд умерла.

— Неужели и Мэри Пикфорд? — сказала Аня с неподдельным огорчением, так, как будто это было самое печальное событие из всех, происшедших в Сталинграде за последний месяц.

— Умерла, — жестко сказал Масленников.

Собственно говоря, он не знал, умерла или жива Мэри Пикфорд, но, раз заговорив на эту тему, он захотел поразить слушателей своей осведомленностью.

— А Бестер Кейтон? — с тревогой спросила Аня.

— Умер, — убежденно сказал Масленников.

Ванин рассмеялся.

— Что ты смеешься?

— Ты говоришь о них так, как будто перечисляешь потери в какой-нибудь роте за последние сутки, — и Ванин рассмеялся еще громче.

— Очень хороший был артист, — сказала Аня. Ей было грустно, что Бестер Кейтон умер. Она вспомнила его длинную, печальную, никогда не улыбавшуюся физиономию, и ей стало жаль, что умер именно он.

— Не умер он, — сказал Ванин, посмотрев на Аню.

— Нет, умер, — горячо возразил Масленников.

— Ну, ладно, пусть умер, — согласился Ванин, вспомнив о смешной стороне этого спора здесь, в Сталинграде. — Я пойду проверю посты, — добавил он, надевая шинель и этим тоже давая понять, что разговор окончен и что в конце концов не так уже важно, умер или жив Бестер Кейтон.

— Там капитан уже обходит, — сказал Масленников.

— Он, может быть, в роте где-нибудь задержался, а мне все равно надо проверить... Я скоро приду.

Ванин вышел из блиндажа.

— А вы все-таки прилягте, — сказал Масленников. — Мы вам там в углу завтра койку сколотим, а пока на моей ложитесь.

Аня посмотрела на него, и хотя ей совсем не хотелось ложиться, она поняла, что если она сейчас не ляжет, то через три минуты Масленников непременно повторит свое предложение, и не стала спорить. Она сняла шинель и, стянув сапоги, прилегла на койке, плотно, до самой шеи закрывшись шинелью.

— Ну, вот я вас послушала, а спать не хочется, — сказала Аня. — Рассказывайте, как вы здесь живете.

— Прекрасно, — сказал Масленников подчеркнуто официальным тоном, так, как будто перед ним была не Аня, а прибывшая из Читы делегация с подарками. — Прекрасно... — Потом, спохватившись, что это же была Аня, которая не хуже его знает, что здесь происходит, добавил: — Прекрасно. За сегодняшний день все атаки отбили. Капитан прекрасно выглядит. Мы за него тут беспокоились.

— Я тоже, — сказала Аня.

— Но его даже не поцарапало. Генерал нам под секретом сказал, что представил его к ордену Ленина за то, что он два раза ходил к Ремизову ночью. Ну, что же еще? Мы тут выпи-

ли немного по случаю встречи, за победу. А я, про себя, в это время и за вас выпил.

— Спасибо.

— Я очень рад, что вы здесь,—сказал Масленников.—Знаете ли, когда все мужчины да мужчины, как-то грубеешь в этой обстановке.

Он почувствовал, что фраза у него вышла нарочито мужская и взрослая, и залился румянцем.

— Может, закурить хотите,—сказал он, преодолевая смущение.

— Я не курю,— сказала Аня.

— Я тоже до войны не курил. Но в этой обстановке тянет. Время быстрее летит. Закурите.

— Ну, хорошо,—сказала Аня, понимая, что, закурив, доставит ему удовольствие.

Он вынул из кармана гимнастерки единственную лежавшую там папиросу и подал Ане, сам же стал свертывать самокрутку. Потом спохватился, что не дал спичку, вскочил, рассыпал табак из самокрутки, чиркнул спичку и поднес Ане. Она закурила, как все не умеющие курить, чуть-чуть посасывая папиросу и сразу же выпуская дым.

Масленников, обычно ловко свертывавший цыгарки, на этот раз крутил долго и старательно, и однако сделал огромную, нелепую самокрутку, на конце которой было наверчено много лишней бумаги, и, когда зажег ее, она в первую секунду запылала, как факел.

— Может быть, вы хотите кушать?—спросил Масленников.

— Нет, спасибо.

— А воды вам принести?

— Нет, спасибо.

Масленников замолчал. Здесь, под его защитой, находилась жена его начальника и товарища, и он относился к ней с той трогательной предупредительностью, какая бывает только у мальчиков. Ему хотелось окружить ее заботами, дать ей понять, что он самый верный друг ее мужа, что она вполне может на него положиться и что вообще нет ничего такого, чего бы он не сделал ради нее.

Так они помолчали несколько минут.

— Миша.

— Да.

— Вы ведь Миша?

— Да.

— Вы очень хороший.

И услышав эти слова: «Вы очень хороший», Масленников почувствовал, что хотя они, наверное, однолетки с Аней, но она чем-то много старше его.

— Миша,—словно запоминая его имя, повторила она, закрыв глаза.

Когда Масленников о чем-то спросил ее, она не ответила. Она заснула сразу, в ту же секунду, как закрыла глаза.

Он сидел один за столом в тишине, которая изредка прерывалась далекими выстрелами. На койке, в двух шагах от

него, спала женщина, жена его товарища, очень красивая (как ему казалось), в которую он бы влюбился, если бы она не была женой его товарища (так думал он), и в которую он уже был влюблен (так было на самом деле, но он бы никогда себе в этом не признался). Он почему-то вспомнил брата и шумную подмосковную дачу, куда брат его часто ездил после того, как вернулся из Испании, и потом, когда вернулся из Монголии. Должно быть, потому, что брат много рисковал жизнью, тяжело и много воевал, он любил, чтобы в эти редкие приезды кругом него было шумно и весело. Он приезжал на дачу с красивыми женщинами, сначала с одной, потом, через два года, с другой. Он был всегда шумный, веселый, и казалось, что все дается ему легко — и друзья, и любовь. И Масленников замечал, что от этого брату подчас бывало немного скучно. Приехав на дачу в большой компании и с женщиной, которая казалась Масленникову такой замечательной, что от нее нельзя отойти ни на шаг, брат вдруг говорил: «Мишка, пойдем на биллиард», и они, запершись, играли по три часа на биллиарде. А когда стучали к ним в дверь и женский голос звал «Коля», брат прикладывал к губам палец и говорил: «Тс-с-с, Мишка», и они молчали, пока легкие шаги не удалялись от двери, и тогда продолжали играть снова. Брат говорил: «А ну их к господу богу», и Масленников удивлялся: ему было это непонятно и казалось, что сам он, если бы его звал женский голос, не смог бы вот так промолчать и играть на биллиарде. В нем шевелилась зависть мальчика, который еще ничего не знает, хотя в разговорах с товарищами так же, как и они, притворяется, что знает очень много. Кончив играть на биллиарде, брат возвращался ко всей компании и с той женщиной, на голос которой он только что не откликался, бывал очень нежен и предупредителен, и казалось, что он на все для нее готов. А потом он незаметно подмигивал Масленникову, как сообщнику, словно говоря: «Не в этом счастье, милый, не в этом счастье». Но Масленникову казалось, что именно в этом счастье, потому что это было неизведанное и, наверное, чудесное.

Он вспомнил брата, и дачу, и биллиард. Где же брат? О нем давно уже ничего не было в газетах. И вдруг он представил себе, что брат погиб, и невольно подумал, что если те, кто бывал тогда в шумной компании на даче, и женщины тоже, узнают о гибели брата, они, конечно, поговорят о нем, наверное, даже выпьют за него и будут вспоминать, как бывали с ним на даче, а больше, пожалуй, ничего и не произойдет. А вот если Сабуров погибнет, — что тогда сделает Аня? Она, наверное, станет совсем не такая, как сейчас, с ней произойдет что-то страшное. С теми же, кто бывал у брата, ничего страшного не будет, и, может быть, поэтому брат уходил с ним играть на биллиарде и не отзывался на их стук.

Он посмотрел еще раз на Аню, и юношеская тоска по любви, — не к ней, а вообще по любви, — охватила его. Ему очень захотелось дожить до конца войны, чтобы тоже приезжать к брату на дачу, и тоже не одному, но чтобы это было совсем не

так, как у брата, и чтобы он не уходил на биллиард и чтобы она была совершенно замечательная. Он стал придумывать, какая она будет, но когда думал о ней вообще, то наделял ее самыми замечательными качествами, а когда воображал себе ее лицо, ему почему-то чудилось лицо Ани.

Он задремал, сидя на табуретке у стола, и вздрогнул, когда его окликнул Ванин, вернувшийся с обхода постов.

— Масленников, не спишь?

— Немножко заснул.

— Где Сабуров?

— Ушел.

— Уже шесть часов,— сказал Ванин,— не иначе, как забрался в дом к Конюкову. Нигде его больше нет. Вот непоседливая душа.

XXII

Сабуров действительно отправился в дом к Конюкову.

Ходить туда можно было только ночью, и то проделав большую часть пути ползком, с риском угодить под случайную пулю.

Сабуров с Петей сначала прошли вдоль полуразрушенной стены, потом свернули. Здесь Петя весь подобрался, как бы готовясь к прыжку.

— Ну, как, товарищ капитан? Тут место открытое.

— Знаю,— сказал Сабуров.

— Как, поползем или маханем?

— Маханем,— сказал Сабуров.

Они выскочили из-за стены и пробежали тридцать метров, отделявших их от следующей стенки, за которой уже можно было сравнительно безопасно пробираться к дому. Немцы услышали шум, и позади провизжало несколько пулеметных очередей.

— Кто идет? — тихо спросил чей-то голос в темноте.

— Свои,— сказал Петя,— капитан.

Они прошли еще несколько шагов вдоль стенки.

— Сюда,— сказал тот же голос.— Это вы, товарищ капитан?

— Я,— сказал Сабуров.

— Сюда, головой не ударьтесь.

Сабуров пригнулся и спустился на несколько ступеней вниз. Ощупью они повернули за угол и вошли в подвал.

Это была часть той самой большой котельной, из которой когда-то лейтенант Жук вылавливал спрятавшихся немцев. За два месяца времена переменились: то место, которое раньше считалось опасным, сейчас в этом городе, сравненном с землей, казалось уже комфортабельным помещением. Половина котельной обвалилась от прямого попадания пятисотки. Котлы, находившиеся посредине, были взорваны и уродливо загромождали часть пола причудливо скрученными листами железа. Но другая, меньшая, половина котельной была цела.

В двух стенах, углом обращенных к немцам, было сделано нечто вроде бойниц, в которых стояли четыре пулемета. Лест-

ничная клетка обрушилась в двух местах, и прямо к отверстиям, проделанным в потолке, вели откуда-то притащенные остатки пожарной лестницы. Пролом в стене, образовавшийся от попадания бомбы, был загроможден обломками котлов, а там, где все-таки оставался проход, он был завешен четырьмя сшитыми вместе плащ-палатками. Именно отсюда, приподняв плащ-палатку, Сабуров вслед за провожатым вошел в котельную.

В котельной было дымно. Прямо на цементном полу стояла железная самодельная печка, в которой трещали дрова. Труба была выведена наружу, через стену, но вставлена она была неплотно и из всех колен ее просачивался дым. Один человек сидел у печки на корточках, а пятеро или шестеро вповалку спали в углу на нарах, сооруженных из двух пружинных матрацев и нескольких кожаных сидений, выломанных из разбитых машин.

Когда Сабуров вошел, сидевший у огня человек вскочил, откозырял Сабурову и спросил:

— Прикажете разбудить Конюкова, товарищ капитан?

— Разбудите,— сказал Сабуров.

— Товарищ старшина, товарищ старшина!—стал расталкивать Конюкова красноармеец.

Конюков вскочил и, на ходу оправляя ремешок, подбежал к Сабурову.

— Разрешите доложить! — гаркнул он, остановившись за три шага.— Гарнизон дома номер семь по Татарской улице находится в боевой готовности. Больных нет. Раненых двое. Особых происшествий нет. Докладывает старшина Конюков.

— Здравствуй, Конюков.

— Здравия желаю,— сказал Конюков и, отступив на шаг, опять вытянулся.

Несмотря на всю его дисциплинированность, было во внешности Конюкова что-то новое, если можно так выразиться, чуть-чуть партизанское, что появляется у людей, долго сидящих в осаде, постоянно рискующих жизнью и отрезанных от остального мира. Ремень у Конюкова был попрежнему затянут так, что не просунешь и двух пальцев, но пилотка была надета залихватски набекрень, у пояса в треугольном черном футляре висел немецкий парабеллум, а на ногах красовались немецкие летные сапоги желтой кожи, с меховой опушкой.

И по тому, как красноармеец спросил: «Прикажете разбудить Конюкова?», не решаясь сам произвести это действие, и по тому, что Конюков спал, хотя со всеми, но несколько отдельно, и вообще по строгому порядку, царившему в гарнизоне, Сабуров понял, что Конюков за эти дни стал здесь значительной персоной.

— Давно не был я у тебя, Конюков. Пришел посмотреть, как живете.

— Хорошо живем, товарищ капитан.

— Скажи, пусть скамейку к печке принесут — я замерз, и садись со мной, поговорим.

— Прикажете разбудить людей? — спросил Конюков.

— Нет, зачем будить? Устали, наверное?

— Точно так, устали.

— Это все, что есть у тебя?

— Никак нет, не все. Половина на постах, половина спит. По очереди и воюем, если только атаки нет.

— А если атака?

— А если атака, все на постах, по расписанию. Антонов! — позвал Конюков.

— Да.

— Придвинь товарищу капитану скамеечку к печке, — сказал Конюков. — Быстрее. Одна нога здесь, другая там.

Скамеечки не нашлось, вместо нее боец принес две подушки от автомобилей и положил их немного поодаль от топившейся печурки, а сам стал поправлять дрова.

— Ну, хорошо. Вольно, вольно, Конюков, — сказал Сабуров. — Садись, — и сам сел к огню.

Конюков тоже сел, наискось от него, но, даже сидя на низкой автомобильной подушке, он ухитрился сохранить подтянутый вид.

— Значит, теперь один в осаде сидишь? — сказал Сабуров.

— Так точно, — сказал Конюков. — Третьи сутки сижу. За командира роты остался, как убило его. Но вчера ночью приказ прислали, что во взвод нас свели и меня за командира взвода назначили.

— Сколько во взводе?

— Пятнадцать человек, — сказал Конюков, — считая меня.

— А было?

— Семнадцать было. Двое за вчера и сегодня убыли по причине смерти. Убиты, значит, — пояснил он свое, даже ему самому показавшееся витиеватым, официальное выражение.

— Как же ты войско свое расставил? — спросил Сабуров.

— Разрешите доложить. Значит, так. Днем у амбразур с пулеметами четверо лежат все время. Двое в окопах по сторонам сидят, чтобы не обошли, чтобы с флангов наблюдать. Закопаны хорошо, и прямо из подвала туда ход идет, чтобы головы не снесло, когда ползти будут. Вон дыра идет, видите? Двое на первом этаже все время дежурят: глядят вперед, чтобы не подошли. Закрыты, конечно, меньше, но защита устроена. Мы туда из танка башню сволокли, кирпичами обложили. Вчера убило Максимюка. Не знали?

— Кажется, знал.

— Такой рыжий, у меня в отделении был. Ну, вчера в него попало. А так — бог милует. Все предназначено по порядку, товарищ капитан. Сами можете убедиться.

— Непременно, — сказал Сабуров.

— А пока не хотите ли картошечки отведать? Мороженая, но она еще слаще.

— Откуда же у тебя картошка?

— Ночью вчера пробрались до того подполья, где женщина была с детьми, которых убило. Помните?

— Помню, — сказал Сабуров.

— Пробрались. Сам лично я пробирался. Там от взрыва разбросало. Полмешка набрал. Вы мороженую не кушаете?

— Нет, почему же? Ем, — сказал Сабуров.

— Сейчас мы все сделаем,— сказал Конюков.— Поверни, Антонов, картошку. С одной стороны она не может жариться — ее поворачивать надо. Погоди, я сам.

Конюков встал и, вытащив из-за пояса широкий трофейный нож, стал поворачивать на сковороде картошку.

— У нас тут хозяйство, товарищ капитан. Я люблю, чтобы все в порядке было, чтобы всему место было. Отведайте картошки,— сказал он, стаскивая с огня сковородку с картошкой и ставя ее на пол. — Вот, пожалуйте, ножичек. Вилочек нет, не держим.

Сабуров взял нож и, обжигаясь, съел несколько картофелин, которые, с отвычки, показались ему очень вкусными.

Конюков, у которого на ремне на боку болталась немецкая фляга с водкой, хотел спросить у капитана, выпьет ли он, но дисциплина взяла верх: он решил, что начальство само знает, когда пить, когда не пить.

— А ты чего же не ешь? — спросил Сабуров.

— Вы отведайте, потом и мы покушаем.

Сабуров поел немного и подвинул сковородку Конюкову. Тот, в свою очередь, взял нож, быстро съел несколько картофелин и, подозвав дежурного, сказал ему:

— Иди, бойцов буди. Ужин готовый.

Сабуров поднялся и сказал:

— Ну, хорошо, пока они будут есть, сходим наверх.

— Есть, товарищ капитан. Вот сюда, пожалуйста,— повел Конюков Сабурова к пожарной лестнице и, отстав, сделал дежурному несколько свирепых знаков, обозначавших, что к его приходу все обязаны иметь вид подтянутый, лихой и не подвести его, Конюкова.

Они вылезли наверх по пожарной лестнице. Раньше она служила для того, чтобы взбираться на шестой или седьмой этаж, под небо, а теперь по оставшемуся ее куску они поднялись всего на семь или восемь ступенек и оказались уже под небом, хотя на самом деле это был всего лишь первый этаж, едва поднимавшийся над уровнем земли.

Ночь была темная и морозная.

— Пригнитесь, товарищ капитан, к парапету,— шопотом сказал Конюков.— Тут нет-нет, да и шибанет.

Пригнувшись, они прошли шагов десять и за оставшимся углом стены нашли первого из часовых. Он лежал за обломком, на который наискось были положены два рельса, а сверх них несколько мешков не то с песком, не то с цементом. С боков он был обложен такими же мешками.

— Сидоров,— шопотом позвал Конюков.

— Я.

— Что наблюдаешь?

— Ничего не наблюдаю.

— Замерз?

— Мороз,— сказал Сидоров.— Пробирает.

— Терпи, скоро смена выйдет. Картошку жарить будешь. Ты сегодня за повара.

— Только бы до печки добраться,— сказал Сидоров.— А там я же, что хочешь, испеку. Холодно.

— Ну, наблюдай,— сказал Конюков.— Приказаний не будет, товарищ капитан?

— Не будет,— сказал Сабуров.

Таким же образом они переползли ко второму наблюдателю, устроившемуся в поставленной между обломками стены пустой башне танка. Верхний люк башни сейчас был открыт, и наблюдатель стоял в ней так, что была видна одна его голова.

— Дюже ледяная башня. Холодно в ней,— сказал Конюков.— Ох, и лютo, наверное, зимой в танках работать.

— Да, холодно,— согласился Сабуров.

— Мы уж в ней матрац положили,— сказал Конюков,— одеяла притащили, чтобы была возможность сидеть. А уж что зимой будет, в январе или феврале — страсть, если холода ударят. Как уж тут сидеть? Прямо хоть водки двойную порцию выдавай тому, который дежурный тут.— Конюков говорил об этой танковой башне так, как будто это была постоянная величина и как будто несомненно было, что ему придется со своими дежурными сидеть именно в этой башне еще и в январе и в феврале.— А весна будет, солнышко пригреет, тогда легче станет,— продолжал Конюков свою мысль.— Чего наблюдаешь, Гавриленко?

— Тут шуршало малость,— сказал Гавриленко шопотом.— А сейчас тихо.

— Ну, смотри. Приказаний у вас не будет, товарищ капитан? — опять, как в прошлый раз, спросил Конюков у Сабурова, и тот так же, как в прошлый раз, ответил:

— Нет, не будет.

Потом они осмотрели оба внешних поста по сторонам дома и вернулись в подвал.

Результат решительных жестов Конюкова был налицо: все, находившиеся в подвале, подтянули ремешки и имели вид хотя и оборванный (что в последнее время стало общей бедой), но более или менее бравый.

Конюков, войдя с Сабуровым, сделал такое движение, как будто он кого-то искал глазами, но в это время один из красноармейцев уже выскочил вперед и, остановившись перед Сабуровым, бодро отрапортовал:

— Товарищ капитан, взвод принимает пищу.

— Кушайте,— сказал Сабуров.— Принимайте пищу. Значит, сейчас пойдут сменять? — обратился он к Конюкову.

— Так точно.

Они отошли к освободившимся теперь тюфякам, присели на них и стали говорить на разные интересовавшие Сабурова деловые темы — о том, сколько у Конюкова патронов и где они хранятся — в разных местах или все вместе, на сколько хватит продовольствия в том случае, если бы два или три дня не удавалось ничего подносить по ночам,— как вдруг сверху раздались один за другим три выстрела.

— По местам! — закричал Конюков, вскакивая.— Сидоров предупреждение делает,— обратился он к Сабурову.— Как, товарищ капитан, наверх со мной пойдете или здесь будете?

— Наверх пойду,— сказал Сабуров.

Выбравшись наверх, они прилегли вместе с выскочившими

красноармейцами за бруствер, сложенный из обломков и мешков с цементом.

Ночная атака продолжалась около часа. Немцы группами по три, по пять, по десять человек, с разных сторон пытаясь подобраться к дому, осыпали обломки стен сплошными автоматными очередями. То там, то здесь совсем близко, над ухом, проносилась пуля. Дюжина гранат упала у самой стены, ударив в нее осколками. Но, в конце концов, потеряв несколько человек убитыми, немцы, как обычно робкие в своих ночных атаках, отступили. Все опять затихло.

Сабуров спустился в подвал и отдал Конюкову несколько распоряжений на будущее. Уже начало слегка светать. Решив все-таки добраться до батальона, Сабуров вышел вместе с Петей, но едва кончилась стена и они поползли по открытому месту, как прямо над ними и перед ними, утыкаясь в землю, затрещали сплошные пулеметные очереди, и им ничего не оставалось, как отойти обратно за стену.

— Придется уж вам у меня день пожить, товарищ капитан,— сказал Конюков, который вышел их проводить.— Уж если заметили, теперь будут сыпать до самой ночи. Вы у меня побудьте. Значит, вам такая судьба сегодня вышла.

Сабуров не упорствовал. Трезво рассуждая, он и сам понимал, что Конюков прав, и решил остаться здесь до ночи.

За день он подробно осмотрел помещение Конюкова и распорядился, чтобы перенесли в более удобное место один из пулеметов. Остальное все было в порядке. Несколько раз он поднимался наверх, в первый этаж, который Конюков, со свойственной ему иронией, называл «вышкой», и наблюдал за немцами. В этот день они вели себя сравнительно тихо, по крайней мере против конюковского дома, и только в конце дня, в четвертом часу, сразу начало бить десятка полтора тяжелых минометов и по дому, и в особенности через него — туда, где были расположены остальные роты.

Когда после этого немцы тремя группами перешли в атаку на командный пункт и правофланговую первую роту, то сразу выяснились выгоды местоположения конюковского дома. Отсюда, в особенности с наблюдательного пункта первого этажа, было видно если не все, то во всяком случае многое. Когда немцы в горячке, не прячась в ходы сообщения, выскакивали на закрытое со стороны батальона, но открытое отсюда место, Конюков, сам лежавший за пулеметом на верхнем наблюдательном пункте, с остервенением строчил по ним, и проскочившие между развалин фигурки падали на снег.

Забыв о своей обычной субординации, Конюков поворачивал разгоряченное лицо к Сабурову, подмигивал и хвастливо прищелкивал языком.

Ровно в четыре часа (Сабуров хорошо запомнил время, потому что как раз посмотрел на часы), немцы, судя по звукам, прорвались к штабу батальона. После минутной угрожающей паузы там сразу раздалось пять или шесть гранатных разрывов, потом еще два, и еще пять или шесть. В эту минуту Сабурова охватило щемящее чувство, которое он постарался

с себя стряхнуть. Это была тревога, смешанная с неопределенным предчувствием горя. В первый раз за все время своего пребывания в Сталинграде Сабуров в эту минуту подумал, что, наверное, у него не в порядке нервы, и, когда после новых гранатных разрывов это тревожное чувство вернулось опять, ему стало не по себе. Отодвинув Конюкова, он сам припал к пулемету и, хладнокровно выжидая, стал посылать одну за другой очереди в отступавших немцев.

Это немного привело его в себя, но тревога все-таки не исчезла. Ему хотелось быть сейчас в батальоне, хотя, судя по тому, что гранатные разрывы прекратились и немцы теперь переползали вперед и назад, очевидно, если и была атака на самый штаб батальона, то сейчас она уже все равно отбита.

Через полчаса все снова было тихо, и только редкие мины, перелетая через дом, шлепались позади.

В шестом часу Сабуров, выглянув за порог плащ-палатки, заметил, что уже начинается вечерняя синева.

— Пора,— сказал он.

— Разрешите доложить, товарищ капитан,— обратился Конюков.— Имейте терпение. Подождите десять минут. Стемнеет, тогда пойдете.

— Ну, ладно,— сказал Сабуров,— подожду десять минут... Да,— вспомнил он вдруг,— орден, что тебе вышел, в следующий раз приду, принесу. Специально в дивизию пошлю.

— Вот спасибо,— сказал Конюков,— премного буду вам благодарен.

— Что, рад ордену? — спросил Сабуров.

— А кто же ему не рад? — сказал Конюков.— Ему только бессмысленный человек не рад. А я свою гордость имею. Алексей Иванович,— он в первый раз так обратился к Сабурову, — после войны, может, и встретимся где. Вы меня увидите, скажете: «Вон Конюков идет». А, может, и женюсь я. Я ведь вдовый. Может, закурите, Алексей Иванович? — сказал он, доставая жестяную коробочку с махоркой.

Видимо, он так вольно обращался сейчас к Сабурову потому, что у них впервые вышел разговор о том, что будет после войны, когда он станет опять штатским человеком и именно так — Алексеем Ивановичем назовет Сабурова, если встретит его.

— А может, медаль выйдет нам, как за Шипку,— сказал Конюков, когда они закурили.— За то, что мы тут сидели, а, Алексей Иванович?

— Может быть.

— На Шипке все спокойно,— сказал Конюков, прислушиваясь к наступившей тишине.

В ту минуту, когда Сабуров услышал сзади, в батальоне, далекие взрывы гранат и когда его душу охватило щемящее предчувствие, которое он заглушил, но преодолеть не мог, именно в эту минуту по странному стечению обстоятельств произошло то самое несчастье, которого он мог бояться.

Наскучив за день несколькими неудачными атаками на обороты, немцы решили взять быка за рога и неожиданно, после короткой минометной подготовки, скопившись между разва-

линами, не таясь, бегом, через камни, бросились прямо к командному пункту батальона. Это была та подозрительная минута тишины, которую для себя отметил Сабуров.

Когда они выскочили, на командном пункте были только Масленников, пришедший сюда из роты, чтобы позвонить командиру полка, двое пулеметчиков, помещавшихся в пулеметном гнезде над входом в блиндаж, и трое или четверо связистов, сидевших рядом в своем блиндажике. Одному из них как раз в этот момент Аня, разрезав рукав, бинтовала раненую руку.

Когда появились немцы, пулеметчики сделали секундную паузу — у них на миг перекосило и заело ленту, и несколько немцев перескочили то мертвое пространство, на котором пулемет в следующую секунду положил остальных. Те, которые проскочили, залегли за камни совсем рядом с блиндажом, несколько гранат полетело в окоп и в ходы сообщения.

В первую секунду Аня ничего не поняла: она только услышала взрывы и увидела, как стоявший перед ней долговязый связист, которому она бинтовала руку, вдруг рванулся от нее, волоча за собой разматывающийся бинт, со всего размаху упал на спину, убитый наповал осколком гранаты.

Аня наклонилась к нему, в это время второй связист грубо толкнул ее, так, что она упала на дно окопа, а когда подняла глаза, то увидела, что связист схватил автомат и, поднявшись над окопом, куда-то стреляет.

Упав, Аня больно ударилась лицом о что-то жесткое,— это был лежавший на дне окопа автомат убитого связиста. Она взяла автомат, положила его на бруствер окопа и, поднявшись так же, как второй связист, стала стрелять, не видя еще, куда, собственно, она стреляет.

Потом она увидела, как слева, из блиндажа, выскочил Масленников, пригнулся и, как мальчишка (она почему-то именно это запомнила), одну за другой, вырывая их из-за пояса, бросил вперед четыре маленьких гранаты.

Потом опять затрещал пулемет, кто-то крикнул на незнакомом языке, спереди на них что-то полетело, связист пригнулся в окопе, она сделала то же самое, и наверху сразу раздались три или четыре взрыва.

Связист опять поднялся и начал стрелять. Аня, нажав на гашетку, почувствовала, что стрелять дальше нельзя, так как первыми же очередями она расстреляла весь диск и теперь там не было патронов. Она нагнулась и стала смотреть, не лежит ли где-нибудь в окопе другой диск. Диск действительно лежал в двух шагах от нее,— в холщевом мешочке, на поясе у убитого связиста. Она быстро пробежала по окопу и, наклонившись, отстегнула диск. Еще раз оглянувшись, она увидела, как Масленников опять приподнялся над окопом и, что-то крича, снова бросил гранату. Она подумала про себя, какой он храбрый, и, отстегнув диск, пошла обратно — туда, где у нее лежал автомат.

А когда она нагнулась, чтобы поднять автомат, что-то пролетело над ее головой и упало в окоп. Она увидела, что между ней и связистом, который стрелял из автомата, в окопе кру-

тится немецкая граната,— она их видела раньше много раз,— похожая на нашу, но только на длинной деревянной палке. Она вдруг подумала, что это похоже на волчок. Связист бросил автомат и упал на дно окопа.

Аня, совсем почему-то не подумав о себе, испугалась — ведь сейчас эта граната убьет связиста, и вспомнила, что где-то она читала или кто-то ей говорил, что нужно в таких случаях хватать гранату и бросать обратно. Она быстро пробежала три шага, отделявшие ее от гранаты, поймала гранату за крутящуюся ручку, почувствовала, какая эта ручка длинная, и в последнюю секунду подумала, что она очень далеко кинет гранату, потому что у нее такая длинная ручка.

В этот момент граната разорвалась у нее в руке, и Аня, уже ничего не помня, без сознания упала на дно окопа.

В горячке боя Масленников не сразу заметил все происшедшее. Он с ожесточением бросал в немцев гранаты, которые были заранее приготовлены в козырьке окопа, у самого входа в блиндаж. Он, наверное, бросил их штук пятнадцать, одну за другой, пока наконец во второй роте, услышав звуки боя, не догадались, что на командном пункте неблагополучно, и не отправили во фланг немцам несколько автоматчиков, которые, избрав удобную позицию, сравнительно быстро и легко перестреляли оттуда несколько прорвавшихся немцев, а остальных заставили отступить.

Когда Масленников спустился в окоп, он увидел Аню, лежавшую между двумя мертвыми связистами,— двумя, потому что тот, который бросился ничком, когда упала граната, был тоже убит. Аня лежала неподвижно, неловко прижавшись щекой к краю окопа и зажав в откинутой руке так и оставшийся там, не выпавший даже при взрыве гранаты, обломок деревянной ручки. Масленников нагнулся над Аней, потом встал на колени и, вытащив из кармана платок, вытер с ее лица кровь. Кровь была от маленького осколка, поцарапавшего лоб у самых волос. Масленников несколько раз назвал Аню по имени, но она не отвечала, хотя слабо дышала. Ее гимнастерка была порвана в нескольких местах и пробита на плече и на груди.

По чистой случайности, почти вся граната разорвалась в одну сторону,— в ту, где лежал бросившийся ничком связист, и он был буквально изорван осколками. А в Аню попало только несколько осколков: вот этот маленький осколочек в лоб и два в грудь и в плечо.

Мелкий снег падал в окоп на лицо Ани, на ее шинель, на обнаженную голову Масленникова, который, наклонившись над Аней, скинул с себя пилотку. Он все еще стоял на коленях и неустанно, почти беззвучно продолжал повторять ее имя, и в сердце у него была невообразимая тоска. Так он стоял, может быть, минуту, а может быть, пять, потом, все еще не зная, что делать, но подчиняясь инстинктивной душевной потребности, он, просунув руки под тело Ани, поднял ее,— причем голова ее беспомощно свесилась вниз, испугав его этим безвольным движением,— понес сначала по окопу, затем влез с ней на бруствер, переступил несколько шагов по верху,

спустился в ход сообщения и, все так же держа ее на руках, вошел в блиндаж.

Он положил Аню на свою койку, на ту самую, где она, усталая, спала эту ночь. Только сейчас он увидел, что через плечо ее попрежнему висела большая санитарная сумка, про которую Ванин вчера спрашивал, неужели это все ее имущество, и Аня сказала, что да, все.

Он приподнял ее голову, снял сумку и положил под койку. Потом, отступая спиной и все еще продолжая смотреть на Аню, взял телефонную трубку и позвонил в полк начальнику штаба, что у него есть убитые и раненые, а фельдшер сама тяжело ранена и чтобы, если можно, прислали врача или фельдшера. Ему обещали. Он повесил трубку и вышел из блиндажа отдать распоряжение на случай повторения атаки. Но немцы пока молчали.

Масленников вернулся в блиндаж, сел на койку рядом с Аней и, посмотрев на нее, заметил, что струйка крови из ранки на лбу опять потекла вниз по щеке, через все лицо. Он опять вынул платок и стер кровь. Так он продолжал сидеть, почти ни о чем не думая: он ждал, когда придет врач или фельдшер.

Лицо Ани было очень бледно и спокойно. Если бы не эта ранка на лбу и не темные пятна на гимнастерке, можно было бы подумать, что она спит. Это спокойствие и незаметность ран пугали Масленникова, который много раз видел кровоточащие, уродующие раны, после которых люди оставались живы, и знал, как часто незаметная ранка, наоборот, делает человека мертвым.

Он сидел и, как будто этим можно было помочь, вытирал набегавшие на лоб Ани капельки крови и думал о том, как придет Сабуров и что он ему скажет. Потом он вспомнил о лежавшем у него в чемодане, присланном перед седьмым ноября наркомовском подарке,— там было несколько плиток шоколада, печенье, сгущенное молоко и еще что-то,— он все это не трогал, потому что думал подарить, когда у Сабурова и Ани будет свадьба. Потом он опять мучительно думал, что же он скажет Сабурову. Потом у него мелькнула мысль: «А может быть, все это пройдет, все будет хорошо». Он еще раз послушал, как Аня дышит. Она дышала совсем слабо, почти не дышала. Тогда он понял, что она, наверное, даже непременно умрет и, может быть, очень скоро, даже до прихода врача. Это молчание наедине с ней было таким тягостным, что он, вспомнив о немцах, на секунду пожалел, что они не идут еще раз в атаку и он не может, забыв обо всем, выскочить отсюда с автоматом в руках и стрелять. Но немцы, как нарочно, вели себя совсем тихо. «Впрочем,— подумал он,— они всегда все делают наоборот». И то, что они не шли в атаку сейчас, когда ему этого хотелось, он тоже записал в свой счет немцам — это обозлило его. А кровь все набегала свежими каплями на лоб Ани, и он снова и снова вытирал их, пока не заметил, что платок промок насквозь. Тогда он его бросил, полез под койку к себе, в чемодан, и, порывшись там, нашел чистый

платок. Поднимаясь с колен, он увидел вошедшего в блиндаж доктора.

— Где раненые? — спросил доктор.

— Вот,— указал Масленников.

— А, Клименко,— и движением, удивившим Масленникова своим профессиональным спокойствием, доктор отодвинул рукав над часами и взял руку Ани, слушая пульс. Потом, расстегнув у Ани пояс и разрезав на плече гимнастерку, он осмотрел раны. Рана на груди заставила его поморщиться. Он наскоро перебинтовал раны и, посмотрев на Масленникова близорукими, сощуренными глазами, сказал:

— Надо немедленно эвакуировать.

— Что? — сказал Масленников.— Ну, что?

— Окончательно это можно будет решить только на операционном столе,— сказал врач и, считая разговор законченным, крикнул на улицу: — Санитары!

Вошли санитары.

— Больше у вас нет раненых? — спросил он у Масленникова.

— Нет.

— А вы?

— Что я?

— Вы же ранены.

— Где?

— Да голова-то.

Масленников потрогал голову, и когда отнял руку, ладонь была красная и липкая.

— Ну, это пустяки,— сказал он, не храбрясь, а потому, что действительно не чувствовал никакой боли.

— Ну-ка, ну-ка,— сказал доктор и, подойдя к нему, вынул из кармана пузырек со спиртом, смочил вату и протер висок и лоб Масленникова.

— Да, действительно, пустяк,— сказал врач.— У вас санинструктор есть в батальоне?

— Где-то должен быть.

— Пусть перевяжет вас, а то загрязните.

Санитары в это время уже переложили Аню с койки на холщевые носилки и, дожидаясь врача, поставили их на пол. То, что ее положили на пол, Масленникову показалось грубым и обидным, хотя он десятки раз до этого видел, как клали раненых на пол или просто на землю. Он не хотел, чтобы она лежала так у их ног, на земле, и сказал замешкавшемуся врачу:

— Значит все.

— Да, все,— сказал врач.— Пошли.

Когда санитары подняли носилки, одна рука Ани беспомощно свесилась. Санитар поправил ее, положив обратно на носилки.

Масленников вышел вслед за врачом. Санитары уже повернули за изгиб окопа, и он увидел только спину шедшего сзади санитара.

Он еще несколько минут продолжал все так же стоять в остолбенении и смотреть вслед ушедшим, пока где-то близко

не застучали опять автоматы. Он с облегчением подумал, что вот снова началось и можно ни о чем больше не думать, а только итти приказывать, стрелять. С этой мыслью он вылез из окопа и, перебежав в следующий, спрыгнул к лежавшим в гнезде пулеметчикам, уже стрелявшим по наступающим немцам.

XXIII

Сабуров вернулся к себе в блиндаж сразу же после наступления темноты. Там был один Масленников, который сидел за столом и составлял донесение. Голова у него была небрежно, наискось, повязана промокшим в одном месте бинтом.

— Что, ранили? — спросил Сабуров.

— Поцарапали, — ответил Масленников.

— А где Ванин? — спросил Сабуров.

— Пошел в полк представляться новому командиру.

— Ах, да, ведь теперь у нас Ремизов,— вспомнил Сабуров.

— Да, — сказал Масленников. — Вот он и пошел ему представляться.

Он повторил это, умолчав о том, что Ванин рад был случаю пойти, чтобы заодно узнать, куда отправили Аню.

Петя за плащ-палаткой гремел котелками. Сабуров и Масленников сели к столу друг против друга. Говорить не хотелось, — оба не могли говорить о том, что занимало их мысли. Сабурову хотелось рассказать Масленникову о щемящем чувстве, которое он испытал сегодня в четыре часа дня. Но он стыдился и не хотел заговаривать об этом, а Масленников, знавший, что Сабурову не известно не только о ранении Ани, но и о том, что она вообще была здесь, колебался, сказать или не сказать, и думал, что будет, если он вообще ничего не скажет.

В то время, как они оба сидели так друг против друга, не решаясь заговорить, их глаза в одно и то же мгновение встретились на одном предмете — на большой санитарной сумке Ани, лежавшей под койкой. Они посмотрели на эту сумку, потом друг на друга, потом опять на сумку, и тогда Сабуров перевел взгляд на Масленникова.

— Анина? — спросил он, и по тону его и по выражению лица Масленников понял, что он, несомненно, знает, что эта сумка принадлежит Ане.

— Да, — сказал он.

— А где Аня?

Когда Масленников секунду помедлил с ответом, сердце у Сабурова похолодело, внутри все оборвалось и осталась пустота. Он понял, что это имеет прямое отношение к тому предчувствию, которое у него было днем, и сейчас он узнает все.

— Она тут была, — сказал Масленников. — Вчера пришла, как только вы ушли... Ее сегодня ранили... и эвакуировали,— вдруг почему-то повторил он холодное докторское слово.

— Когда?

— В четыре часа.

Сабуров молчал, продолжая смотреть на сумку. Он не спро-

сил, куда Аня ранена, тяжело или легко. Когда Масленников сказал «в четыре часа», он почувствовал, что произошло несчастье. Ему не хотелось больше спрашивать.

— Ее ранило тяжело, но небольшими осколками, — сказал Масленников, которому показалось, что Сабурову должно быть важно, что ее не изуродовало, а ранило именно небольшими осколками.—В грудь, в плечо и вот сюда еще. Но это тоже, как у меня, — царапина.

Сабуров молчал и все еще глядел на сумку.

— Ванин пошел к полковнику, он, наверное, что-нибудь узнает, — продолжал Масленников.

— Хорошо, — безразлично сказал Сабуров. — Хорошо. Ты посты поверял?

— Нет, не поверял еще.

— А ты поверь.

— Сейчас пойду, — заторопился Масленников, подумав, что Сабуров хочет остаться один.

— Нет, почему сейчас? — сказал Сабуров. — Можно потом, когда кончишь донесение.

— Нет, я сейчас пойду.

— Ну, как хочешь, — сказал Сабуров.

Масленников вышел, а он продолжал сидеть молча, отчетливо ощущая, что даже независимо от того, что скажет Ванин, когда он придет, в его жизни произошло большое несчастье. Посидев так несколько минут, он подошел к койке Масленникова, сел на нее, увидел на одеяле пятна крови и подумал, что, наверное, Аню клали сюда. Тогда он потянулся за сумкой, поднял ее и положил на койку. Он делал все это неспеша. У него было такое ощущение, что главное несчастье уже произошло, теперь ему совсем некуда торопиться, он все успеет. Он медленно расстегнул сумку и, ничего не вытаскивая, несколько минут смотрел на то, что лежало в ней. Потом так же медленно начал вынимать все, одно за другим. Сумка была туго набита: в ней лежали аккуратно сложенная пилотка, зубная щетка и мыло, два полотенца, один носовой платок, треснувшее зеркало. В другом отделении были медикаменты, — он их не тронул. Потом он вынул две новых зеленых медицинских петлицы с привинченными к ним кубиками, потом маленькую деревянную круглую коробочку, которую он открыл и увидел там иголки и нитки. Он опять закрыл ее. Рядом с этой коробочкой лежала другая, тоже круглая, металлическая. В ней оказалась губная помада. Он с удивлением подумал, зачем это — Аня никогда не красила губы. Последнее, что он, побледнев, вынул из сумки, были рубашки — две солдатские рубашки, большие не по росту, у одной из них были подвернуты и подшиты рукава, так же как на шинели, тогда, когда он встретил Аню в окопе и поцеловал ее руки там, где были ссадины. И он подумал, что вот именно тогда, наверное, увидел ее в последний раз и больше никогда не увидит. Упав лицом на все эти разбросанные по койке вещи, он заплакал, уже больше ничего не замечая вокруг себя.

Когда через полчаса в блиндаж вбежал вернувшийся от Ремизова Ванин, Сабуров сидел у стола в своей обычной позе,

откинувшись спиной к стене и вытянув ноги. На лице его не было выражения печали или страдания. Он встретил Ванина тяжелым, пристальным взглядом. Это был взгляд человека, потерявшего что-то, без чего он не представлял своей жизни, и все-таки решившего продолжать жить, взгляд человека, у которого вынули кусок души и ничего не вложили на это место.

Ванин подошел к столу и сел против Сабурова. Они помолчали.

— Ну что? — спросил Сабуров.

Ванин понял, что он не ждет хорошего ответа.

— Ранение тяжелое. Здесь только перевязали и отправили на ту сторону.

— Разве Волга совсем стала? — сказал Сабуров.

— Да, стала. Сегодня первых раненых переправляют.

— Да... — сказал Сабуров. — Ну, что ж, — и опять замолчал.

Тогда Ванин сразу, вдруг, помимо своей воли, стал ему говорить все, что обычно говорят в таких случаях. Сам сердясь на себя за это, но не будучи в состоянии удержаться, он говорил то, что совсем не нужно было говорить, — что все это пустяки, что все это обойдется, что ранение, конечно, тяжелое, но не опасное, что пройдет месяц, и они снова увидятся с Аней, да, да (тут он ободряюще похлопал Сабурова по плечу), и что все в порядке, и они здесь (тут он ударил рукой по столу), здесь еще отпразднуют свадьбу.

Судя по выражению лица Сабурова, несколько раз можно было ожидать, что он прервет Ванина. Но он не сказал ничего. Он слушал и молчал. И когда Ванин под этим взглядом осекся, перестал говорить, выражение лица Сабурова не изменилось, настолько ему было все равно, говорят сейчас или не говорят, утешают его или не утешают. Когда Ванин замолчал, Сабуров только еще раз повторил:

— Ну, что ж...

Потом стянул сапоги, лег на койку и, не притворяясь, что спит, лежал безмолвно, не делая ни одного движения. Он лежал с закрытыми глазами и беспощадно, во всех подробностях, вспоминал этот день, в который — кто знает! — могло бы ничего не случиться, будь он сам все время здесь, а не за сто метров отсюда.

В это время двое санитаров несли Аню на носилках через Волгу. За островом, на коренном течении, лед был толще и уже установился санный путь, но через ближайшую волжскую протоку до острова, почти километр, всех раненых сегодня несли по еще не окрепшему льду. Волга стала только вчера. Немцы не думали, что по ней уже могут что-то тащить или везти, и над Волгой стояла странная тишина. Кругом все было белое, неподвижное, и только снег, все еще продолжавший падать, чуть-чуть поскрипывал под сапогами санитаров.

Нести было далеко; санитары несколько раз осторожно ставили носилки на лед и, постояв некоторое время на одном месте, похлопав замерзшими руками, потом снова всовывали их в рукавицы и брались за носилки. С того берега, навстречу эшелону раненых, двигались люди, посланные из тыла дивизии, чтобы наметить трассу завтрашнего санного пути, найти,

где лед потверже. Они шли, притоптывая, пробуя лед ногами. Один из них, немолодой высокий красноармеец, прошел совсем близко от носилок, на которых лежала Аня, и остановился.

— Что, сестрицу ранило? — спросил он у санитаров и, повернувшись, прошел несколько шагов рядом с носилками.

— Да, — сказал санитар.

— И шибко ее ранило?

— Шибко, — сказал санитар. — У тебя закурить нету?

— Есть, — сказал красноармеец.

Санитары поставили носилки, и красноармеец замерзшими, негнущимися пальцами насыпал им по щепотке табаку. Они начали свертывать самокрутки.

— Что же вы положили ее? Не заморозите?

— Ничего, сейчас подымем, — сказал санитар. — А ты что, знаешь ее?

— Она нас переправляла, когда еще вода была, — сказал красноармеец. — Добрая сестрица, только молоденькая еще.

— Молоденькая, — согласился санитар.

Они, прикрыв руками, закурили свои цыгарки от цыгарки красноармейца, тоже прикрывшего ее рукой.

— Нет, до чего курить охота, — сказал санитар, как бы оправдываясь.

Потом они оба, несколько раз затянувшись, аккуратно притушили цыгарки, засунули их за борта пилоток и взялись за носилки.

— Шибко, значит? — опять повторил красноармеец.

— Шибко, — сказал санитар.

— Молоденькая, — сказал красноармеец и, повернувшись, пошел к сталинградскому берегу.

Санитары понесли Аню дальше. Когда они уже почти подошли к острову, от которого начиналась санная дорога, Аня вдруг, может быть, от холода, а может быть, от легкого, скрипящего, плавного покачивания носилок, очнулась. Она открыла глаза, увидела над собой черное небо, а сбоку, краем глаза, заметила, что все было белое, белое. В первую секунду она поняла, что Волга стала и что ее несут по Волге. Но тут же ее мысли стали путаться, путаться, и ей уже показалось, что это не ее несут, а она кого-то несет и говорит, как всегда: «Тише, родненький, сейчас, сейчас донесем». На самом же деле это говорила не она, а санитары, которые услышали гудение немецкого самолета. Они говорили: «Сейчас донесем», успокаивая друг друга, а ей казалось, что это говорит она, и в мыслях своих она старалась нести носилки осторожнее, чтобы их не так раскачивало. Потом ей показалось, что на носилках лежит Сабуров и что это ему она говорит: «Родненький», но что она его еще не знает и он не знает, что это она, Аня. И тогда она захотела ему объяснить и что-то сказала, но он не услышал. Тогда она опять что-то сказала. Мысли ее совсем спутались, и она опять потеряла сознание.

— Ишь, как стонет, бедная, — сказал санитар.

А самолет в это время сделал несколько кругов над Волгой, сбросил осветительную ракету, от которой все сразу стало белым и ярким, и вслед за ракетой — бомбы. Они упали справа

и слева от людей, тащивших носилки. Ракета еще не погасла, и на льду были видны огромные черные дыры, и вода, вырываясь из-под них, все больше и больше покрывала кругом лед. В первую секунду, когда разорвалась бомба, санитары бросили носилки на лед и сами легли плашмя, а потом, когда разорвалось еще несколько бомб и самолет стал гудеть, делая новые круги, они, не сговариваясь, поднялись, взялись за носилки и пошли вперед, между полыньями, крупным шагом торопящихся людей.

Остров был уже недалеко, впереди кто-то кричал: «К саням, сюда», и за бугром, — там, где начиналась первая санная дорога, — слышались скрип полозьев и ржанье лошадей.

XXIV

Над заволжскими степями стояла густая ноябрьская тьма. С пяти часов, когда темнело, сразу нельзя было разобрать, сколько времени — вечер, полночь или пять часов утра, потому что ночь, длившаяся почти четырнадцать часов, была все время одинаково непроглядна. Все так же завывал над степью холодный ветер и, словно спохватившись, что его слишком долго не было, падал то редкий, то усиливающийся снег; все так же беспрерывно скрипели по накатанному насту колеса грузовиков и железные ободья двуколок, и молчаливо поворачивались на перекрестках военные регулировщики со своими фонариками.

Все это было однообразно и похоже час на час и день на день, и только тот, кто вздумал бы постоять на одной из этих дорог, ведших к Сталинграду от Саратова, от Эльтона, от Камышина, подряд сутки или двое суток, понял бы все величие этого однообразия, все угрожающее спокойствие того, что происходило в эти дни на прифронтовых дорогах.

Подобно тому, как год назад, в ноябре 1941 года, бесконечные эшелоны с орудиями, танками и пехотой шли к Москве и, словно по мановению волшебной палочки, не доходя до истекавшего кровью фронта, растворялись в подмосковных лесах, — подобно этому и здесь, с последних чисел октября ночь за ночью, сначала по грязным, а потом по заснеженным фронтовым дорогам, в грязь, в пургу, в гололедицу, двигались войска, катились огромные крытые машины, закутанные в чехлы гигантские орудия РГК, приземистые танки «Т-34» и, подпрыгивающие вслед за грузовиками на кочках, маленькие противотанковые пушки.

Иногда осветительная ракета, сброшенная с немецкого самолета, вырывала из мрака ночи белое круглое пятно, в котором сворачивали в сторону с дороги грузовики, разбегались и бросались на землю люди, а бомбы с грохотом рвались внизу среди грязи и снега. Потом все снова становилось черным, и движение на дороге тормозилось на несколько минут, пока убирали обломки разбитого грузовика и оттаскивали в сторону мертвых. И все опять начинало ползти, катиться и ехать в прежнем направлении. Часть всего этого шла от Камышина и

Саратова, через Волгу, в степи и лесистые балки севернее Сталинграда, — туда, где за двадцать километров от него, повернувшись фронтом на юг, стояли войска, не пускавшие немцев вверх по Волге. Другая часть орудий, людей, танков двигалась от Эльтона прямо к Волге и пряталась где-то в извилинах Средней, Нижней и Верхней Ахтубы и спускалась оттуда книзу, в заволжские степи.

И в этом огромном движении людей, машин и оружия — и в том, как все это двигалось, и в том, как все это останавливалось, не доходя до Сталинграда, чувствовались та же воля и тот же характер, которые однажды уже во всей своей великолепной, почти нечеловеческой выдержке проявились год назад под Москвой.

Когда командующий армией и Матвеев несколько раз в критические минуты просили в штабе фронта подкреплений, им каждый раз категорически отказывали, и только с левого берега Волги, сосредоточивая там все больше артиллерии и гвардейских минометных полков, поддерживали дравшиеся в Сталинграде дивизии щедрым огнем. Лишь дважды в самые тяжелые дни штаб фронта, с разрешения ставки, дал по дивизии. Эти дивизии прямо с марша были брошены в Сталинград и в течение недели, сделав свое дело, стали тем же, чем были в Сталинграде и все остальные дивизии, сильные своим духом и уменьем.

В ту ночь, когда Сабуров, молча, закрыв глаза, лежал у себя в блиндаже, а двое санитаров переносили Аню через Волгу по неокрепшему льду, член Военного совета армии Матвеев сделал большую петлю пешком по Волге и явился в блиндаж к Проценко, где имел с ним длинный разговор при закрытых дверях, если так можно было назвать две наглухо опущенные плащ-палатки.

Матвеев вечером вернулся с того берега из штаба фронта, и Проценко был уже вторым командиром дивизии, которого он посещал за эту ночь. Когда Матвеев накануне был вызван в штаб фронта, он приехал туда с твердым намерением обрисовать всю тяжесть существующего положения и еще раз попросить подкреплений. Он ехал в штаб фронта, твердо убежденный в том, что будет просить дивизию и что выпросит ее, потому что она ему была абсолютно необходима. И хотя он предвидел обычный отказ, но считал, что на этот раз его доводы окажутся сильнее.

Однако все вышло наоборот. И командующий и член Военного совета фронта спокойно выслушали сначала его доклад, потом его просьбу и, против обыкновения, не сказали сразу ни да, ни нет. Потом, после длительной паузы, они переглянулись, и член Военного совета фронта, пододвинувшись вместе со стулом ближе к столу, где лежала развернутая карта фронта, положив на нее обе руки, точно призывая к ней внимание Матвеева, сказал:

— Мы не хотим вам отказывать, товарищ Матвеев, в том, что вы просите, потому что вы просите законно, но мы очень хотим, чтобы вы отказались от своих просьб сами. А для этого вам нужно, если не понять (потому что понять это все целиком,

может быть, еще и нельзя), то почувствовать, по крайней мере, хотя бы немного почувствовать, что должно произойти в будущем.

Он внимательно посмотрел на Матвеева, и на его суровом и в то же время добром, простом лице появилась улыбка человека, который знает что-то, что бесконечно его радует.

— Если мы вам скажем, товарищ Матвеев, что у нас нет дивизии, чтобы вам дать, или даже двух дивизий, то мы скажем неправду: они у нас есть.

Матвеев подумал, что это обычное предисловие к тому, что всегда говорилось в таких случаях, — к тому, что войска есть, но их нужно держать в резерве, что, кроме Сталинграда, несмотря на всю его важность, есть еще огромный фронт от Черного до Белого моря и что все это можно защищать, только имея под рукой свободные войска.

Но член Военного совета фронта ничего этого не сказал Матвееву, а подвинув по карте обе руки так, что Матвеев невольно обратил внимание на его движение, остановив их одну южнее, а другую севернее Сталинграда, потом повел их обе вперед и далеко за Сталинградом, — там, где на карте были Серафимович, Калач и другие придонские города, — решительным движением сомкнул обе руки.

— Вот, — сказал он, и в голосе его в эту минуту было что-то торжественное. — Вот, — повторил он.

Матвеев запомнил это слово и этот жест руками по карте так ясно и отчетливо, что он потом вспоминал об этом много раз, и когда говорил с другими людьми, и когда думал об этом сам, и в особенности, когда произошло все то, о чем говорил этот жест.

— Вы так думаете? — взволнованно спросил он.

— Да, я так думаю, — сказал член Военного совета. — Вот и все, что я пока вам могу сказать, — добавил он после паузы, — для того, чтобы вы сами это чувствовали и в те трудные дни, что остались, дали почувствовать своим людям не планы наши, конечно, а то, что слова: «Будет и на нашей улице праздник», — слова не о таком уже далеком будущем. Ну, вот... А теперь вернемся к вопросу о дивизии. Значит, вам, чтобы удержаться, непременно нужна дивизия?

— Нет, мы так вопрос не ставим, — сказал Матвеев.

— Ну, хорошо. Но она вам нужна?

— Нет, мы ее не просим, — сказал Матвеев.

И с этим чувством, под влиянием которого он, даже не согласовав с командующим армией, отказался от дивизии, Матвеев вернулся в армию, говорил с командующим, а потом отправился в части. Он взял на себя трудную задачу — за одну ночь попасть в обе, отрезанные от главных сил, дивизии. К Проценко он попал уже ко второму, усталый и озябший.

Проценко был очень рад приходу Матвеева. Всю последнюю неделю он только иногда с трудом связывался с командующим армией по телефону и сейчас, подробно доложив Матвееву обо всем, происшедшем за это время в дивизии, впервые почувствовал, что какую-то часть тяжести переложил со своих плеч на плечи Матвеева.

Матвеев внимательно выслушал все, что Проценко ему сказал, и задал несколько вопросов, клонившихся в общем к одному: сколько дней сможет продержаться Проценко с теми силами, которые у него есть. Проценко понял, что ему не дадут больше ни одного человека. Потом Матвеев, сделав рукой такой жест, как будто он отметал в стороны все, о чем они говорили до этого, спросил, как Проценко представляет себе слова Сталина о том, что будет и на нашей улице праздник.

При этом неожиданном вопросе Проценко посмотрел в лицо Матвееву и вдруг уловил в его блестящих черных глазах оживление и волнение, которые рождаются у людей на войне, когда они еще не могут сказать другим, но уже знают сами о чем-то предстоящем, очень хорошем и важном.

— Я понимаю эти слова так, — сказал Проценко, от волнения произнося эти слова с более сильным, чем всегда, украинским акцентом. — Я так представляю себе, что товарищ Сталин сказал эти слова седьмого ноября, значит, они должны скоро исполниться. Во всяком случае, до февраля.

— Почему до февраля? — спросил Матвеев.

— А потому, что если бы после февраля, — он бы сказал их двадцать третьего февраля, а если бы после мая, так он сказал бы их первого мая. Такие слова раньше времени не говорятся.

Он выжидательно посмотрел на Матвеева и понял по ответному взгляду, что и сам Матвеев такого же мнения на этот счет.

— Ну, как же? Чи прав я, чи ни? — сказал Проценко.

— Прав, по-моему, — ответил Матвеев. — Только надо додержаться.

— Додержаться? — переспросил Проценко так, словно это слово показалось ему обидным. — Я, товарищ член Военного совета, не думаю лично дожить до того часа, когда немец будет здесь, где мы с вами сидим. Я думаю не дожить до этого часа, потому что, пока я жив, этого не будет.

Матвеев чуть заметно поморщился: слова Проценко показались ему слишком пышными, заранее приготовленными.

— И пусть, — сказал Проценко, угадав его мысли, — пусть вам даже покажется, что это слишком красивые слова, но других я сказать все равно не могу. Это так. И ни один из моих командиров не может сказать других слов.

И уже поняв все то, что ему, не вдаваясь в подробности, хотел сказать Матвеев, Проценко по собственной инициативе перешел на текущие вопросы, не вспоминая ни о пополнении людьми, которого он ждал, ни о тех двух батальонах противотанковых пушек, которые он еще загодя, за неделю, решил просить у командования.

Текущими делами были пополнение боеприпасами (что Матвеев обещал), прилеты еще большего количества «У-2» по ночам (что Матвеев тоже обещал) и, наконец, присылка нескольких командиров (в чем со свойственной ему быстротой и безапелляционностью тут же решительно отказал).

Матвеев был доволен тем, что упрямый и хитрый Проценко оказался на этот раз настолько хитрым, чтобы понять сразу,

зачем Матвеев приехал к нему, и не настолько упрямым, чтобы расспрашивать его о подробностях. Поэтому, хотя ему пора уже было двигаться в обратный путь, Матвеев с охотой согласился задержаться у Проценко и выпил две больших кружки крепкого, почти черного, чаю, о котором Проценко, любивший похвастаться, сказал почему-то, что он цейлонский и с цветком.

— Ну, с цветком, так с цветком, — благожелательно сказал Матвеев.—Главное, чтоб горячий.

Потом Проценко проводил Матвеева шагов двести до берега и, вернувшись к себе, приказал Вострикову подать карту. Востриков подал ему схему, сделанную от руки в штабе дивизии. Схема изображала те пять кварталов, где была расположена в последнее время дивизия.

— Карту, а не схему, — резко сказал Проценко.

Тогда Востриков принес общий печатный план Сталинграда, на котором был виден весь растянувшийся вдоль огромной волжской дуги шестидесятипятикилометровый город с предместьями и окружающими селами.

На этот раз Проценко рассмеялся:

— Да нет, не эту карту. Большую карту. Цела она у тебя?

— Какую большую?

— Да большую, всего фронта.

— А... цела.

Востриков долго копался в чемодане, отыскивая карту, которую давным-давно не вынимали.

И Проценко, именно оттого, что Востриков так долго искал ее, подумал о том, как в сущности он привязал все свои мысли в последнее время к Сталинграду и как мало думал обо всем остальном — настолько мало, что вот даже целых два месяца не вынимал карту фронтов.

Когда Востриков расстелил перед ним на столе карту, где были старые, еще сентябрьские пометки, Проценко, разгладив карту руками, склонился над ней и задумался. Он стал глазами отыскивать города, реки и отметки прежних позиций, и у него неожиданно возникло такое чувство, как будто он вылез из этих домов, кварталов, из Сталинграда на волю. И только тогда, увидев всю огромность карты, он с полной ясностью почувствовал, что значит Сталинград, если, несмотря на то, что это всего точка на огромной карте, — все города, все люди, которые в них живут, последние два месяца живут именно этой точкой — Сталинградом, и в частности этими пятью кварталами и блиндажом, в котором сидит он, Проценко. Он с новым интересом посмотрел на карту. Обе руки его невольно поползли по карте тем же движением, что и руки члена Военного совета фронта, и так же сомкнулись где-то на западе, далеко за Сталинградом.

И в этом его движении, очевидно, было не только случайное совпадение, но и закономерность, потому что на войне самые великие решения и огромные стратегические планы где-то в основе своей бывают логически необходимы, общепонятны и предельно ясны в своей простоте, рожденной железной логикой правильно понятых обстоятельств.

Часов в пять утра, незадолго до рассвета, с таким расчетом,

чтобы люди могли еще затемно вернуться к себе, Проценко созвал у себя всех командиров полков и батальонов.

Ночью наконец через Волгу перетащили по льду санный обоз с продовольствием и водкой, и в тесном блиндаже Проценко на большом столе, там, где обычно лежала карта, были разостланы газеты и стояло несколько фляг с водкой, а взамен стаканов аккуратно обрезанные банки из-под американских консервов. На двух блюдах громоздились толстыми кружками нарезанная колбаса и подогретое консервированное мясо с картошкой. В центре стояла тарелка, на которой повар Проценко, решив блеснуть, устроил витиеватое сооружение из масла, с завитушками и розочками.

Проценко сидел на своем обычном месте, в углу. В блиндаже было жарко натоплено. Против обыкновения, на генерале была не гимнастерка, а вытащенный из чемодана чистый китель; китель был расстегнут, и из-под него сверкала белизной свежая шелковая рубашка. Сегодня для Проценко всю ночь кипятили воду и за час до прихода гостей он вымылся, здесь же в блиндаже, в детской оцинкованной ванночке, в которой он мылся уже не первый раз, но ни за что не признался бы в этом никому, кроме Вострикова. Проценко сидел распаренный и благодушный, ощущая приятную свежесть от чистого шелкового полотна рубашки.

Вся обстановка — тесный блиндаж, длинный стол и хозяин, сидевший в распахнутом кителе во главе его, все это вызвало у вошедшего Ремизова неожиданную ассоциацию с морем и кают-компанией. Поздоровавшись с Проценко, он сказал:

— У вас, товарищ генерал, совсем как на море.

— Почему на море?

— Как в кают-компании.

Собрались почти все одновременно. Ремизов с пунктуальностью старого военного явился равно в 6.00, а остальные — кто раньше на две минуты, кто позже. Сабуров пришел последним, с опозданием на пять минут: в ходе сообщения он споткнулся, сильно ушиб колено и остальной путь прошел прихрамывая.

— А, Алексей Иванович, — сказал Проценко.

— Простите за опоздание, товарищ генерал, — извинился Сабуров.

— Ничего, — сказал Проценко. — Вот нальем тебе штрафную, тогда не будешь в другой раз опаздывать.

— Садитесь, — сказал Ремизов, подвигаясь на табуретке,— вот со мной пополам.—И когда Сабуров сел, Ремизов, чтоб было удобнее, обнял его за плечи левой рукой и добавил: — Вот так, в тесноте, да не в обиде.

— Ну, прошу наливать, — пригласил Проценко.

Когда все налили водку, наступила некоторая пауза, и Проценко сказал:

— Я сегодня собрал вас не на совещание, а просто чтобы встретиться, посмотреть в глаза друг другу. Может быть, мы не все доживем до светлого часа (слова «светлый час» прозвучали у него неожиданно торжественно), не все доживем до светлого часа, — повторил он, — вот я и хочу, чтобы мы, со-

бравшись здесь, посмотрели в глаза друг другу, поверили друг другу, что каждый будет стоять до конца и что если не каждый из нас, то дивизия доживет до светлого часа. Мы первый стакан сегодня выпьем за то,— сказал он, вставая, и все поднялись вслед за ним, — за то, что скоро наступит и на нашей улице праздник.

И опять в этих словах, которые в последнее время часто цитировались и повторялись всеми, в том, как он сейчас их произнес, была особая торжественность.

После первого тоста наступило молчание. Все азартно закусывали, ибо в последние дни с провиантом было плохо и недоедания не замечали только потому, что слишком уставали. Потом был провозглашен второй тост, традиционный в каждой уважающей себя дивизии, а именно за то, чтобы она стала гвардейской. Потом уже пили вразброд, чокаясь с соседями.

Проценко много шутил, был ласков, и хотя его несколько раз подмывало обратиться то к одному, то к другому командиру с деловым вопросом, о котором он неожиданно вспоминал, но он удерживал себя, не желая нарушать общего ощущения торжественности и дружеского гостеприимства.

Сабуров сидел рядом с Ремизовым, прямо против Проценко, и мог без труда весь вечер наблюдать за генералом. Он знал Проценко давно и хорошо, и от его взгляда не укрылось то, что, может быть, было не так заметно для остальных. По тому, как Проценко говорил и вел себя, все почувствовали его веру в предстоящее, в то, что у них здесь, в Сталинграде, все должно кончиться хорошо. Но Сабуров, кроме того, по взглядам Проценко, по каким-то его жестам, по выражению лица видел еще, что Проценко не только знает, что все должно быть хорошо, но и догадывается, как это будет.

Несколько раз Сабуров замечал, что Проценко начинает фразу так, словно он хочет сказать что-то важное, но посредине останавливается и переводит разговор на другое. Сабурову показалось, что Проценко очень хочется сказать что-то, известное только ему одному, и он с трудом удерживает себя.

Когда пришла пора расходиться, Проценко еще раз обвел взглядом сидевших за столом.

Вот сидит Ремизов, — думал он,— до него полком его командовал Попов,— его нет, до Попова — Бабченко,— его тоже нет. Вот сидит Анненский, он, может быть, и слабоват немножко для командира полка, пока еще слабоват, но зато он прошел всю школу осады, и полк его прошел, и все-таки он может командовать. Вот сидит Сабуров, сидит и не знает о себе того, что знает о нем Проценко, — того, что когда, не дай бог, убьют или ранят Ремизова, или Анненского, или командира 89-го полка Огурцова, то он, Проценко, если сам к тому времени будет еще жив, непременно назначит Сабурова командиром полка. И все эти люди кругом не знают, какая судьба им выпадет на войне, чем они будут командовать, где будут сражаться, под стенами каких городов они найдут свою смерть, если найдут ее.

И впервые Проценко, который все эти месяцы был беспрерывно озабочен делами большими и маленькими, хлопотами,

сводками, донесениями — всей повседневностью войны, увидев своих, собравшихся за столом, командиров, усталых людей, поседевших от испытаний и невзгод, почувствовал в этой картине что-то волнующее и величественное — то, что заставляет холодеть спину, от чего подкатывает ком к горлу, то, о чем будут потом писать в истории, чему будут завидовать не испытавшие этого в своей жизни потомки.

Ему захотелось сказать на прощание какие-то особенные, высокие слова, но, как это часто бывает с людьми, он не нашел в себе в эти минуты таких слов, так же, как не находил их в себе в другие, самые решительные и, быть может, самые красивые минуты своей жизни. Он просто поднялся и сказал:

— Ну, что же, друзья, пора, утром — бой.

Все поднялись. Он пожал каждому руку, и один за другим все вышли. Он задержал только Сабурова.

— Присядь на минуту, Алексей Иванович, — сказал он. — Сейчас пойдешь.

Проценко решил проверить, поняли ли присутствующие то, что он хотел им сказать, и, оставшись вдвоем, спросил Сабурова:

— Ты меня понял, Алексей Иванович? Понял меня?

— Понял, товарищ генерал, — сказал Сабуров. — Очень хочется дожить до этого часа.

— Вот именно, вот именно, — сказал Проценко, — очень хочется дожить. Я с завтрашнего дня стану чаще голову пригибать, когда по окопам ходить буду, — до того хочется дожить. И тебе советую.

Они помолчали с минуту.

— Курить хочешь? — спросил Проценко и протянул Сабурову папиросу.

— Спасибо.

Они закурили.

— Мне Ремизов доложил,—сказал Проценко,—насчет твоей беды. Я к начальнику тыла человека отправил сегодня, дал приказание ему, чтобы попутно узнал, в какой госпиталь попала и как состояние. Чтобы ты след не потерял.

— Спасибо, товарищ генерал, — сказал Сабуров почти равнодушно, хотя его сердце тронула эта забота. Он мучился не оттого, найдет или не найдет Аню, потому что знал, если она будет жива, он обязательно, рано или поздно, найдет ее, — но жива ли она? И рядом с этим самым страшным нерешенным вопросом, то, о чем говорил Проценко, — найдет он или не найдет ее, сейчас почти не волновало Сабурова. — Большое спасибо, товарищ генерал, — повторил он и не по уставу, первый, крепко пожав руку Проценко и, против обыкновения, забыв даже сказать традиционную фразу: «Разрешите итти?», повернулся и быстро вышел из блиндажа.

XXV

Хотя говорят, что тоска и страдание удлиняют время, но первые три дня, которые прожил Сабуров после случившегося с Аней несчастья, промелькнули так же стремительно, как и все сталинградские дни. Когда он впоследствии пробовал

вспомнить свое душевное состояние в те дни, ему то казалось, что была только одна война, то ему казалось, что, напротив, в его душе были только одна боль потери. На самом же деле было и то и другое, но боль потери была в эти дни такой постоянной, не уходящей, что именно от ее беспрерывности он моментами как бы забывал, что она есть.

Сабуров возвратился от Проценко к себе в батальон с чувством необходимости сделать в эти дни что-то очень большое — такое, о чем потом будешь помнить всю жизнь. То, что они делали сейчас, и то, что им предстояло делать дальше, было уже не только героизмом. У людей, защищавших Сталинград, образовалась некая постоянная упрямая сила сопротивления, сложившаяся как общее следствие самых разных причин — и того, что чем дальше, тем невозможнее было куда бы то ни было отступать, и того, что отступить — значило тут же бесцельно погибнуть при этом отступлении, и того, что близость врага и постоянная, почти равная для всех, опасность создала если не привычку к ней, то чувство неизбежности ее, и того, что они все, стесненные на маленьком клочке земли, знали здесь друг друга со всеми достоинствами и недостатками гораздо ближе, чем где бы то ни было в другом месте.

Все эти вместе взятые обстоятельства постепенно создали ту упрямую силу, имя которой было «сталинградцы», причем весь героический смысл этого слова в стране, кругом, поняли гораздо раньше, чем они сами у себя в Сталинграде.

Человек в душе никогда не может поверить в бесконечность чего бы то ни было: в его сознании все должно иметь когда-нибудь свой конец. Сабуров, так же, как и все находившиеся тогда в Сталинграде, не зная реально и даже не предполагая, когда все это могло кончиться, в то же время не представлял себе, чтобы это было бесконечным. И в эту ночь, когда он у Проценко скорее почувствовал, чем понял, что сейчас речь идет уже не о месяцах, а о неделях, а может быть, даже днях, это предчувствие возможности победы придало ему новые силы.

Рассказав Ванину и Масленникову об ужине у Проценко, с рассветом он оставил их на командном пункте, а сам отправился в роты. В батальоне было уже не так много людей, и он задался целью поговорить с каждым, вселить во всех то чувство приближающейся победы, которое он испытывал сам.

Весь день шел бой. Немцы своим поведением в этот день как бы сговорились подтверждать предчувствие Сабурова. Они бомбили и стреляли особенно бессистемно, атаковали особенно часто и поспешно, как будто боясь, что то, чего они не возьмут сегодня, им уже не дадут взять завтра.

Сабурову казалось, что сейчас на его глазах происходят последние судороги тяжело раненного зверя. И он радовался этому с мстительностью человека, два месяца ходившего рядом со смертью именно ради того, что начиналось сейчас.

Однако и в этот день, и в следующие внешне все выглядело попрежнему: бои продолжались с неослабевающей силой, немцы четырежды захватывали площадку между домом Конюкова и позициями второй роты и четырежды были выбиты оттуда.

Сабуров вел себя с обычной осторожностью — ложился, когда рвались мины, прятался за камни, когда рядом начинали чиркать пули неприятельского снайпера, пережидал в укрытиях бомбежки. Горе не заставило его искать смерти. Это было ему чуждо всегда и осталось чуждо теперь. Он хотел жить, прежде всего потому, что нетерпеливо и убежденно ждал победы. Он ждал победы в очень точном и определенном ее выражении. Он ждал, когда можно будет отобрать у немцев вот эту ближайшую площадку, этот дом, что отдали неделю назад, и следующие за ними развалины, которые по старой памяти все еще назывались улицами, и потом еще квартал, и следующую улицу, — словом, все то, что было в его поле зрения.

И когда подводили итоги дня и разговоры шли о том, что убито еще двое и ранено семь или одиннадцать человек, о том, что два пулемета на левом фланге надо перевести из развалин трансформаторной будки в подвал гаража, о том, что если назначить вместо убитого лейтенанта Федина старшину Буслаева, то это будет, пожалуй, хорошо, о том, что в связи с потерями по старым показаниям старшин на батальон получается вдвое больше водки, чем положено, и это не беда — пусть пьют, потому что холодно, о том, что вчера раздробило руку часовому мастеру Мазину и теперь если остановятся последние в батальоне, уцелевшие сабуровские часы, то некому уже будет их починить, о том, что надоела все каша да каша, — хорошо бы, если бы перевезли через Волгу хоть мороженой картошки, о том, что надо таких-то и таких-то представить к медалям, пока они еще живы, здоровы и воюют, а не потом, когда это, может быть, будет и поздно, — словом, когда говорилось ежедневно о том же, о чем говорилось всегда, — все равно предчувствие предстоящих великих и удивительных событий у Сабурова ничуть не уменьшалось и не исчезало.

Вспоминал ли он об Ане в эти дни? Нет, он не вспоминал — он помнил о ней, и боль не проходила, не утихала и, что бы он ни делал, все время существовала внутри него. Ему искренне казалось, что если она умерла (а он был почти убежден в этом), то уже никакой любви больше в его жизни никогда не будет. Никогда раньше не думавший о том, как он себя ведет, Сабуров стал наблюдать за собой. Именно потому, что горе тяготило его, он часто как бы оглядывался на себя, спрашивал мысленно: так ли он делает все, как делал, и нет ли в его поведении чего-то такого, к чему понудило его горе, чего-то такого, в чем он изменился? И, преодолевая свои страдания, он старался вести себя именно так, как всегда.

Ночью на четвертый день, получив в штабе полка орден для Конюкова и несколько медалей для его гарнизона, Сабуров еще раз пробрался в дом к Конюкову и вручил там эти награды. Что редко случалось в Сталинграде, все, кому они предназначались, были живы и здоровы. Конюков попросил Сабурова самого привинтить ему орден, потому что левая рука у него висела, как плеть, — кисть ее была рассечена осколком гранаты. Когда Сабуров по-солдатски, складным ножем, прорезал дырку в гимнастерке Конюкова и стал привинчивать орден, Конюков, стоя навытяжку, сказал:

— Я думаю, товарищ капитан, что ежели на них атаку делать, то прямо через мой дом на них способней всего итти. Они меня тут в осаде держат, а мы прямо отсюда — и на них. Как вам такой мой план, товарищ капитан?

— Подожди,— сказал Сабуров,—будет время — сделаем.

— План-то правильный, товарищ капитан? — спросил Конюков. — Как, по-вашему?

— Правильный, правильный, — сказал Сабуров, подумав про себя, что на случай атаки нехитрый план Конюкова, пожалуй, действительно самый правильный.

— Прямо через мой дом и на них, — повторил Конюков.— С полным сюрпризом.

Слова «мой дом» он повторял часто и с удовольствием; видимо, до него, по солдатской почте, дошли слухи, что этот дом официально уже так и называют в сводках «дом Конюкова», и он немало гордился этим.

— Выживает немец из дома, — сказал Конюков, когда Сабуров собрался уходить.—До чего дошли: хозяев бьют,—и он засмеялся, показывая на свою раненую руку. — И осколок-то небольшой, а поперек костей чиркнул: совсем пальцы не гнутся... Так вы доложите по начальству, товарищ капитан, чтобы когда наступление будет, то через мой дом атаку делали, — прощаясь с Сабуровым, еще раз повторил Конюков.

И хотя Сабуров уважал Проценко и знал, что за его словами стоят слова еще более высокого начальства, но то, что эта уверенность в будущем наступлении существовала не только у Проценко, но и у Конюкова, — еще в большей степени подкрепляло его собственную мысль, что так оно и будет.

Когда Сабуров вернулся от Конюкова (а это было уже под утро), Ванин был в роте, а Масленников сидел у стола, хотя работы у него не было и он вполне мог бы лечь спать. Последние дни он старался всюду быть вместе с Сабуровым. Когда ночью он сказал Сабурову, что вместе с ним пойдет к Конюкову, Сабуров наотрез отказал, и ему пришлось остаться. Теперь Масленников сидел и волновался, и хотя было совершенно ясно, что он не может ни защитить, ни прикрыть Сабурова от осколка или пули, но находиться рядом с ним стало в эти дни для Масленникова душевной необходимостью.

Сабуров вошел, молча кивнул Масленникову, и, так же молча, стянув сапоги и гимнастерку, лег на койку.

— Курить хотите? — спросил Масленников.

— Хочу.

Масленников протянул ему портсигар с табаком. Сабуров свернул папироску и закурил. Он замечал и ценил то деликатное, драгоценное молчание, которое соблюдал Масленников, — редкое свойство, в минуты несчастья проявляемое только истинно задушевными друзьями. Масленников ни о чем его не спрашивал, не утешал и в то же время своим молчаливым присутствием все время трогательно напоминал ему, что он не один в своем горе.

И сейчас, сидя рядом с Масленниковым, Сабуров вдруг почувствовал нежность к этому мальчику и впервые за все по-

следние дни с удовольствием подумал о каком-то времени после войны, когда они встретятся где-то совсем далеко отсюда, в совсем непохожем доме, совсем по-другому одетые и будут вспоминать о всем, что происходило в этой землянке под пятью накатами, в этих холодных окопах, под мелким моросящим снегом. И им покажутся вдруг милыми эти жестяные кружки, и эти сталинградские лампы «катюши», и весь неуютный окопный быт, и даже самые опасности, которые уже будут позади. Он сел на койку, дотянулся рукой до Масленникова и, крепко обняв его за плечи, придвинул к себе:

— Мишенька.

— Что? — сказал Масленников.

— Ничего, — сказал Сабуров. — Ничего. Увидимся с тобой когда-нибудь, будет что вспомнить, да?

— Конечно, вспомним, — сказал Масленников после молчания, — что вот сидели мы восемнадцатого ноября у железной печки в Сталинграде и курили махорку.

— Восемнадцатого ноября? — удивился Сабуров. — Разве сегодня восемнадцатое ноября?

— Да.

— Вот странно, я совсем забыл.

— А что?

— Если сегодня восемнадцатое ноября, значит, мне как раз тридцать.

— Неужели тридцать? — переспросил Масленников и даже отодвинулся. Ему казалось, что тридцать лет — это очень много.

— Тридцать, Мишенька, тридцать, — повторил Сабуров.

— Ну, как же будем отмечать день рождения? — спросил Масленников.

— Как? — сказал Сабуров. — А вот так: посидим, помолчим.

Он продолжал сидеть на койке, раскачиваться и пускать одно за другим колечки дыма. Ему было тридцать лет, и вот они сидели здесь в блиндаже, и он после всего, что уже семьдесят дней происходило кругом, все-таки дожил до своих тридцати, а Ани не было, и было неизвестно, жива ли она. Он долго сидел и молчал. Потом лег на койку и вдруг, почти сразу, неожиданно для себя, заснул, свесив с койки руку с зажатой в ней потухшей папиросой.

Он проспал час, может быть, полтора. Когда его разбудил телефонист, было совсем темно и через вкось врытую в стену блиндажа двенадцатидюймовую трубу, служившую окном, еще не проступал дневной свет. Шлепая босыми ногами по земляному полу, Сабуров подскочил к телефону:

— Капитан Сабуров слушает.

— Проценко говорит. Ты что, спишь?

— Так точно, спал.

— Ну, так скорей вставай, одевай сапоги, — в голосе Проценко слышалось волнение, — выходи наружу, послушай.

— А что, товарищ генерал?

— Ничего, потом мне позвонишь. Доложишь, слышал или нет. И своих там разбуди, пусть слушают.

Сабуров посмотрел на часы: было шесть утра. Он торопливо

натянул сапоги и, не надевая гимнастерки, в одной рубашке, выскочил на улицу.

Время от шести до семи утра в Сталинграде было обычно временем наибольшей тишины. Иногда в течение пятнадцати — двадцати минут ни с той, ни с другой стороны не было ни одного артиллерийского залпа, разве только где-нибудь гремел отдельный винтовочный выстрел или глухо плюхалась вдалеке случайная мина.

Когда Сабуров выбежал из блиндажа, шел крупный снег, в нескольких шагах все заволакивалось пеленой. Он подумал о том, что нужно усилить охранение. Из-за неожиданного звонка Проценко он ожидал чего-нибудь особенного. Между тем ничего не было слышно. Было холодно, снег падал за расстегнутый воротник рубашки. Он простоял так минуту или две, прежде чем уловил далекий непрерывный гул. Гул слышался справа, с севера. Стреляли далеко, за тридцать—сорок километров отсюда. Но, судя по тому, что звук этот все-таки доносился и, несмотря на всю отдаленность, беспрерывно тяжело сотрясал землю, чувствовалось, что там, где он рождается, сейчас происходит нечто чудовищное, небывалое по силе, что там такой артиллерийский ад, какого еще никто не видел и не слышал. Сабуров уже не замечал холода и, только иногда смахивая рукой падавшие на ресницы хлопья снега, продолжал прислушиваться.

«Неужели это то самое?» — подумал он и повернулся к стоявшему рядом автоматчику.

— Слышишь что-нибудь?

— А как же, товарищ капитан? Слышу. Наша бьет.

— А почему думаешь, что наша?

— По голосу слыхать.

— А давно уже это?

— Да уж с час слыхать, — сказал автоматчик. — И все не утихает.

Сабуров быстро вернулся в блиндаж и растолкал сначала Масленникова, а потом недавно вернувшегося из роты, спавшего в сапогах и шинели, Ванина.

— Вставайте, вставайте, — говорил Сабуров таким же взволнованным голосом, каким пять минут назад с ним разговаривал Проценко.

— Что? Что случилось? — спрашивал Масленников, надевая сапоги.

— Случилось? — сказал Сабуров.— Очень многое случилось. Идите наверх, послушайте.

— Что послушать?

— Вот послушайте, потом поговорим.

Ванин, который был одет, уже бежал, за ним выскочил полуодетый Масленников. Когда они вышли, Сабуров приказал телефонисту соединить его с Проценко.

— Слушаю,— донесся до него из трубки голос Проценко.

— Товарищ генерал, докладываю: слышал,— сказал Сабуров.

— А... Все слышали. Я всех перебудил. Началось, милый, началось. Еще я увижу свою ридну Украину, еще постою на Владимирской горке у Кииве. Розумиешь?

— Розумию,— сказал Сабуров.

Сколько помнил Сабуров Проценко, тот почти никогда ни на Западном фронте, ни под Воронежем, ни здесь не упоминал о своей нежно любимой Украине, в особенности о Киеве, и не любил, когда при нем об этом говорили,— это было его больное место. И вот сейчас он сам заговорил о Киеве.

— Я уже четвертую ночь под утро не сплю,— сказал в трубку Проценко.— Все выхожу, слушаю, не начинается ли? У нас любят перед рассветом начинать. Вот я все не сплю, хожу и слушаю. Выхожу сегодня, а она уже концерт начала... Хорошо слышно, Сабуров?

— Хорошо, товарищ генерал.

— Я еще официального сообщения из штаба армии не имею,— сказал Проценко.— Погоди людей оповещать. А, впрочем, чего их оповещать? Сами услышат, догадаются. Но, в общем, ты официально не оповещай. Я сейчас с командующим посоветуюсь, тогда дам знать.

Проценко положил трубку, Сабуров тоже. Он не знал точно, как и где все это происходит, но с несомненностью почувствовал, что началось. И хотя началось всего час назад, но сейчас уже дальше нельзя было представить себе жизнь без этого далекого великолепного гула артиллерийского наступления. Он уже существовал в сознании, независимо от того, был ли слышен в эту секунду или нет.

— Неужели началось? — еще раз почти испуганно спросил себя Сабуров и сам себе решительно ответил: да, да, конечно, да.

И хотя он сидел, как в мышеловке, в блиндаже почти над самой Волгой и немцам оставалось здесь дойти до Волги восемьсот, а до его блиндажа шестьдесят метров, но все равно он второй раз в жизни испытал, так же, как когда-то в декабре, под Москвой, ни с чем несравнимое счастье наступления.

— Ну, как? Слышали? — торжествующе спросил он вошедших Ванина и Масленникова.

Минут пятнадцать они сидели неподвижно, изредка перекидываясь отрывочными фразами, оглушенные невероятной радостью.

— А не может сорваться? — спросил Ванин.

— Довольно,— сказал Сабуров.— Довольно. Может быть, на месяц раньше и могло бы, а теперь, когда мы ради этого последний месяц тут высидели, не может, не смеет сорваться.

— Ох, как бы я хотел сейчас быть там,— сказал Масленников.— Как бы я хотел быть там! — повторил он взволнованно.

— Где там? — спросил Сабуров.

— Ну, там, где наступают.

— Можно подумать, что ты, Миша, сидишь сейчас где-нибудь в Ташкенте.

— Нет, я хочу именно там, где наступают.

— А мы здесь будем тоже наступать,— сказал Сабуров.

— Ну, это еще когда...

— Сегодня.

Сабуров неожиданно для себя сказал это громко и торжественно.

— Сегодня? — переспросил Масленников.

Масленников ждал, что Сабуров будет продолжать, но Сабуров молчал. У него сейчас вдруг появился план, о котором ему не хотелось говорить раньше времени.

— Ну, хорошо, если так,— подождав, сказал Масленников.— Может, выпьем за наступление, а?

— С утра? — удивился Сабуров.

— А мы, если хочешь, будем считать, что сейчас вечер. Еще ведь не рассвело,— вмешался Ванин.

— Петя!—крикнул Сабуров, но Петя не отзывался.—Петя!—крикнул он опять.

Петя стоял наверху, так же, как за пять минут до этого стояли они, и слушал. Он слышал, как зовет его Сабуров, но в первый раз позволил себе пропустить это мимо ушей — так ему хотелось как следует расслышать звуки канонады. Сабурову пришлось самому выскочить в ход сообщения.

— Петя! — крикнул он еще раз.

Петя, словно только услышав, подбежал к Сабурову.

— Что, слушал? — спросил его Сабуров.

— Слушал,— улыбнулся Петя.

— Ну, пойди, налей нам,— сказал Сабуров.

Петя, с полминуты побрякав кружками и флягами, внес в блиндаж тарелку с тремя кружками и с вскрытой банкой консервов, из которой веером торчали вилки.

— Налей и себе,— сказал Сабуров, изменяя своему обыкновению.

Петя приподнял плащ-палатку, вышел и тут же вернулся со своей кружкой, судя по быстроте возвращения, уже заранее налитой.

Чокнувшись, они молча выпили, потому что все было ясно и больше говорить было не о чем: пили за наступление.

Через полчаса позвонил Проценко и уже более спокойным голосом, но все еще взволнованно, сказал, что из штаба фронта получено официальное подтверждение, что наши войска в пять часов утра после мощной артиллерийской подготовки перешли в наступление севернее Сталинграда.

— Отрезать их будут, отрезать! — радостно закричал Масленников, когда Сабуров, положив трубку, рассказал им содержание разговора с Проценко.

— Идите,— сказал Сабуров,— ты, Ванин, в первую роту, а ты во вторую. Расскажите людям.

— А ты здесь остаешься? — спросил Ванин.

— Да. Я хочу с Ремизовым поговорить.

Сабуров очинил карандаш и, достав из папки штабных документов листок со схемой расположения участка батальона и впереди лежащих домов, задумался. Потом он сделал на схеме одну за другой несколько быстрых пометок. Да, они тоже сегодня должны наступать. Это было для него ясно. Он, конечно, представлял себе, что главные события разыграются теперь далеко от них на севере и, может быть, на юге, а их удел — еще долго сидеть здесь. Но, тем не менее, сегодня, когда началось то великое, чего они все с таким трепетом ждали, у него появилась торопливая жажда деятельности.

То, что накопилось в душе и у него и у других, должно было найти свой выход немедленно, сегодня же. Он позвонил Ремизову:

— Товарищ полковник?

— Да.

— Товарищ полковник, разрешите прибыть к вам. У меня есть план одной небольшой операции.

— Операции? — сказал Ремизов, и казалось, было заметно даже по телефону, как он улыбнулся.— Лавры наступающих армий не дают вам покоя?

— Не дают,— сказал Сабуров.

— Ну, что же. Это, может быть, и хорошо,— сказал Ремизов.— Только не ходите ко мне, я сам приду.

— Когда придете?

— Сейчас.

Однако Ремизов пришел только через полчаса. Пока он не расстегнул полушубка и не снял шапки, его разрумянившееся от холодного ветра лицо с седыми усами казалось лицом доброго елочного деда. Он разделся и, сев рядом с Сабуровым, стал пить принесенный ему Петей горячий чай.

— В некоторой степени подобное чувство я испытал после долгого стояния в Галиции в дни брусиловского наступления. Прекрасное было чувство, особенно в первые дни. Но сейчас больше.

— Что больше? — спросил Сабуров.

— Все больше: и наступление, и чувство.

— А вы думаете, это очень большое наступление? — спросил Сабуров.

— Убежден,— сказал Ремизов.— Ну, что у вас за план? — сказал он, отставляя в сторону кружку.

— План простой — захватить этот, следующий за конюковским, бывший мой дом.

— Когда?

— Сегодня ночью.

— Каким образом?

Сабуров в коротких словах развил перед Ремизовым план, о котором ему ночью, не предполагая, что осуществление так близко, говорил Конюков.

— Главное, атаковать не оттуда, где ждут, а прямо от Конюкова, из осажденного дома, где немцы ничего не ждут, кроме пассивной обороны.

Ремизов пощипывал седые усы.

— А люди? Это хорошо. Но люди?

— Меня тоже это раньше смущало,— сказал Сабуров.— Мне казалось, что атака будет возможна только, если нам дадут людей. Но сегодня, после этого,— он кивнул на выход, где за дверью все еще слышались отголоски канонады,— после этого, я думаю, что...

— Сделаем и так? — перебил его Ремизов.

— Да, и так. А потом,— и Сабуров улыбнулся,— на радостях вы же немножко дадите, а?

— Дам,— сказал, в свою очередь улыбнувшись, Ремизов.

— Ну, и генерал, когда мы ему доложим, ведь даст?

— Несомненно, даст,— сказал Ремизов.— Я-то не знаю, еще дам или нет, а генерал даст.

— Но и вы дадите?

— Дам. Я же шучу. И первого дам себя. О, господи, до чего надоело сидеть в обороне! Вы знаете, что? — прищурившись, посмотрел он на Сабурова.— Мы непременно возьмем дом. Под такой аккомпанемент с севера просто стыдно этого не сделать. Дом... Что такое дом? — Он усмехнулся, но тут же стал серьезным:— А между прочим, дом — это много, почти все, Россия.— Он откинулся вместе с табуреткой к стене и повторил протяжно: — Россия... Вы даже не представляете себе этого чувства, которое у нас будет, когда мы на рассвете возьмем этот дом. Ну, что дом? Четыре стены, и даже не стены, а четыре развалины. Но сердце скажет: вот, как этот дом, возьмем обратно и всю Россию. Понимаете, Сабуров? Главное, начать. Начать пусть с дома, но почувствовать при этом, что так будет и дальше. И так будет дальше, до тех пор, пока все не будет кончено. Все. Ну, так как же вы предполагаете подтащить людей туда, к Конюкову? — спросил он уже деловым тоном.

Сабуров объяснил, как он предполагает подтащить за ночь людей к Конюкову и как это сделать тихо, и как перенести на руках минометы, и, может быть, даже перекатить тоже на руках несколько пушек.

Через полчаса они закончили предварительные расчеты и позвонили Проценко.

— Товарищ генерал, я нахожусь сейчас у Сабурова,— сказал Ремизов.— Мы с ним разработали план наступательной операции в его батальоне.

Услышав слова «наступательная операция», Проценко быстро сказал:

— Да, да, сейчас же явитесь оба ко мне — и вы, и Сабуров. Сейчас же.

Выбравшись в ход сообщения, они направились к Проценко. Уже начинало светать, но белая пелена метели попрежнему со всех сторон закрывала горизонт. Далекий гул канонады не ослабевал, с рассветом казалось, что он еще лучше слышен.

Проценко был в приподнятом настроении. Он ходил по блиндажу, заложив руки за спину. На нем был тот же парадный китель, в котором он недавно принимал командиров, но сегодня в блиндаже было холодно и генерал, не выдержав стужи, поверх кителя накинул на плечи старый ватник.

— Холодно. Холодно,— этими словами встретил он Сабурова и Ремизова.— Востриков, сукин сын, не озаботился, чтобы дрова были. Печка едва дышит,— и он притронулся рукой к чуть теплой чугунной печке.— Востриков!

— Да, товарищ генерал?

— Когда дрова будут?

— Через час.

— Ну, смотри. Очень холодно,— повторил Проценко.— Ну, какая же наступательная операция у вас намечена? — В его голосе чувствовалось нетерпение.— Докладывайте, полковник.

— С вашего разрешения,— сказал Ремизов,— пусть капитан Сабуров доложит. Это его план.

— Ну, что же, он — так он. Мне сейчас главное, чтобы была наступательная операция, а кто доложит, не так важно. Ну, докладывай.

Сабуров второй раз за это утро вкратце доложил план захвата дома.

— И за эту ночь вы успеете сосредоточить людей в доме Конюкова и до света атаковать? — спросил Проценко.

— Успею,— сказал Сабуров.

— Сколько у тебя на это может пойти людей?

— Тридцать,— сказал Сабуров.

— А вы сколько ему можете дать?

— Еще двадцать,— сказал Ремизов, подумав.

— Значит, пятьдесят человек успеешь перебросить и подготовить? — спросил у Сабурова Проценко.

— Да. Успею.

— А если я дам вам еще тридцать, и будет уже восемьдесят, тоже успеешь?

— Тем более успею, товарищ генерал,— сказал Сабуров с радостным чувством.

— Ну, что же, добре, добре,— сказал Проценко.— Начнем свое наступление с этого. Только имей в виду,— обратился он к Сабурову,— транжирить людей я не дам. Дом возьмем, не сомневаюсь. Но все-таки в Сталинграде пока еще в осаде мы, а не немцы, как бы хорошо ни было там на севере. Понимаешь?

— Понимаю,— сказал Сабуров.

— Товарищ генерал,— сказал Ремизов.

— Да?

— Разрешите, я лично приму участие в операции.

— Лично? — хитро прищурился Проценко.— Это что же значит: на командном пункте у Сабурова будете? Ну, что же, так и должно быть — вы же командир полка. Или, может быть, к Конюкову в дом полезете? Вы это имеете в виду? Полезете?

Ремизов молчал.

— Полезете?

— Полезу, товарищ генерал.

— Тоже допустимо. Но вот уже в тот, в другой, дом вам не разрешаю лазить. Пусть один Сабуров туда идет. Понятно?

— Есть, товарищ генерал,— сказал Ремизов.

— Он туда, вы — в дом Конюкова, а я, может быть, сам к нему на командный пункт приду. Вот так и решим. Ну, идите. Сейчас прикажу подобрать вам тридцать человек. Только берегите. Последние, имейте в виду

— Разрешите итти? — спросил Сабуров.

— Да. Сообщайте мне по телефону, как подготовка идет. Подробно сообщайте. Мне же интересно,—вдруг совсем просто, почти по-детски, сказал он.— Да, вот еще. От имени генерала скажите бойцам и командирам: кто первым в дом ворвется — орден, кто следующим — медаль, кто «языка» возьмет и не даст, чтобы его убили потом, — главное, не даст, чтобы убили, —

тоже медаль. Так и передайте. Конюков, говоришь, первоначальное предложение сделал? — обратился Проценко к Сабурову.

— Конюков.

— Конюкову — медаль. Я ему недавно орден дал, да?

— Да,— сказал Сабуров.

— Вот и хорошо. Теперь — медаль. Пусть носит. Так и скажи ему: медаль за мной. Ну, все. Можете итти.

XXVI

Весь день прошел в подготовке к ночному наступлению. Все делалось быстро, без задержек и с удивительной готовностью. Казалось, лихорадочная жажда деятельности охватила всех в дивизии, начиная с Сабурова и кончая Проценко. Уже через два часа Сабурову позвонил начальник штаба дивизии и сказал, что тридцать человек из резерва дивизии собраны. Артиллеристы с разных участков дали три пушки для того, чтобы после взятия дома сразу же, ночью, вкатить их туда. Петя в углу блиндажа возился с автоматами — своим, Сабурова и Масленникова, так тщательно прочищая и смазывая их, как будто от этого зависела судьба операции. Он даже вытащил из угла порванную холщевую сумку Сабурова для гранат и тщательно заштопал ее. Той строжайшей тайны, которой требуют военные уставы во время подготовки к операции, на этот раз в батальоне соблюдено не было. Скорее напротив, каждый знал о том, что ночью готовится захват дома, и в душе радовался этому, хотя многим, быть может, и предстояло именно из-за этой наступательной операции в эту ночь сложить свои головы.

И далекая непрекращавшаяся канонада, свидетельствовавшая о том, что наступление продолжается, и эта неожиданная идея захвата дома после долгого стояния,— все, вместе взятое, заставляло не думать о смерти или, вернее, думать о ней меньше, чем обычно.

Под вечер в батальон явился Ремизов. Он сказал, что его люди и люди Проценко уже готовы и ждут. Они вчетвером — Ванин, Масленников, Сабуров и Ремизов — они наскоро закусили. не особенно сытно, потому что Петя, занятый чисткой автоматов, на этот раз сплоховал. Потом они договорились о распределении обязанностей. Ванин должен был остаться в батальоне. Кстати сказать, он только что вернулся из роты. Весь день на позициях шла обычная стрельба, и немцы даже два раза переходили в небольшие атаки. Словом, все происходило так, как будто на севере не было этой чудовищной, все перевернувшей в сознании людей канонады. Теперь Ванину предстояло дежурить ночь в штабе батальона, кого-то одного все-таки приходилось оставить здесь. Он беспрекословно согласился, хотя Сабуров видел по его лицу, что он недоволен и с трудом сдерживается. Зато Масленников был в отличном настроении. Ему предстояло итти вместе с Сабуровым и Ремизовым в дом к Конюкову.

Сразу же, как стемнело, Сабуров вместе с первой партией бойцов и Масленниковым благополучно перебрался в дом Конюкова.

— Товарищ капитан, разрешите спросить? — этими словами встретил Конюков Сабурова.

— Ну?

— Канонадой этой, стало быть, наши немцев в круг берут?

— Стало быть, да,— сказал Сабуров.

— Вот я так и объяснил,— сказал Конюков.— А то они меня все спрашивают: «Товарищ лейтенант (они меня все лейтенантом зовут, поскольку я начальник гарнизона), товарищ лейтенант, это наши наступают?» Я говорю: «Определенно наступают».

— Определенно наступают, Конюков. Определенно наступают,— сказал Сабуров.— И мы будем сегодня наступать.

Потом он передал Конюкову, что Проценко наградил его медалью, на что Конюков, вытянувшись, сказал:

— Рад стараться.

Конюковцы вместе с прибывшими бойцами тихо, перенося в руках по одному кирпичу, расчищали проходы, через которые должны были выползти из дома штурмовые группы. По ходу сообщения понемногу подносили тол, гранаты, потом притащили несколько противотанковых ружей и два батальонных миномета.

Когда Сабуров, оставив Масленникова распоряжаться дальше, вернулся к себе на командный пункт, он нашел там молоденького лейтенанта, командира батарей, доложившего, что его три орудия уже находятся здесь. Лейтенант просил распоряжений о том, как их подкатывать дальше.

— Кое-где подкатывать,— сказал Сабуров,— а кое-где на руках придется перенести.

— На руках перенесем,— сказал лейтенант с той особенной готовностью, которая была сегодня у всех.— Мы хоть всю дорогу можем на руках.

— Нет, всю дорогу не надо,— сказал Сабуров.— Но если зашумите и если даже немцы вам за это голову не снимут, так я сниму. Все. Выполняйте.

— Не зашумим, товарищ капитан,— сказал лейтенант.

Сабуров дал ему в провожатые Петю, уже три раза ходившего к Конюкову.

Была уже полночь, когда Сабуров, собрав в доме своих и ремизовских людей, встретил последнюю партию — тридцать человек, пришедших от Проценко, и, разделив их на мелкие группы, стал переправлять в дом Конюкова. Наконец он пошел туда сам вместе с Ремизовым.

В подвале, под цементными плитами, бойцы устроили курилку и по очереди, тесно усаживаясь на корточки, как куры на насест, курили. Когда нехватало табаку, они втроем или вчетвером затягивались по очереди одной и той же цыгаркой. Сабуров вытащил из кармана кисет и весь мелкий, превратившийся в крошку, табак рассыпал по рукам бойцов. Самому ему курить не хотелось. Он почти не волновался, а

только все время мучительно старался вспомнить, не забыто ли что-нибудь и все ли сделано.

Связисты протянули от дома Конюкова до командного пункта Сабурова провод, который днем немцы увидели бы и порвали, но который ночью мог сослужить свою службу. По этому проводу Сабуров связался с Проценко.

— Откуда говоришь? — спросил Проценко.

— Из дома Конюкова.

— Молодцы,— сказал Проценко.— А я как раз хотел сказать, чтобы протянули. Ну, как?

— Последние приготовления, товарищ генерал.

— Хорошо. Через полчаса можете начать?

— Можем,— сказал Сабуров.

— Значит, в ноль тридцать. Хорошо.

Но начали все-таки не в 0.30, а на сорок пять минут позже — в четверть второго. Противотанковые пушки никак нельзя было протащить через пролом, и пришлось по одному кирпичу разбирать стену.

Наконец, когда все пятьдесят человек, которым предстояло атаковать первыми, были разделены на четыре штурмовых группы, когда саперы с пакетами тола и с гранатами и шедшие с ними автоматчики были окончательно готовы, когда дула пушек высунулись из проломов по направлению к видневшимся невдалеке выступам стены, где помещались немецкие пулеметы,— в четверть второго был дан шопотом приказ о начале атаки.

Минометы оглушительно рявкнули так, что эхо, как мяч, отскакивая от стены к стене, пошло греметь вдоль развалин. Пушки начали бить прямой наводкой, и две штурмовые группы с Сабуровым и Масленниковым двинулись вперед. Немцы ждали атаки откуда угодно, но только не из этого осажденного и, как им казалось, целиком блокированного дома. Они стреляли ожесточенно, но беспорядочно и, видимо, растерялись.

Как и все ночные бои, эта схватка была полна неожиданностей: выстрелов в упор, разрывов гранат, брошенных прямо под ноги,— всего, что делает в ночном бою главным не количество людей, а крепость нервов тех, кто дерется.

Сабурову несколько раз пришлось бросать гранаты, он кого-то застрелил в упор из автомата и несколько раз в темноте спотыкался о камни и падал. Наконец, пробежав через все развалины подвальных помещений дома, он выбрался на его западную сторону и, задыхаясь от усталости, приказал кому-то из находившихся рядом бойцов передать, чтобы сюда скорее подтаскивали пушки.

Для немцев все происшедшее было так неожиданно, что многие из них были убиты, а другие принуждены были бежать из дома раньше, чем сообразили, в чем дело. Но внезапное донесение о том, что русскими взят дом, очевидно, так возмутило ближайших немецких начальников, что они, не считаясь ни с чем, здесь же, на месте, собрали всех, кто был под рукой, и против обыкновения послали их в контратаку, не дожидаясь рассвета. Первая контратака была отбита. Тогда,

через полчаса, засыпав дом минами, немцы пошли в атаку вторично. Сабуров в душе еще раз поблагодарил Проценко за то, что тот добавил ему людей. В доме не осталось ни одной целой стены,— всюду были развалины, дыры и проломы, через которые могли пролезть немцы, и нужно было защищаться в непроглядной темноте.

В разгар второй контратаки немцев к Сабурову подполз Масленников и спросил, нет ли у него гранат.

— Есть,— сказал Сабуров, отстегивая от пояса и передавая ему гранату.— Что, все истратил?

— Покидал, — сказал Масленников виноватым тоном.

— Скажи, чтобы минометы сюда перетащили, хотя бы два. Сейчас не понадобятся, а под утро чтобы уже здесь стояли. Мы тут с тобой, Миша, командный пункт устроим и никуда отсюда не уйдем. Понял?

— Понял,— сказал Масленников.

— Ну, пойди скажи минометчикам.

— Сейчас,— сказал Масленников.

Он весь жил еще горячкой боя, ему не хотелось отсюда уходить.

— Алексей Иванович,— тихо сказал он.

— Ну? — оторвался Сабуров от автомата.

— Алексей Иванович, удачно там наступление идет? Как думаете?

— Удачно,— сказал Сабуров и снова приложился к автомату; ему показалось, что впереди кто-то движется.

— Окружат их? — спросил Масленников, но не успел получить ответа.

Из пролома слева сразу выскочило несколько немцев, все-таки нашедших в стене дома незащищенную щель. Сабуров дал длинную очередь, автоматный диск кончился. Он пошарил рукой у пояса, где должна была висеть граната, но ее не было — он только что отдал ее Масленникову. А немцы подскочили совсем близко. Масленников из-за плеча Сабурова швырнул гранату, но она почему-то не разорвалась. Тогда Сабуров перехватил автомат за дуло и со всего размаху ударил прикладом по мелькнувшей рядом черной фигуре. Он размахнулся с такой силой, что не удержался и, обрушив автомат на что-то треснувшее и завывшее, сам упал лицом вперед. Пожалуй, именно это и спасло его — длинная трассирующая автоматная очередь прошла над ним.

Масленников, выстрелив несколько раз в темноту из нагана, увидел, как немец замахнулся автоматом над лежащим Сабуровым. Отбросив пустой наган, Масленников сбоку прыгнул на немца, вцепился ему руками в горло, и они оба покатились по каменному полу. Они катались, стараясь перехватить друг у друга руки. Левая рука Масленникова попала между двумя камнями; он услышал, как она хруснула, и больше не мог ею двинуть. Другой рукой он продолжал сжимать горло немца и катался, оказываясь то поверх него, то под ним. Последнее, что он ощутил, было что-то твердое и холодное, прижатое к его груди. Немцу удалось вытащить из-за пояса

парабеллум, прижать свободной рукой к телу Масленникова и несколько раз подряд спустить курок.

Опомнившись от падения, Сабуров вскочил и увидел черный катавшийся под ногами клубок. Потом раздались выстрелы, клубок разорвался, и большая незнакомая фигура стала подниматься на корточки. У Сабурова ничего не оказалось под руками, он рванул с пояса автоматный диск, прямо, как он был, в чехле, и, схватив его обеими руками, опустил на голову немца раз, второй и третий со всей силой, на какую был способен.

Прибежавшие из соседнего подвала автоматчики уже лежали за выступом стены и стреляли. Контратака была отбита.

— Миша! — крикнул Сабуров.— Миша!

Масленников молчал.

Опустившись на землю, оттолкнув мертвого немца, Сабуров, шаря руками, дотянулся до Масленникова, ощупал петлицы, орден Красной Звезды на гимнастерке, потом дотронулся до лица Масленникова и снова позвал: «Миша». Масленников молчал. Сабуров еще раз ощупал его. Слева, у сердца, мокрая гимнастерка прилипала к пальцам. Сабуров попробовал поднять Масленникова. У него мелькнула дикая мысль, что если он сейчас поднимет Масленникова так, чтобы тот стоял, то это очень важно — тогда, наверное, он будет жив. Но тело Масленникова беспомощно обвисало на его руках. Тогда Сабуров поднял его на руки, так же, как Масленников четыре дня назад поднял Аню, и понес, переступая через камни.

— Пушки выкатили? — спросил он, услышав голос артиллерийского лейтенанта, подававшего команды.

— Да.

— Где поставили? — спросил опять Сабуров, стоя так, словно он забыл, что на руках его лежит Масленников.

— Одну здесь, прямо, а две по флангам.

— Правильно,— сказал Сабуров.

Дойдя до подвала, где оставался еще кусок цементного потолка и можно было зажечь спичку, он сел на пол, все еще держа на руках тело Масленникова.

— Миша,— позвал он еще раз и, чиркнув спичкой, сразу прикрыл ее рукой.

В слабом свете перед ним мелькнуло на мгновение бледное лицо Масленникова с закинутыми назад кудрявыми волосами, одна прядка которых, мокрая и беспомощная, прилипла ко лбу. Сабуров поправил ее.

Хотя всего несколько минут отделяло их последний разговор от этого безмолвия, но Сабурову казалось, что прошло бесконечно много времени. Он вздрогнул и, все еще держа Масленникова на руках, горько заплакал, второй раз за эти пять дней.

Через час, когда кончилась последняя немецкая ночная контратака и стало ясно, что немцы решили отложить следующие атаки до утра, Сабуров позвал к себе командира саперного взвода, участвовавшего в штурме дома, и приказал ему вырыть могилу для Масленникова.

— Здесь? — удивленно спросил сапер, знавший, что при

всякой возможности тела убитых командиров выносили из боя куда-нибудь назад.

— Да,— сказал Сабуров.

— Может быть, лучше на нашей территории?

— Нет, здесь,— сказал Сабуров.— Это теперь тоже наша территория. Выполняйте приказание.

Саперы долго ковыряли землю, пробуя найти рядом с фундаментом менее обледенелый грунт, но промерзшая земля не поддавалась лопатам и ломам.

— Что вы копаетесь? — угрюмо спросил Сабуров.— Я вам покажу, где вырыть могилу.

Он повел саперов в самый центр дома, где наверху, как черные кресты, еще высились остатки перекрытий.

— Вот здесь,— сказал он, гулко ударив сапогом в бетонный пол.— Пробейте бурку, заложите тол, взорвите и похороните.

Голос его был непривычно суров. Саперы быстро сделали бурку, заложили несколько килограммов тола и, спрятавшись за соседние стены, подожгли запал. Раздался короткий взрыв, мало чем отличавшийся по звуку от десятков минных разрывов, слышавшихся кругом. В развороченном полу образовалась яма глубиной в метр с небольшим. Из нее выгребли обломки кирпичей и бетона и опустили туда тело Масленникова. Сабуров спрыгнул в яму и стал рядом с телом. Он снял с Масленникова шинель, с трудом вынув из рукавов уже окоченевшие руки, и накрыл тело шинелью так, что было видно только лицо. Уже чуть-чуть брезжил рассвет, и, когда Сабуров наклонялся, он хорошо видел лицо Масленникова. Сабуров переложил к себе в карман документы из гимнастерки Масленникова и отвинтил орден.

— У кого винтовки? — спросил он, поднявшись из могилы.

— У всех есть.

— Ну, залп в воздух, и потом засыпайте могилу. Я скомандую. Раз. Два! — Он перезарядил свой автомат и выстрелил вместе со всеми. Короткий залп сухо и негромко прозвучал в холодном воздухе.

— Теперь засыпайте, — сказал Сабуров, отвернувшись от могилы, не желая видеть, как комья цемента и камни будут сыпаться и ударяться о тело человека, которого еще час назад он не мог бы себе представить мертвым. Он не поворачивался, но чувствовал спиной, как падают холодные обломки камней в могилу, как они громоздятся все выше, как звук становится все тише, потому что их все больше и больше. И вот уже скребет саперная лопатка, сравнивая их с уровнем пола.

Сабуров присел на корточки, вынул из кармана блокнот и, выбрав листок, нацарапал на нем несколько строк. «Масленников убит, — писал он. — Я остаюсь здесь. Если вы согласны, считаю целесообразным, чтобы Ванин со штабом тоже перешел вперед, ближе ко мне, в дом Конюкова. Сабуров».

Подозвав связного, он приказал отнести записку Ремизову.

— Ну, а теперь будем воевать,— сказал Сабуров прежним угрюмым голосом, в котором дрожала готовая сорваться слеза.— Будем воевать тут,— повторил он, не обращаясь ни к кому в отдельности.— Командир роты здесь? — позвал он.

— Здесь.

— Пойдем. Там, в правом флигеле, по-моему, нужно подрыть под фундамент пулеметные гнезда. У тебя пулеметы на первом этаже стоят?

— Да.

— Разобьют. Надо подрыть под фундамент.

Они прошли несколько шагов, топая по цементному полу. Сабуров вдруг остановился.

— Подожди.

Была минута тишины, когда не стреляли ни мы, ни немцы. Сквозь развалины дул леденящий западный ветер, и, доносимые ветром, отчетливо слышались обрывки далекой канонады на западе.

На Средней Ахтубе, в пятидесяти километрах от Сталинграда,— там, куда не доносилась далекая канонада и еще только начинали доходить первые слухи о наступлении, рано утром в избе, служившей операционной, на носилках лежала Аня. Ей уже сделали одну операцию, но так и не вынули глубоко сидевшего осколка. Она в эти дни то приходила в сознание, то снова теряла его и сейчас лежала неподвижная, бледная, без кровинки в лице. Все было готово, и ждали главного хирурга, согласившегося сделать повторную операцию, на которую теперь возлагались все надежды. Врачи переговаривались между собой.

— Как вы думаете, Александр Петрович, выживет? — спросила молодая женщина-врач у пожилого хирурга в надвинутом по самые брови белом колпаке.

— Вообще нет, а у него, может быть, и выживет,— сказал хирург и, скрутив папироску, добавил: — Если сердце выдержит, может быть, и выживет.

Распахнулась дверь, и из соседней половины избы, потянув за собой полосу холодного ветра, вошел быстрыми шагами маленький приземистый человек, вытянув вперед руки с грубыми толстыми красными пальцами, которые, очевидно, были у него уже протерты спиртом. Под его густыми буро-седыми усами топорщилась, зажатая в углу рта, папироса.

— На стол,— сказал он, посмотрев в ту сторону, где на носилках лежала Аня.— Зажгите мне папиросу.

Ему поднесли спичку, и он, приблизив к ней папиросу, закурил, все так же держа руки впереди себя.

— Говорят,— сказал он, подходя к операционному столу,— что наши войска перешли в общее наступление, взяли Калач и окружают немцев за Сталинградом. Всё. Всё, — он сделал руками решительный жест.— Подробности потом, после операции. Возьмите у меня папиросу. Дайте свет.

Шли вторые сутки генерального наступления. В излучине Дона, между Волгой и Доном, в кромешной тьме ноябрьской ночи, лязгая железом, ползли механизированные корпуса, утопая в снегу, медленно двигались машины, взрывались и ломались мосты. Горели деревни, и вспышки орудийных вы-

стрелов смешивались на горизонте с зарницами пожарищ. На дорогах, среди полей, черными пятнами лежали трупы, успевшие окостенеть за ночь.

Проваливаясь в снег, нахлобучив ушанки, прикрываясь руками от ветра, шла по снежным полям пехота. На руках, через сугробы, перетаскивали орудия, рубили сараи и настилали из досок и бревен колеблющиеся мостки через овраги.

Два фронта в эту зимнюю ночь, как две руки, сходившиеся по карте, двигались, все приближаясь друг к другу, готовые сомкнуться в донских степях, далеко позади Сталинграда.

В этом охваченном ими пространстве, в их жестоких объятиях еще были сотни тысяч немецких солдат, были корпуса и дивизии со штабами, генералами, дисциплиной, орудиями, танками, с посадочными площадками и самолетами, были сотни тысяч людей, еще, казалось, справедливо считавших себя силой и в то же время бывших уже ничем иным, как завтрашними мертвецами.

А в газетах в эту ночь еще набирали на линотипах, как всегда сдержанные сводки Информбюро, и люди, перед тем как ложиться спать, слушая последние известия по радио, все еще тревожились за Сталинград, еще ничего не зная о том, взятом с бою, военном счастьи, которое начиналось в эти часы для России.

1943—1944

—КОНЕЦ—



Редактор А. Митрофанов.

А7899.

Подписано к печати 27/VII 1944 г. Печ. л. 13¾. Авт. л. 17,34.

Уч.-изд. л. 17,72. Тираж 20 000. Заказ 1054. Цена 11 руб.

Типография газеты «Правда» имени Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.

